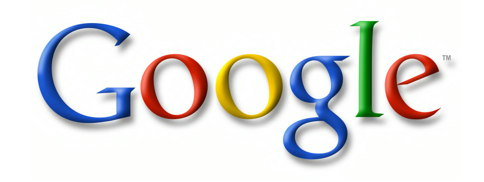





STANFORD
UNIVERSITY
LIBRARIES
LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891



А. Н. Островскій

въ значеніи

русскаго драматурга.

Изъ критической литературы объ Островскомъ.

Составилъ Н. Покровскій.

Москва—1908 г.
Складъ въ книжн. магазинѣ В. С. Спиридонова и А. М. Михайлова.
Москва, Тверская ул., Столешниковъ пер., д. Ліанозова.



ТИПО-ЛИТ. Т-ВА И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К° МОСКВА

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Островскій въ долгій періодъ своей литературной дѣятельности не разъ подвергался переоцѣнкѣ нашей критикой; значеніе его, какъ крупнаго русскаго драматурга, временемъ умалялось до крайности; иногда критика позволяла себѣ даже глумленіе надъ нимъ. Считая Островскаго „объективнымъ рисовальщикомъ своихъ картинъ съ натуры", Новый Критикъ „Новостей" 1874 года вотъ какъ отзывался о немъ: „Г-нъ Островскій не тратитъ на свои писанія больше одного вечера, и пишетъ такъ небрежно и торопливо, что, написавши одну страницу и перевернувъ ее, совершенно забываетъ, что онъ на ней написалъ. Великому человѣку не до мелочей. Я это могу доказать выписками изъ его комедій, но теперь дѣлать этого, конечно, не намѣренъ, такъ какъ я, по всей вѣроятности, уже и этими разсужденіями о новой комедіи („Трудовой хлѣбъ") вышедшаго изъ моды г. Островскаго порядочно надоѣлъ читателямъ. Выдохшаяся знаменитость—печальнѣе могилы, увядшій талантъ, поблекшія силы, какъ разбитый параличомъ знакомый намъ когда-то здоровый и молодой человѣкъ, напоминаетъ намъ такъ ясно о печальной скоропреходящности земного, о смерти!.. Развалины

даже готическихъ замковъ или римскихъ бань и дворцовъ красивы только на картинахъ". И доселѣ еще въ глазахъ иныхъ критиковъ заслуги нашего драматурга очень невелики. Зато положеніе и значеніе Островскаго давно упрочилось среди публики: его пьесы, какъ прежде, такъ и теперь, несмотря на разныя театральныя новинки, представляютъ для зрителей немалый интересъ, иначе бы театръ не посѣщался такъ усердно, когда дается Островскій.

Какъ бы то ни было, итоги заслугъ знаменитаго драматурга настолько уже подведены нашей критикой, что едва ли въ будущемъ что-нибудь прибавится къ сдѣланной оцѣнкѣ, по крайней мѣрѣ существеннаго.

Н. Покровскій.

Островскій передъ судомъ нашихъ критиковъ-резонеровъ *).

Буало сказалъ, а мы повторяемъ, какъ неопровержимую истину, что «la critique est aisée, mais l'art est difficile», даже и не замѣчая, что русская критическая литература представляетъ собою явленіе прямо противоположное. Русское современное искусство, такъ или иначе, все-таки движется, производитъ кое-что, между тѣмъ какъ критика находится въ самомъ жалкомъ положеніи. Въ беллетристикѣ у насъ есть крупныя дарованія, первоклассные писатели; даже поэты еще не перевелись. Въ живописи есть таланты, обращающіе на себя вниманіе Европы; даже музыка наша питаетъ нѣкоторыя надежды на обновленіе и живую струю. Одна только критика въ жалкомъ состояніи; по отношенію къ музыкѣ она приняла какой-то задорный тонъ, ничѣмъ не оправданный и ничего не доказывающій; художественная рецензія представляется еще болѣе печальною, и одна только литературная критика что-то лепечетъ дѣтски-элементарное, незрѣлое. Очевидно, критика находится въ какомъ-то безпомощномъ состояніи, бросается въ разныя стороны, пробавляется общими фразами и пустыми тирадами. Во время оно русское эсте-

*) Изъ „Голоса“ 1875 г., № 86. Критич. комментаріи къ сочиненіямъ А. Н. Островскаго, *В. Зелинскаго*. Ч. 5. Критическая литература о произведеніяхъ А. Н. Островскаго, *Н. Денисюка*. Вып. 4.

тическое сознаніе имѣло крупную умственную организацію въ лицѣ Бѣлинскаго, который, несмотря на свои промахи, былъ необыкновенно полезенъ нашему умственному развитію. Кто же изъ нашихъ резонеровъ можетъ заступить мѣсто Бѣлинскаго? Теперь нѣтъ мало-мальски выдающагося критическаго ума, и современная критика бьется, какъ рыба объ ледъ, въ заколдованномъ кругу пережевыванья прежде добытыхъ понятій. Не имѣя ничего новаго сказать отъ себя, наша критика то и дѣло принимается «перерѣшать» старые вопросы на новый ладъ. Мы разъ пять принимались перерѣшать вопросъ о Гоголѣ и все-таки еще не перерѣшили; въ настоящую минуту также мы поступаемъ и съ Островскимъ, который почему-то никакъ не дается русской критикѣ, и каждый разъ, когда эта критика приступаетъ къ «перерѣщенію» Островскаго, она роковымъ образомъ начинаетъ лепетать что-то нескладное. Точно не судьба понять ей Островскаго.

Одно изъ такихъ перерѣшеній, и, вѣроятно, не послѣднее, представляетъ собою статья г. Языкова «Безсиліе творческой мысли» въ февральской книжкѣ «Дѣла». Печальна, какъ подумаешь, судьба Островскаго! Всѣ-то его читаютъ, всѣ-то о немъ разсуждаютъ, а никто понять не можетъ! По поводу его было нѣсколько перерѣшеній: то считали его великимъ поэтомъ «темнаго царства», то говорили, что талантъ его эпическій, но ничуть не драматическій, то, наконецъ, соглашались, что Островскій—одинъ изъ замѣчательныхъ драматическихъ писателей послѣ Гоголя. Теперь г. Языковъ, принимаясь снова за Островскаго, рѣшаетъ, что онъ просто поэтъ россійскаго самодурства, что онъ обличаетъ совершенное безсиліе творческой мысли, а по поводу народнаго языка Островскаго обзываетъ его краснокожимъ дикаремъ. Перерѣщеніе, какъ видите, далеко не въ пользу Островскаго.

Попробуйте, говоритъ авторъ, перевести Островскаго, или, скорѣе, его исключительно бытовыя пьесы на французскій или нѣмецкій языкъ, и посмотрите, что отъ нихъ останется. Прежде всего вамъ станетъ поперекъ дороги именно тотъ народный языкъ, который составляетъ ихъ достоинство и соотвѣтственныхъ словъ которому вы не найдете ни въ одномъ лексиконѣ, потому что не найдете у западныхъ народовъ понятій того же цвѣта и вида. Но, откинувъ форму и переведя языкъ героевъ Островскаго на общечеловѣческій языкъ, выразите ли вы такимъ переложеніемъ своего на чужое общепонятную идею? Мысль, освобожденная отъ окраски, которую ей даетъ тонъ и строй русской души, останется ли тою на французскомъ языкѣ, какою она представляется намъ, русскимъ? Конечно, нѣтъ, по мнѣнію автора. Высказанная общечеловѣческимъ языкомъ, она поразитъ васъ именно своимъ ничтожествомъ; передъ вами разоблачится скудость и бѣдность мышленія и вся ничтожность необыкновенно бѣднаго и немногосложнаго діалектическаго процесса.

Это, прежде всего, неправда. «Гроза» Островскаго переведена на французскій языкъ, и отзывъ лучшаго французскаго критика, Франсуа Сарсэ, показываетъ, что драма Островскаго ничего не потеряла въ переводѣ. Сарсэ отлично понялъ достоинства драмы и положительно утверждаетъ, что французская драматическая литература представляетъ мало пьесъ, написанныхъ такъ талантливо. Мы имѣемъ, сверхъ того, французскій переводъ «Ревизора», и можно увѣрить г. Языкова, что въ переводѣ «Ревизоръ» почти такъ же хорошъ, какъ и въ оригиналѣ, что, впрочемъ, и сообразили «невѣжественные» французы.

Островскій, по мнѣнію г. Языкова, принадлежитъ къ представителямъ той народности, на міросозерцаніи которой не лежитъ печати общихъ идей. Это міросозерца-

ніе традиціонное, такъ сказать, изъ себя, а потому всегда мелкое, неясное, живущее больше безсознательнымъ чувствомъ, чѣмъ ясными мыслями. Въ этомъ мірѣ чувствъ всегда есть что-то черноземно-аввакумовское, своеобразно-бытовое, лишенное психическаго интереса. Народное художественное творчество даетъ только типы, но оно никогда не даетъ людей (?); и ему неизвѣстенъ общій, средній человѣкъ (?); оно даетъ намъ почувствовать своеобразную односторонность русской души, но не отражаетъ души вообще, съ ея общечеловѣческими, понятными всѣмъ процессами. Говоритъ ли оно о любви—вы чувствуете любовь какую-то особенную, но не такую, какъ у всѣхъ людей; даетъ ли оно ненависть, и ненависть оказывается тоже своеобразно-типическою. Деспотизмъ, доброта, благородный порывъ, страсть, радость, горе, счастье, несчастье,—словомъ, вся душевная жизнь людей, создаваемая этимъ художественнымъ творчествомъ, всегда особенная, всегда оттягиваемая узкою и ограниченною мыслью куда-то внизъ, назадъ, въ былые времена и нравы. Внѣ извѣстной внѣшней обстановки это творчество утрачиваетъ всю свою ясность, жизненность и смыслъ, и потому оно такъ сильно своимъ дагеротипнымъ, портретнымъ характеромъ.

Г. Языковъ очень не любитъ такъ называемой имъ народной художественности, а его пристрастіе къ резонерству приводитъ къ обобщеніямъ весьма проблематическаго свойства. По его мнѣнію, напримѣръ, изображая народность некультивированную, застывшую, строгую по своей внѣшней формѣ, народная художественность прежде всего держится внѣшними мелочами, миніатюрными подробностями, но въ то же время она набрасываетъ свой рисунокъ большою кистью и крупными, рѣзкими штрихами. Мелочи этой художественности нужны для фотографичности внѣшняго обычая; крупными же штрихами рисуется внутренній психиче-

скій міръ, тотъ бѣдный міръ, въ которомъ безплодно искать высшихъ психическихъ моментовъ, оттѣнковъ и подробностей, анализа и діалектическаго развитія мысли и чувства. Въ первомъ случаѣ зрителю не позволяется ни о чемъ догадываться; ему дается опредѣленная, ясная картина, гдѣ все стоитъ твердо на своихъ мѣстахъ, все имѣетъ строго выработанную физіономію. Подобная строгая опредѣленность имѣетъ полное, законное и логическое основаніе, такъ какъ бытовое творчество фотографируетъ прежде всего застывшій обычай, точный во всѣхъ его мелочахъ и подробностяхъ, можетъ-быть, когда-нибудь и имѣвшихъ свой прогрессивный смыслъ, но утратившихъ его по мѣрѣ того, какъ застывшая форма вытѣсняла собственное содержаніе. И вотъ, именно для того, чтобы не поставить себя въ затрудненіе при изображеніи этого содержанія, бытовое творчество не отваживается внѣдряться въ анализъ психическихъ процессовъ застывшаго быта, рисуетъ его внутреннее содержаніе такими крупными штрихами, что представляется каждому зрителю и читателю полнѣйшій просторъ чувствовать героевъ по-своему, надѣлять ихъ собственнымъ душевнымъ содержаніемъ, пожалуй, даже чувствовать и понимать совсѣмъ не то, что онъ чувствуетъ и понимаетъ.

Всю эту теорію г. Языковъ подтверждаетъ ссылками на новѣйшую психологію, приводитъ довольно проблематическую теорію ума и призываетъ къ себѣ на помощь чуть ли не всѣхъ новѣйшихъ авторитетовъ. Во всемъ этомъ поражаетъ удивительная смѣсь отрывочнаго знанія съ сознательнымъ искаженіемъ логическаго теченія мысли, и все это для того, чтобы доказать безсодержательность Островскаго. Но, оставляя въ сторонѣ оцѣнку собственно Островскаго, развѣ Катерина (въ «Грозѣ») или воспитанница представляютъ одни только элементарные психическіе процессы? Развѣ западныя

литературы, наиболѣе богатыя, наиболѣе развитыя, пренебрегаютъ элементомъ народности? Развѣ Диккенсъ и Тэккерей (чтобъ говорить только о писателяхъ, наиболѣе у насъ популярныхъ) не разработывали, подробно и тщательно, народность некультивированную, застывшую? Развѣ внѣшняя отдѣлка мелочей и подробностей обычая мѣшаетъ хотя бы Стендалю или Мериме разработывать самымъ тщательнымъ образомъ внутренній психическій міръ? Г. Языкову понадобилось доказать безсодержательность Островскаго, и вотъ онъ строитъ проблематическую теорію, не основанную ни на какихъ точныхъ фактахъ и до такой степени туманную, жидкую, что она ничего собственно не объясняетъ. Можетъ-быть, и доказана безсодержательность Островскаго, но зато выступаетъ осязательно и фальшь теоріи, придуманной исключительно для извѣстной цѣли. Авторъ нѣсколько разъ возвращается къ тому, что писатель долженъ думать прогрессивно; но въ чемъ должна заключаться эта прогрессивность и почему она необходима— это остается въ туманѣ. Одно только ясно: Языковъ не любитъ типовъ и требуетъ, чтобы писатель представлялъ намъ какого-то «средняго человѣка». Одно это требованіе показываетъ уже все безсиліе его критической мысли. Можно понимать до извѣстной степени «среднюю цифру», какъ извѣстный научный пріемъ, употребляемый въ статистикѣ, по, воля ваша, трудно понять живого «средняго человѣка». Средняя цифра важна въ статистическихъ выводахъ не потому, что она даетъ фактическій результатъ, а потому, что она приводитъ къ обобщенію, годному для научныхъ цѣлей; средній же человѣкъ рѣшительно ни на что не годенъ ни въ жизни ни въ искусствѣ. Искусство—не наука, тѣмъ болѣе не статистика; наука не только можетъ, но и должна изъ извѣстнаго ряда частныхъ явленій выводить общую формулу, законъ; искусство, какъ разъ

наоборотъ, не только не можетъ, но и не должно пользоваться природою и жизнью для какого-то отвлеченія природы и жизни. Съ этой точки зрѣнія искусство превратится въ какое-то туманное, безсодержательное резонерство и будетъ бесѣдовать о какомъ-то среднемъ человѣкѣ, котораго нѣтъ и который, логически и фактически, не существуетъ. Это такая философская и научная ересь, такое дѣтское заблужденіе, о которомъ не стоитъ серьезно говорить. Искусство имѣетъ дѣло не съ обобщеніемъ жизни, а съ самою жизнью; его обязанность—рисовать живыхъ людей, а не искусственно создавать какихъ-то среднихъ людей, которыхъ не встрѣтишь ни въ Россіи, ни во Франціи, ни въ Англіи. Мы имѣемъ право ставить искусству одно только требованіе: оно должно быть конкретно, должно отражать жизнь во всей ея сложности, во всемъ ея разнообразіи, оно должно быть носителемъ идей и чувствъ своего времени. И только. Вы можете, сколько хотите, негодовать на мистицизмъ и абсолютизмъ Бальзака, тѣмъ не менѣе Бальзакъ останется величайшимъ романистомъ XIX-го столѣтія, не потому, что онъ защищалъ абсолютизмъ и поклонялся репрессивнымъ мѣрамъ правительства Карла X-го и что вѣрилъ въ какой-то сверхъестественный міръ, а потому, что въ немъ необыкновенно ярко отразились всѣ особенности жизни двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ во Франціи.

Но и эта проблематическая теорія развита г. Языковымъ туманно и бездоказательно. Гораздо опредѣленнѣе выразилъ ее недавно «Заурядный читатель» *), заявившій о своей солидарности съ г. Языковымъ. Рѣшительно, наши критики начинаютъ преслѣдовать типы. Этотъ критикъ весьма глубокомысленно объясняетъ, что типъ есть то, въ чемъ люди сходятся; характеръ

*) Въ „Биржевыхъ Вѣдомостяхъ“.

же, напротивъ, есть рядъ такихъ индивидуальныхъ особенностей, которыми человѣкъ отличается отъ своихъ ближнихъ. Нашъ критикъ, отыскавъ эту глубокомысленную идею, торжествуетъ и спрашиваетъ художниковъ и другихъ критиковъ: «Какая существенная разница заключается между типомъ и характеромъ? Ну-ка, скажите... Не скажете, а вотъ я такъ знаю!» Нѣтъ, не знаете. Типъ совсѣмъ не то, въ чемъ люди сходятся, и характеръ не то, въ чемъ они разнятся другъ отъ друга. Этакъ, пожалуй, придется сказать, что у Матрены и Петра одинъ и тотъ же характеръ, потому что оба любятъ браниться и оба изрѣдка посѣщаютъ кабакъ. Исходя изъ этого «глубокомысленнаго» опредѣленія, «Заурядный читатель» торжествуетъ и спрашиваетъ художниковъ и критиковъ: «А приходило ли вамъ въ голову, что чѣмъ выше поднимается уровень образованности въ качественномъ отношеніи и чѣмъ ниже дѣлается глубина его въ количественномъ (т.-е. относительно образованности въ болѣе и болѣе низкихъ слояхъ общества?), тѣмъ болѣе уничтожаются въ обществѣ типы, и на счетъ ихъ развиваются характеры». Какая странная, тяжелая фраза: «ниже глубина»! Но мысль, заключающаяся въ этой фразѣ, наивно-фальшива; она обнаруживаетъ крайне малое знакомство съ европейскими литературами. Критикъ, видите ли, предполагаетъ, что европейскія литературы давно уже (съ возрожденія) оставили разработку типовъ, а разрабатываютъ только характеры, такъ какъ уровень образованности выше. Онъ, очевидно, вовсе не знакомъ, напримѣръ, съ тѣмъ же Бальзакомъ, котораго слава заключается въ типѣ буржуа, журналиста, ремесленника, мелкаго чиновника, публичной женщины, свѣтской дамы; онъ не знаетъ, что Скопенъ Мольера и Фигаро Бомарше—типы; онъ забылъ, что у Диккенса и Тэккерея встрѣчается множество типовъ. Западная ли-

тература прямо противорѣчитъ всѣмъ заключеніямъ «Заурядяаго читателя». Джонъ Стюартъ Милль, котораго, конечно, трудно обвинить въ невѣжествѣ, приходитъ въ своемъ «On liberty» къ печальному заключенію, что западно-европейская цивилизація стремится къ китаизму, что индивидуальныя особенности стираются, разнообразіе характеровъ уменьшается, и что люди начинаютъ группироваться въ нѣсколько общихъ типовъ, что западно-европейская цивилизація чѣмъ больше развивается, тѣмъ больше обнаруживаетъ стремленіе къ подавленію индивидуальныхъ особенностей. Лафонтенъ, по общему сознанію, одинъ изъ величайшихъ поэтовъ, не только Франціи, но и всего міра, по преимуществу разработывалъ не характеры, а типы, хотя и принадлежалъ къ самой цивилизованной націи. Тэнъ, также не изъ послѣднихъ критиковъ современной Европы, написавъ цѣлую книгу о Лафонтенѣ, три четверти этой книги посвятилъ анализу типовъ Лафонтена. Между прочимъ, онъ говоритъ:

«Мнѣ стоило только сгруппировать отдѣльныя черты въ басняхъ Лафонтена, чтобъ воскресить предъ вами все общество. Теперь мы знаемъ условія жизни, характеръ, языкъ; мы видимъ одежду, жилища; мы слышимъ голосъ, мы слѣдимъ за движеніями души; мы знаемъ этихъ людей, и интересуемся ими. Совершенно невольно, читая Лафонтена, вы сердились, презирали, радовались, волновались; Лафонтенъ велъ насъ въ Версаль; мы видѣли Людовика XIV-го въ царскомъ одѣяніи, царедворцевъ, униженно кланяющихся въ передней, аристократовъ, дрожащихъ за свои синекуры, буржуа въ ихъ конторахъ и ратушѣ, кюре въ церкви, крестьянина за тяжелой работой. Развѣ вы не видѣли всего этого? Наша голова была полна формъ, цвѣтовъ, звуковъ, движеній; зрѣлище живыхъ страстей возбуждало въ насъ живыя страсти... Вотъ первая заслуга поэзіи; ей дается идея—она дѣлаетъ человѣка; ей даютъ рамку—она создаетъ картину. Но какую картину? Это не просто живыя отдѣльныя лица, Петръ или Павелъ, это—типы».

Таково мнѣніе европейскихъ авторитетовъ. Вотъ какъ опасно бываетъ обобщеніе, когда въ основѣ его не лежитъ точное знаніе, и когда человѣку, во что бы то ни стало, хочется блеснуть глубокомысліемъ.

Съ нашею современной критикой такіе пассажи случаются нерѣдко. При необыкновенной прыти къ обобщеніямъ и резонерству, нашей критикѣ не достаетъ хоть бы кое-какого систематическаго знанія; наши критики хотятъ до всего своимъ умомъ дойти, и потому-то они такъ медленно подвигаются впередъ. А имъ къ тому же приходится объяснить публикѣ такія сложныя явленія, какъ творчество того или другого писателя. Какъ тутъ быть? Надо же придумать для собственнаго обихода какую-нибудь теорію типовъ и характеровъ, такую теорію, отъ которой пришелъ бы въ ужасъ, напримѣръ, Тэнъ, если бъ ему ее показали, и которая приводитъ къ комическимъ выводамъ, о которыхъ, конечно, не догадываются авторы. Заурядный русскій критикъ говоритъ вамъ, напримѣръ, что типъ есть то, въ чемъ люди другъ на друга сходятся, а характеръ, какъ разъ наоборотъ,—то, въ чемъ люди другъ отъ друга отличаются; что типы разрабатываются литературами народовъ, находящихся на низшей степени образованности. Онъ и не догадывается, что типъ и характеръ—понятія не противоположныя, а разныя, что они могутъ встрѣчаться въ одномъ лицѣ, точно такъ же, какъ могутъ существовать отдѣльно, смотря по внѣшнимъ условіямъ, какъ въ искусствѣ, такъ и въ жизни, и преобладаніе типа или характера въ литературѣ или въ жизни нисколько не ведетъ за собою повышенія или пониженія уровня образованности. Типъ, какъ извѣстное соціальное явленіе, одинаково необходимъ при всякой цивилизаціи, при всякомъ уровнѣ образованности, и даже, съ извѣстной точки зрѣнія, можно утверждать, что цивилизація благопріятствуетъ раз-

витію типа, какъ первобытное состояніе общества благопріятствуетъ развитію личнаго характера. У дикарей нѣтъ типовъ, потому что нѣтъ правильно организованнаго общества: всякій дѣйствуетъ индивидуально и лично, не подчиняясь никакимъ общественнымъ условіямъ. Извѣстная цивилизація ведетъ за собою неизбѣжно образованіе кастъ, классовъ, сословій, т.-е. извѣстной группирорки людей; отсюда развитіе типа; исторія же характера представляетъ другія черты. Характеръ личный, индивидуальный, развивается преимущественно тогда, когда человѣкъ принужденъ дѣйствовать самостоятельно, лично бороться, лично, безъ посторонней помощи, добиваться счастья; оттого—чѣмъ благоустроеннѣе общество, тѣмъ замѣтнѣе пониженіе характеровъ, подведеніе ихъ подъ одинъ общій уровень. Но это вѣрно только въ теоріи. Жизнь же гораздо сложнѣе и не подчиняется одной общей отвлеченной формулѣ. Какъ нѣтъ и не было такого явленія, гдѣ бы не существовало, по крайней мѣрѣ, зачатковъ общественности, слѣдовательно и типа, такъ нѣтъ цивилизаціи, настолько идеальной, при которой личная, самостоятельная дѣятельность отдѣльнаго человѣка равнялась бы нулю. Вотъ почему во всякомъ народѣ, при всякомъ уровнѣ образованности и цивилизаціи, одновременно существуютъ и типы и характеры; типы—какъ результатъ тѣхъ или другихъ соціальныхъ условій, характеры — какъ результатъ самодѣятельности и самостоятельности отдѣльнаго человѣка. Типъ, слѣдовательно, есть явленіе общественное, между тѣмъ какъ характеръ—извѣстный психическій моментъ. Очевидно, заурядный критикъ ничего этого не сообразилъ.

Какъ неправъ былъ Буало, когда сказалъ: «La critique est aisée, mais l'art est difficile!» Наше искусство и критика доказываютъ какъ разъ противоположное; въ

Россіи легче быть художникомъ, чѣмъ критикомъ, потому что критику, кромѣ ума и способности къ анализу, нужно еще знаніе, между тѣмъ какъ русскій художникъ, будь онъ самородокъ и круглый невѣжда, будетъ пользоваться извѣстнымъ успѣхомъ, если у него есть способность наблюдать и хоть нѣкоторый творческій талантъ.

В. Чуйко.

Островскій въ глазахъ реальной критики *).

Мы не задаемъ автору никакой программы, не составляемъ для него никакихъ предварительныхъ правилъ, сообразно съ которыми онъ долженъ задумывать и выполнять свои произведенія. Такой способъ критики мы считаемъ очень обиднымъ для писателя, талантъ котораго всѣми признанъ, и за которымъ упрочена уже любовь публики и извѣстная доля значенія въ литературѣ. Критика, состоящая въ показаніи того, что долженъ былъ сдѣлать писатель и насколько хорошо выполнилъ свою должность, бываетъ еще умѣстна изрѣдка, въ приложеніи къ автору начинающему, подающему нѣкоторыя надежды, но идущему рѣшительно ложнымъ путемъ и потому нуждающемуся въ указаніяхъ и совѣтахъ. Но вообще она непріятна, потому что ставитъ критика въ положеніе школьнаго педанта, собравшагося проэкзаменовать какого-нибудь мальчика. Относительно такого писателя, какъ Островскій, нельзя позволить себѣ этой схоластической критики. Каждый читатель съ полною основательностью можетъ намъ замѣтить: «зачѣмъ вы убиваетесь надъ соображеніями о томъ, что вотъ тутъ нужно было бы то-то, а здѣсь недостаетъ того-то? Мы вовсе не хотимъ признать за вами право давать уроки Островскому; намъ вовсе не интересно знать, какъ бы,

*) Сочиненія Добролюбова. Т. 3. Изд. 6. *Темное царство*. Стр. 12—23

по вашему мнѣнію, слѣдовало сочинить пьесу, сочиненную имъ. Мы читаемъ и любимъ Островскаго, и отъ критики мы хотимъ, чтобы она осмыслила передъ нами то, чѣмъ мы увлекаемся часто безотчетно, чтобы она привела въ нѣкоторую систему и объяснила намъ наши собственныя впечатлѣнія. А если, уже послѣ этого объясненія, окажется, что наши впечатлѣнія ошибочны, что результаты ихъ вредны, или что мы приписываемъ автору то, чего въ немъ нѣтъ,—тогда пусть критика займется разрушеніемъ нашихъ заблужденій, но опять-таки на основаніи того, что даетъ намъ самъ авторъ». Признавая такія требованія вполнѣ справедливыми, мы считаемъ за самое лучшее—примѣнить къ произведеніямъ Островскаго критику реальную, состоящую въ обозрѣніи того, что намъ даютъ его произведенія. Здѣсь не будетъ требованій въ родѣ того, зачѣмъ Островскій не изображаетъ характеровъ такъ, какъ Гоголь, и т. п. Всѣ подобныя требованія, по нашему мнѣнію, столько же не нужны, безплодны и неосновательны, какъ и требованія того, напр., чтобы Островскій былъ комикомъ страстей и давалъ намъ мольеровскихъ тартюфовъ и гарпагоновъ, или чтобъ онъ уподобился Аристофану и придалъ комедіи политическое значеніе. Конечно, мы не отвергаемъ того, что лучше было бы, если бы Островскій соединилъ въ себѣ Аристофана, Мольера и Шекспира; но мы знаемъ, что этого нѣтъ, что это невозможно, и все-таки признаемъ Островскаго замѣчательнымъ писателемъ въ нашей литературѣ, находя, что онъ и самъ по себѣ, какъ есть, очень недуренъ и заслуживаетъ нашего вниманія и изученія.

Точно такъ же реальная критика не допускаетъ и навязыванья автору чужихъ мыслей. Предъ ея судомъ стоятъ лица, созданныя авторомъ, и ихъ дѣйствія; она должна сказать, какое впечатлѣніе производятъ на нее эти лица, и можетъ обвинять автора только за то, ежели

впечатлѣніе это неполно, неясно, двусмысленно. Она никогда не позволитъ себѣ, напр., такого вывода: это лицо отличается привязанностью къ стариннымъ предразсудкамъ; но авторъ выставилъ его добрымъ и неглупымъ, слѣдственно авторъ желалъ выставить въ хорошемъ свѣтѣ старинные предразсудки. Нѣтъ, для реальной критики здѣсь представляется прежде всего фактъ: авторъ выводитъ добраго и неглупаго человѣка, зараженнаго старинными предразсудками. Затѣмъ критика разбираетъ, возможно ли и дѣйствительно ли такое лицо; нашедши же, что оно вѣрно дѣйствительности, она переходитъ къ своимъ собственнымъ соображеніямъ о причинахъ, породившихъ его, и т. д. Если въ произведеніи разбираемаго автора эти причины указаны, критика пользуется ими и благодаритъ автора; если нѣтъ,— не пристаетъ къ нему съ ножомъ къ горлу, какъ, дескать, онъ смѣлъ вывести такое лицо, не объяснивши причинъ его существованія? Реальная критика относится къ произведенію художника точно такъ же, какъ къ явленіямъ дѣйствительной жизни: она изучаетъ ихъ, стараясь опредѣлить ихъ собственную норму, собрать ихъ существенныя, характерныя черты, но вовсе не суетясь изъ-за того, зачѣмъ это овесъ—не рожь и уголь—не алмазъ... Были, пожалуй, и такіе ученые, которые занимались опытами, долженствовавшими доказать превращеніе овса въ рожь; были и критики, занимавшіеся доказываніемъ того, что если бы Островскій такую-то сцену такъ-то измѣнилъ, то вышелъ бы Гоголь, а если бы такое-то лицо вотъ такъ отдѣлалъ, то превратился бы въ Шекспира... Но надо полагать, что такіе ученые и критики не много принесли пользы наукѣ и искусству. Гораздо полезнѣе ихъ были тѣ, которые внесли въ общее сознаніе нѣсколько скрывавшихся прежде или не совсѣмъ ясныхъ фактовъ изъ жизни или изъ міра искусства, какъ вос-

произведенія жизни. Если въ отношеніи къ Островскому до сихъ поръ не было сдѣлано ничего подобнаго, то намъ остается только пожалѣть объ этомъ странномъ обстоятельствѣ и постараться поправить его, насколько хватитъ силъ и умѣнья.

Но, чтобы покончить съ прежними критиками Островскаго, соберемъ теперь тѣ замѣчанія, въ которыхъ почти всѣ они были согласны, и которыя могутъ заслуживать вниманія.

Во-первыхъ, всѣми признаны въ Островскомъ даръ наблюдательности и умѣнье представить вѣрную картину быта тѣхъ сословій, изъ которыхъ бралъ онъ сюжеты своихъ произведеній.

Во-вторыхъ, всѣми замѣчена (хотя и не всѣми отдана ей должная справедливость) мѣткость и вѣрность народнаго языка въ комедіяхъ Островскаго.

Въ-третьихъ, по согласію всѣхъ критиковъ, почти всѣ характеры въ пьесахъ Островскаго совершенно обыденны и не выдаются ничѣмъ особеннымъ, не возвышаются надъ пошлою средою, въ которой они поставлены. Это ставится многими въ вину автору, на томъ основаніи, что такія лица, дескать, необходимо должны быть безцвѣтными. Но другіе справедливо находятъ и въ этихъ будничныхъ лицахъ очень яркія типическія черты.

Въ-четвертыхъ, всѣ согласны, что въ большей части комедій Островскаго «не достаетъ (по выраженію одного изъ восторженныхъ его хвалителей) экономіи въ планѣ и въ постройкѣ пьесы», и что вслѣдствіе того (по выраженію другого изъ его поклонниковъ) «драматическое дѣйствіе не развивается въ нихъ послѣдовательно и безпрерывно, интрига пьесы не сливается органически съ идеей пьесы и является ей какъ бы нѣсколько посторонней».

Въ-пятыхъ, всѣмъ не нравится слишкомъ крутая,

случайная, развязка комедій Островскаго. По выраженію одного критика, въ концѣ пьесы «какъ будто смерчъ какой проносится по комнатѣ и разомъ перевертываетъ всѣ головы дѣйствующихъ лицъ».

Вотъ, кажется, все, въ чемъ доселѣ соглашалась всякая критика, заговаривая объ Островскомъ... Мы могли бы построить всю нашу статью на развитіи этихъ, всѣми признанныхъ, положеній и, можетъ-быть, избрали бы благую часть. Читатели, конечно, поскучали бы немного; но зато мы отдѣлались бы чрезвычайно легко, заслужили бы сочувствіе эстетическихъ критиковъ и даже—почему знать?—стяжали бы, можетъ-быть, названіе тонкаго цѣнителя художественныхъ красотъ и таковыхъ же недостатковъ. Но, къ сожалѣнію, мы не чувствуемъ въ себѣ призванія воспитывать эстетическій вкусъ публики, и потому намъ самимъ чрезвычайно скучно браться за школьную указку, съ тѣмъ чтобы пространно и глубокомысленно толковать о тончайшихъ оттѣнкахъ художественности. Мы сдѣлаемъ только нѣсколько замѣчаній объ отношеніи художественнаго таланта къ отвлеченнымъ идеямъ писателя.

Въ произведеніяхъ талантливаго художника, какъ бы они ни были разнообразны, всегда можно примѣчать нѣчто общее, характеризующее всѣ ихъ и отличающее ихъ отъ произведеній другихъ писателей. На техническомъ языкѣ искусства принято называть это міросозерцаніемъ художника. Но напрасно стали бы мы хлопотать о томъ, чтобы привести это міросозерцаніе въ опредѣленныя логическія построенія, выразить его въ отвлеченныхъ формулахъ. Отвлеченностей этихъ обыкновенно не бываетъ въ самомъ сознаніи художника; нерѣдко даже въ отвлеченныхъ разсужденіяхъ онъ высказываетъ понятія, разительно противоположныя тому, что выражается въ его художественной дѣятельности,—

понятія, принятыя имъ на вѣру или добытыя имъ посредствомъ ложныхъ, наскоро, чисто внѣшнимъ образомъ составленныхъ силлогизмовъ. Собственный же взглядъ его на міръ, служащій ключомъ къ характеристикѣ его таланта, надо искать въ живыхъ образахъ, создаваемыхъ имъ. Здѣсь-то и находится существенная разница между талантомъ художника и мыслителя. Въ сущности, мыслящая сила и творческая способность обѣ равно присущи и равно необходимы и философу и поэту. Величіе философствующаго ума и величіе поэтическаго генія равно состоятъ въ томъ, чтобы, при взглядѣ на предметъ, тотчасъ умѣть отличить его существенныя черты отъ случайныхъ, затѣмъ—правильно организовать ихъ въ своемъ сознаніи и умѣть овладѣть ими такъ, чтобы имѣть возможность свободно вызвать ихъ для всевозможныхъ комбинацій. Но разница между мыслителемъ и художникомъ та, что у послѣдняго воспріимчивость гораздо живѣе и сильнѣе. Оба они почерпаютъ свой взглядъ на міръ изъ фактовъ, успѣвшихъ дойти до ихъ сознанія. Но человѣкъ съ болѣе живой воспріимчивостью, «художническая натура», сильно поражается самымъ первымъ фактомъ извѣстнаго рода, представившимся ему въ окружающей дѣйствительности. У него еще нѣтъ теоретическихъ соображеній, которыя бы могли объяснить этотъ фактъ; но онъ видитъ, что тутъ есть что-то особенное, заслуживающее вниманія, и съ жаднымъ любопытствомъ всматривается въ самый фактъ, усвоиваетъ его, носитъ его въ своей душѣ сначала какъ единичное представленіе, потомъ присоединяетъ къ нему другіе, однородные факты и образы и, наконецъ, создаетъ типъ, выражающій въ себѣ всѣ существенныя черты всѣхъ частныхъ явленій этого рода, прежде замѣченныхъ художникомъ. Мыслитель, напротивъ, не такъ скоро и не такъ сильно поражается. Первый фактъ новаго рода не производитъ

на него живого впечатлѣнія; онъ большею частью едва примѣчаетъ этотъ фактъ и проходитъ мимо него, какъ мимо странной случайности, даже не трудясь усвоить его себѣ. (Не говоримъ, разумѣется, о личныхъ отношеніяхъ: влюбиться, разсердиться, опечалиться—всякій философъ можетъ столь же быстро, при первомъ же появленіи факта, какъ и поэтъ.) Только уже потомъ, когда много однородныхъ фактовъ наберется въ сознаніи, человѣкъ съ слабой воспріимчивостью обратитъ на нихъ, наконецъ, свое вниманіе. Но тутъ обиліе частныхъ представленій, собранныхъ прежде и непримѣтно покоившихся въ его сознаніи, даетъ ему возможность тотчасъ же составить изъ нихъ общее понятіе и, такимъ образомъ, немедленно перенести новый фактъ изъ живой дѣйствительности въ отвлеченную сферу разсудка. А здѣсь уже пріискивается для новаго понятія надлежащее мѣсто въ ряду другихъ идей, объясняется его значеніе, дѣлаются изъ него выводы и т. д. При этомъ мыслитель, или, говоря проще, человѣкъ разсуждающій, пользуется, какъ дѣйствительными фактами, и тѣми образами, которые воспроизведены изъ жизни искусствомъ художника. Иногда даже эти самые образы наводятъ разсуждающаго человѣка на составленіе правильныхъ понятій о нѣкоторыхъ изъ явленій дѣйствительной жизни. Такимъ образомъ, совершенно яснымъ становится значеніе художнической дѣятельности въ ряду другихъ отправленій общественной жизни: образы, созданные художникомъ, собирая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, факты дѣйствительной жизни, весьма много способствуютъ составленію и распространенію между людьми правильныхъ понятій о вещахъ.

Отсюда ясно, что главное достоинство писателя-художника состоитъ въ правдѣ его изображеній; иначе изъ нихъ будутъ ложные выводы, составятся, по

ихъ милости, ложныя понятія. Но какъ понимать правду художественныхъ изображеній? Собственно говоря, безусловной неправды писатели никогда не выдумываютъ; о самыхъ нелѣпыхъ романахъ и мелодрамахъ нельзя сказать, чтобы представляемыя въ нихъ страсти и пошлости были безусловно ложны, т.-е. невозможны, даже какъ уродливая случайность. Но неправда подобныхъ романовъ и мелодрамъ именно въ томъ и состоитъ, что на нихъ берутся случайныя, ложныя черты дѣйствительной жизни, не составляющія ея сущности, ея характерныхъ особенностей. Они представляются ложью и въ томъ отношеніи, что если по нимъ составлять теоретическія понятія, то можно притти къ идеямъ совершенно ложнымъ. Есть, напр., авторы, посвятившіе свой талантъ на воспѣваніе сладострастныхъ сценъ и развратныхъ похожденій; сладострастіе изображается ими въ такомъ видѣ, что если имъ повѣрить, то въ немъ одномъ только и заключается истинное блаженство человѣка. Заключеніе, разумѣется, нелѣпое, хотя, конечно, и бываютъ дѣйствительно люди, которые, по степени своего развитія, и неспособны понять другого блаженства, кромѣ этого... Были другіе писатели, еще болѣе нелѣпые, которые превозносили доблести воинственныхъ феодаловъ, проливавшихъ рѣки крови, сожигавшихъ города и грабившихъ своихъ вассаловъ. Въ описаніи подвиговъ этихъ грабителей не было прямой лжи; но они представлены въ такомъ свѣтѣ, съ такими восхваленіями, которыя ясно свидѣтельствуютъ, что въ душѣ автора, воспѣвавшаго ихъ, не было чувства человѣческой правды. Такимъ образомъ, всякая односторонность и исключительность уже мѣшаетъ полному соблюденію правды художникомъ. Слѣдовательно, художникъ долженъ или въ полной неприкосновенности сохранить свой простой, младенчески-непосредственный взглядъ на весь міръ,

или (такъ какъ это совершенно невозможно въ жизни) спасаться отъ односторонности возможнымъ расширеніемъ своего взгляда, посредствомъ усвоенія себѣ тѣхъ общихъ понятій, которыя выработаны людьми разсуждающими. Въ этомъ можетъ выразиться связь знанія съ искусствомъ. Свободное претвореніе самыхъ высшихъ умозрѣній въ живые образы и вмѣстѣ съ тѣмъ полное сознаніе высшаго, общаго смысла во всякомъ, самомъ частномъ и случайномъ фактѣ жизни—это есть идеалъ, представляющій полное сліяніе науки и поэзіи и доселѣ еще никѣмъ не достигнутый. Но художникъ, руководимый правильными началами въ своихъ общихъ понятіяхъ, имѣетъ все-таки ту выгоду предъ неразвитымъ или ложно развитымъ писателемъ, что можетъ свободнѣе предаваться внушеніямъ своей художнической натуры. Его непосредственное чувство всегда вѣрно указываетъ ему на предметы; но когда его общія понятія ложны, то въ немъ неизбѣжно начинается борьба, сомнѣнія, нерѣшительность, и если произведеніе его и не дѣлается оттого окончательно фальшивымъ, то все-таки выходитъ слабымъ, безцвѣтнымъ и нестройнымъ. Напротивъ, когда общія понятія художника правильны и вполнѣ гармонируютъ съ его натурой, тогда эта гармонія и единство отражаются и въ произведеніи ярче и живѣе, и оно легче можетъ привести разсуждающаго человѣка къ правильнымъ выводамъ и, слѣдовательно, имѣть болѣе значенія для жизни.

Если мы примѣнимъ все сказанное къ сочиненіямъ Островскаго, то должны будемъ сознаться, что его литературная дѣятельность не совсѣмъ чужда была тѣхъ колебаній, которыя происходятъ вслѣдствіе разногласія внутренняго художническаго чувства съ отвлеченными, извнѣ усвоенными, понятіями. Этими колебаніями и объясняется, что критика могла дѣлать совершенно противоположныя заключенія о смыслѣ фактовъ, вы-

ставлявшихся въ комедіяхъ Островскаго. Конечно, обвиненія его въ томъ, что онъ проповѣдуетъ отреченіе отъ свободной воли, идіотское смиреніе, покорность и т. д., должны быть приписаны всего болѣе недогадливости критиковъ; но все-таки, значитъ, и самъ авторъ недостаточно оградилъ себя отъ подобныхъ обвиненій. И дѣйствительно, въ комедіяхъ «Не въ свои сани не садись», «Бѣдность не порокъ» и «Не такъ живи, какъ хочется» существенно дурныя стороны нашего стариннаго быта обставлены въ дѣйствіи такими случайностями, которыя какъ будто заставляютъ не считать ихъ дурными. Будучи положены въ основу названныхъ пьесъ, эти случайности доказываютъ, что авторъ придалъ имъ болѣе значенія, нежели онѣ имѣютъ въ самомъ дѣлѣ, и эта невѣрность взгляда повредила цѣльности и яркости самыхъ произведеній. Но сила непосредственнаго чувства не могла и тутъ оставить автора, и потому частныя положенія и отдѣльные характеры, взятые имъ, постоянно отличаются неподдѣльной истиной. Рѣдко-рѣдко увлеченіе идеей доводило Островскаго до натяжки въ представленіи характеровъ или отдѣльныхъ драматическихъ положеній, какъ, напримѣръ, въ той сценѣ въ «Не въ свои сани не садись», гдѣ Бородкинъ объявляетъ желаніе взять за себя опозоренную дочь Русакова. Во всей пьесѣ Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по-старинному; послѣдній же его поступокъ вовсе не въ духѣ того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородкинъ. Но авторъ хотѣлъ приписать этому лицу всевозможныя добрыя качества, и въ числѣ ихъ приписалъ даже такое, отъ котораго настоящіе Бородкины, вѣроятно, отреклись бы съ ужасомъ. Но такихъ натяжекъ чрезвычайно мало у Островскаго: чувство художественной правды постоянно спасало его. Гораздо чаще онъ какъ будто отступалъ отъ своей идеи, именно по желанію

остаться вѣрнымъ дѣйствительности. Люди, которые желали видѣть въ Островскомъ непремѣнно сторонника своей партіи, часто упрекали его, что онъ недостаточно ярко выразилъ ту мысль, которую хотѣли они видѣть въ его произведеніи. Напримѣръ, желая видѣть въ «Бѣдности пе порокъ» апоѳеозу смиренія и покорности старшимъ, нѣкоторые критики упрекали Островскаго за то, что развязка пьесы является не необходимымъ слѣдствіемъ нравственныхъ достоинствъ смиреннаго Мити. Но авторъ умѣлъ понять практическую нелѣпость и художественную ложность такой развязки и потому употребилъ для нея случайное вмѣшательство Любима Торцова. Такъ точно за лицо Петра Ильича въ «Не такъ живи, какъ хочется» автора упрекали, что онъ не придалъ этому лицу той широты натуры, того могучаго размаха, какой, дескать, свойственъ русскому человѣку, особенно въ разгулѣ. Но художническое чутье автора дало ему понять, что его Петръ, приходящій въ себя отъ колокольнаго звона, не есть представитель широкой русской натуры, забубенной головы, а довольно мелкій трактирный гуляка. За «Доходное мѣсто» тоже слышались довольно забавныя обвиненія. Говорили, зачѣмъ Островскій вывелъ представителемъ честныхъ стремленій такого плохого господина, какъ Жадовъ; сердились даже на то, что взяточники у Островскаго такъ пошлы и наивны, и выражали мнѣніе, что «гораздо лучше было бы выставить на судъ публичный тѣхъ людей, которые обдуманно и ловко созидаютъ, развиваютъ, поддерживаютъ взяточничество, холопское начало и со всей энергіей противятся всѣмъ, чѣмъ могутъ, проведенію въ государственный и общественный организмъ свѣжихъ элементовъ». При этомъ, прибавляетъ требовательный критикъ, «мы были бы самыми напряженными, страстными зрителями то бурнаго, то ловко выдерживаемаго

столкновенія двухъ партій» («Атеней» 1858 г., № 10). Такое желаніе, справедливое въ отвлеченіи, доказываетъ однако, что критикъ совершенно не умѣлъ понять то темное царство, которое изображается у Островскаго, и само предупреждаетъ всякое недоумѣніе о томъ, отчего такія-то лица пошлы, такія-то положенія случайны, такія-то столкновенія слабы. Мы не хотимъ никому навязывать своихъ мнѣній; но намъ кажется, что Островскій погрѣшилъ бы противъ правды, наклепалъ бы на русскую жизнь совершенно чуждыя ей явленія, если бы вздумалъ выставлять нашихъ взяточниковъ, какъ правильно организованную, сознательную партію. Гдѣ вы у насъ нашли подобныя партіи? Въ чемъ открыли вы слѣды сознательныхъ, обдуманныхъ дѣйствій? Повѣрьте, что если бъ Островскій принялся выдумывать такихъ людей и такія дѣйствія, то какъ бы ни драматична была завязка, какъ бы ни рельефно были выставлены всѣ характеры пьесы, произведеніе все-таки, въ цѣломъ, осталось бы мертвымъ и фальшивымъ. И то ужъ есть въ этой комедіи фальшивый тонъ въ лицѣ Жадова; но и его почувствовалъ самъ авторъ, еще прежде всѣхъ критиковъ. Съ половины пьесы онъ начинаетъ спускать своего героя съ того пьедестала, на которомъ онъ является въ первыхъ сценахъ, а въ послѣднемъ актѣ показываетъ его рѣшительно неспособнымъ къ той борьбѣ, какую онъ принялъ было на себя. Мы въ этомъ не только не обвиняемъ Островскаго, но, напротивъ, видимъ доказательство силы его таланта. Онъ, безъ сомнѣнія, сочувствовалъ тѣмъ прекраснымъ вещамъ, которыя говоритъ Жадовъ; но въ то же время онъ умѣлъ почувствовать, что заставить Жадова д ѣ л а т ь всѣ эти прекрасныя вещи—значило бы исказить настоящую русскую дѣйствительность. Здѣсь требованіе художественной правды остановило Островскаго отъ увлеченія внѣшней

тенденціей и помогло ему уклониться отъ дороги гг. Соллогуба и Львова. Примѣръ этихъ бездарныхъ фразеровъ показываетъ, что смастерить механическую куколку и назвать ее *честнымъ чиновникомъ* вовсе не трудно; но трудно вдохнуть въ нее жизнь и заставить ее говорить и дѣйствовать по-человѣчески. Занявшись изображеніемъ честнаго чиновника, и Островскій не вездѣ преодолѣлъ эту трудность; но всетаки въ его комедіи натура человѣческая много разъ сказывается изъ-за громкихъ фразъ Жадова. И въ томъ умѣньи подмѣчать натуру, проникать въ глубь души человѣка, уловлять его чувства, независимо отъ изображенія его внѣшнихъ, офиціальныхъ отношеній,—въ этомъ мы признаемъ одно изъ главныхъ и лучшихъ свойствъ таланта Островскаго. И поэтому мы всегда готовы оправдать его отъ упрека въ томъ, что онъ въ изображеніи характера не остался вѣренъ тому основному мотиву, какой угодно будетъ отыскать въ немъ глубокомысленнымъ критикамъ.

Точно такъ же мы оправдываемъ Островскаго въ случайности и видимой неразумности развязокъ въ его комедіяхъ. Гдѣ же взять разумности, когда ея нѣтъ въ самой жизни, изображаемой авторомъ? Безъ сомнѣнія, Островскій сумѣлъ бы представить для удержанія человѣка отъ пьянства какіе-нибудь резоны болѣе дѣйствительные, нежели колокольный звонъ; но что же дѣлать, если Петръ Ильичъ былъ таковъ, что резоновъ не могъ понимать? Своего ума въ человѣка не вложишь, народнаго суевѣрія не передѣлаешь. Придавать ему смыслъ, котораго оно не имѣетъ, значило бы искажать его и лгать на самую жизнь, въ которой оно проявляется. Такъ точно и въ другихъ случаяхъ: создавать непреклонные драматическіе характеры, ровно и обдуманно стремящіеся къ одной цѣли, придумывать строго соображенную и тонко веденную интригу—значило

бы навязывать русской жизни то, чего въ ней вовсе нѣтъ. Говоря по совѣсти, никто изъ насъ не встрѣчалъ въ своей жизни мрачныхъ интригановъ, систематическихъ злодѣевъ, сознательныхъ іезуитовъ. Если у насъ человѣкъ и подличаетъ, такъ больше по слабости характера; если сочиняетъ мошенническія спекуляціи, такъ больше оттого, что окружающіе его очень глупы и довѣрчивы; если и угнетаетъ другихъ, то больше потому, что это никакого усилія не стоитъ: такъ всѣ податливы и покорны. Наши интриганы, дипломаты и злодѣи постоянно напоминаютъ мнѣ одного шахматнаго игрока, который говорилъ мнѣ: «это вздоръ, будто можно разсчитать заранѣе свою игру; игроки только напрасно хвалятся этимъ; а на самомъ-то дѣлѣ больше трехъ ходовъ впередъ невозможно разсчитать». И этотъ игрокъ многихъ еще обыгрывалъ: другіе, стало-быть, и трехъ-то ходовъ не разсчитывали, а такъ только смотрѣли на то, что у нихъ подъ носомъ. Такова и вся наша русская жизнь: кто видитъ на три шага впередъ, тотъ уже считается мудрецомъ и можетъ надуть и оплести тысячи людей, а тутъ хотятъ, чтобы художникъ представлялъ намъ въ русской кожѣ какихъ-нибудь Тартюфовъ, Ричардовъ, Шейлоковъ. По нашему мнѣнію, такое требованіе совершенно нейдетъ къ намъ и сильно отзывается схоластикой. По схоластическимъ требованіямъ, произведеніе искусства не должно допускать случайности: въ немъ все должно быть строго соображено, все должно развиваться послѣдовательно изъ одной данной точки, съ логической необходимостью и въ то же время естественностью. Но если естественность требуетъ отсутствія логической послѣдовательности? По мнѣнію схоластиковъ, не нужно брать такихъ сюжетовъ, въ которыхъ случайность не можетъ быть подведена подъ требованія логической необходимости. По нашему же мнѣнію, для

художественнаго произведенія годятся всякіе сюжеты, какъ бы они ни были случайны, и въ такихъ сюжетахъ нужно для естественности жертвовать даже отвлеченною логичностью, въ полной увѣренности, что жизнь, какъ и природа, имѣетъ свою логику, и что эта логика, можетъ-быть, окажется гораздо лучше той, какую мы ей часто навязываемъ... Вопросъ этотъ, впрочемъ, слишкомъ еще новъ въ теоріи искусства, и мы не хотимъ выставлять свое мнѣніе, какъ непреложное правило. Мы только пользуемся случаемъ высказать его по поводу произведеній Островскаго, у котораго вездѣ на первомъ планѣ видимъ вѣрность фактамъ дѣйствительности, и даже нѣкоторое презрѣніе къ логической замкнутости произведенія, и котораго комедіи, несмотря на то, имѣютъ и занимательность и внутренній смыслъ. Признавая главнымъ достоинствомъ художественнаго произведенія жизненную правду его, мы тѣмъ самымъ указываемъ и мѣрку, которою опредѣляется для насъ степень достоинства и значеніе каждаго литературнаго явленія. Судя по тому, какъ глубоко проникаетъ взглядъ писателя въ самую сущность явленій, какъ широко захватываетъ онъ въ своихъ изображеніяхъ различныя стороны жизни, можно рѣшить и то, какъ великъ его талантъ. Безъ этого всѣ толкованія будутъ напрасны. Напримѣръ, у г. Фета есть талантъ, и у г. Тютчева есть талантъ; какъ опредѣлить ихъ относительное значеніе? Безъ сомнѣнія, не иначе, какъ разсмотрѣніемъ сферы, доступной каждому изъ нихъ. Тогда и окажется, что талантъ одного способенъ во всей силѣ проявиться только въ уловленіи мимолетныхъ впечатлѣній отъ тихихъ явленій природы; а другому доступны, кромѣ того, и знойная страстность, и суровая энергія, и глубокая дума, возбуждаемая не одними стихійными явленіями, но и вопросами нравственными, интересами общественной жизни. Въ показаніи всего этого и должна

бы собственно заключаться оцѣнка таланта обоихъ поэтовъ. Тогда читатели безъ всякихъ эстетическихъ (обыкновенно очень туманныхъ) разсужденій поняли бы, какое мѣсто въ литературѣ принадлежитъ и тому и другому поэту. Такъ мы полагаемъ поступить и съ произведеніями Островскаго. Все предыдущее изложеніе привело насъ до сихъ поръ къ признанію того, что вѣрность дѣйствительности, жизненная правда постоянно соблюдается въ произведеніяхъ Островскаго и стоятъ на первомъ планѣ, впереди всякихъ задачъ и заднихъ мыслей. Но этого еще мало: вѣдь и г. Фетъ очень вѣрно выражаетъ неопредѣленныя впечатлѣнія природы, и, однакожъ, отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы его стихи имѣли большое значеніе въ русской литературѣ. Для того чтобы сказать что-нибудь опредѣленное о талантѣ Островскаго, нельзя, стало-быть, ограничиться общимъ выводомъ, что онъ вѣрно изображаетъ дѣйствительность; нужно еще показать, какъ обширна сфера, подлежащая его наблюденіямъ, до какой степени важны тѣ стороны фактовъ, которыя его занимаютъ, и какъ глубоко проникаетъ онъ въ нихъ. Для этого-то и необходимо реальное разсмотрѣніе того, что есть въ его произведеніяхъ.

Общія соображенія, которыя въ этомъ разсмотрѣніи должны руководить насъ, состоятъ въ слѣдующемъ:

Островскій умѣетъ заглядывать въ глубь души человѣка, умѣетъ отличать натуру отъ всѣхъ извнѣ принятыхъ уродствъ и наростовъ; оттого внѣшній гнетъ, тяжесть всей обстановки, давящей человѣка, чувствуется въ его произведеніяхъ гораздо сильнѣе, чѣмъ во многихъ разсказахъ, страшно возмутительныхъ по содержанію, но внѣшнею, офиціальною стороною дѣла совершенно заслоняющихъ внутреннюю, человѣческую сторону.

Комедія Островскаго не проникаетъ въ высшіе слои нашего общества, а ограничивается только средними,

и потому не можетъ дать ключа къ объясненію многихъ горькихъ явленій, въ ней изображаемыхъ. Но тѣмъ не менѣе она можетъ наводить на многія аналогическія соображенія, относящіяся и къ тому быту, котораго прямо не касается; это оттого, что типы комедій Островскаго нерѣдко заключаютъ въ себѣ не только исключительно купеческія или чиновничьи, но и общенародныя черты.

Дѣятельность общественная мало затронута въ комедіяхъ Островскаго, и, безъ сомнѣнія, потому, что сама гражданская жизнь наша, изобилующая формальностями всякаго рода, почти не представляетъ примѣровъ настоящей дѣятельности, въ которой свободно и широко могъ выразиться человѣкъ. Зато у Островскаго чрезвычайно полно и рельефно выставлены два рода отношеній, къ которымъ человѣкъ еще можетъ у насъ приложить душу свою,—отношенія семейныя и отношенія по имуществу. Немудрено поэтому, что сюжеты и самыя названія его пьесъ вертятся около семьи, жениха, невѣсты, богатства и бѣдности.

Драматическія коллизіи и катастрофы въ пьесахъ Островскаго всѣ происходятъ вслѣдствіе столкновенія двухъ партій—старшихъ и младшихъ, богатыхъ и бѣдныхъ, своевольныхъ и безотвѣтныхъ. Ясно, что развязка подобныхъ столкновеній, по самому существу дѣла, должна имѣть довольно крутой характеръ и отзываться случайностью.

Н. Добролюбовъ.

Литературное наслѣдство Островскаго *).

Литературное наслѣдство, оставленное Островскимъ, представляется вполнѣ законченнымъ, можно сказать классическимъ. Оно заключается въ трехъ сокровищахъ: бытовая комедія, историческая драма и пьесы изъ міра интеллигенціи пореформенной эпохи.

Всѣ эти пути, какими шелъ Островскій, имѣютъ не одинаковое значеніе въ исторіи русской литературы. Первое мѣсто принадлежитъ бытовой комедіи. Островскій открылъ—вполнѣ самостоятельно—цѣлую область, богатую самобытными чертами быта, оригинальными характерами, своеобразнымъ языкомъ и складомъ мыслей и чувствъ. Только для нѣкоторыхъ типовъ у него были предшественники,—но учителями его ихъ слѣдуетъ признать съ большими ограниченіями.

Гоголь до Островскаго создалъ типъ купеческой свахи, нарисовалъ множество фигуръ чиновниковъ, коснулся и купцовъ. Во всей той галлереѣ только сваха могла оказать извѣстную опору вдохновенію Островскаго: чиновники и купцы Гоголя при нѣкоторыхъ общихъ чертахъ съ героями Островскаго отличаются отъ нихъ настолько же, насколько петербургская департаментская канцелярія или провинціальный чернильный застѣнокъ отличаются отъ московскихъ присутственныхъ

*) *И. И. Ивановъ*. А. Н. Островскій, его жизнь и литературная дѣятельность. *Спб*. 1900.

мѣстъ. О подражаніи или заимствованіи не могло быть и рѣчи.

Въ исторической драмѣ предшественникъ Островскаго—Пушкинъ, но онъ вообще родоначальникъ этого жанра. Можетъ-быть, слѣдуетъ упомянуть здѣсь еще Хомякова. Онъ написалъ драму о Самозванцѣ, и у Островскаго оказались нѣкоторыя совпаденія съ этой пьесой. Но они обусловлены опять не подражаніемъ, а одинаковостью задачи и общностью источниковъ.

Въ результатѣ — Островскаго слѣдуетъ считать безусловно оригинальнымъ представителемъ московской комедіи и исторической хроники. Сравнительно менѣе значительны «интеллигентныя» пьесы: здѣсь у Островскаго было не мало талантливыхъ соревнователей,—и въ этой области не приходилось дѣлать открытій, не доступныхъ ни прежде ни послѣ другимъ писателямъ. Если бы дѣятельность Островскаго ограничилась только этими произведеніями, онъ не имѣлъ бы значенія первостепеннаго классическаго русскаго драматурга. Но онъ дѣйствительно сказалъ новое слово,—правда, не въ смыслѣ его славянофильскихъ поклонниковъ, т.-е. не изобрѣлъ особой спеціально-русской культурной вѣры,—онъ расширилъ кругозоръ художественнаго русскаго генія, подчинилъ его власти цѣлую породу невѣдомыхъ раньше людей и внесъ, слѣдовательно, новое содержаніе въ общественную мысль. Россія—національная въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, точнѣе московская Русь—изучена и воспроизведена Островскимъ въ ея прошломъ и настоящемъ съ безсмертной правдой и полнотой. Это—настоящій поэтъ «святой Руси», вдохновенный этнографъ и историкъ, сумѣвшій съ высоты современнаго просвѣщенія проникнуть въ затаеннѣйшіе уголки сложной и темной психологіи московскаго старозавѣтнаго человѣка. Какую неоцѣнимую заслугу оказалъ онъ русской наукѣ и русской общественной поли-

тикѣ! Услугу тѣмъ болѣе рѣдкую, что Островскій во всѣхъ своихъ изслѣдованіяхъ національной почвы оставался художникомъ, безпристрастно наблюдающимъ, спокойно-творящимъ и всегда поразительно яснымъ.

У весьма немногихъ писателей можно найти такой опредѣленный и идейно-вѣскій матеріалъ для публицистической характеристики общественныхъ явленій,—и всѣмъ извѣстно, какъ блестяще воспользовался этимъ качествомъ пьесъ Островскаго Добролюбовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какая прозрачность и тонкость рисунка! Стоитъ только вслушаться въ разговоры героевъ Островскаго—въ вашей памяти непремѣнно останется множество оригинальнѣйшихъ оборотовъ рѣчи и мысли и вмѣстѣ съ ними навсегда рѣзкій, единственный по оригинальности образъ.

Прежде всего,—царь темнаго царства, московскій купецъ, «именитый» и «первостатейный». Собственно предѣлы его царства очень ограничены: собственный домъ да собственная лавка. Но порода въ высшей степени многочисленна, она населяетъ цѣлую страну,—и, естественно, подданныхъ у нея великое множество,—и ровно столько же «униженныхъ и оскорбленныхъ».

Почему же, непремѣнно, гдѣ именитый купецъ—тамъ и несчастныя жертвы? Какъ могъ народиться и развиться особый типъ—с а м о д у р ъ, разумное существо, не признающее ничьего разума и никакой логики, кромѣ своего каприза и произвола, «хоть ты ему колъ на головѣ теши»? И почему произволъ направленъ преимущественно на униженія и страданія другихъ: «Скажетъ— кто я? тутъ ужъ всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежатъ, а то бѣда»?

Семьей не ограничиваются подвиги самодура. Существуютъ приказчики, молодцы, мальчишки — народъ „купленный“, въ пользу него даже законовъ не существуетъ, одна лишь „воля хозяйская“.

Наконецъ, вообще всякій слабый и безотвѣтный человѣкъ на каждомъ шагу подвергается опасности претерпѣть ущербъ своей чести и своему здоровью отъ самодура. Онъ будетъ поднятъ на смѣхъ за плохое одѣяніе, за свою ученость, даже за свою честность, его вымажутъ сажей, заставятъ плакать, въ пуху валяютъ,—вообще до послѣдней степени унизятъ, изломаютъ и исказятъ человѣческій образъ.

Можно подумать, эти люди—прирожденные преступники, одержимые какимъ-то длящимся бѣшенствомъ. На самомъ дѣлѣ ничего подобнаго: это—вполнѣ мирные обыватели, весьма часто добродушные, даже наивные и съ большими задатками юмора. Какъ же они могутъ гордиться возможностью всякаго обидѣть, въ то время какъ ихъ никто не обидитъ?

Вопросъ въ высшей степени важный. Онъ касается самыхъ основъ темнаго царства, его первоисточниковъ. Добролюбовъ, въ своихъ блестящихъ статьяхъ, миновалъ его,—а между тѣмъ только онъ исчерпываетъ до дна всю бездну тьмы и жестокости, порождающую ежедневно Большовыхъ, Брусковыхъ, Пузатовыхъ и создающую для нихъ сцену дѣйствія.

Драматургъ самъ даетъ вполнѣ ясный отвѣтъ. Брусковы вовсе не герои и не торжествующія животныя, какъ бы сильно они ни вопіяли о своемъ правѣ обижать и миловать. Они — по существу жертвы и даже трагическія несравненно болѣе сильныхъ самодуровъ. Собственно ихъ самодурство—не что иное, какъ дикій крикъ угнетенной человѣческой природы, въ свою очередь жестоко оскорбленной.

Одинъ изъ героевъ пьесы «Комикъ XVII вѣка»—вполнѣ точный двойникъ самодура XIX-го столѣтія—высказываетъ своей знакомой—такой же почвенной москвичкѣ — изумительно краснорѣчивую исповѣдь насчетъ своихъ отношеній къ сыну, рабски ему послушному:

Вотъ, Татьяна
Макарьевна, родительскому сердцу
Не лестно ли такую зрѣть покорность
Сыновнюю! Когда тебѣ взгрустнется
Иль пьянъ придешь домой, на что утѣшнѣй
Поклоны ихъ земные. Заставляешь
Поклоны бить и веселишься духомъ,
Что какъ де ты ни малъ, ни пріобиженъ
Отъ властныхъ лицъ, а дѣтямъ домочадцамъ
Въ своемъ дому все тотъ же государь.

Совершенно такая же логика и у Брускова и у Дикого. Они принимаются за издѣвательство надъ домочадцами, когда сами попадаютъ въ безвыходное положеніе, когда ихъ собственное самолюбіе оскорблено. Тогда они становятся въ родѣ Поприщина и, конечно, требуютъ знаковъ подданства. Такъ же поступаютъ и ихъ жертвы: въ конецъ забитая супруга Кита Китыча является матерью-деспоткой, — и говоритъ сыну тѣ самыя угрозы, какія сама слышитъ отъ мужа,—и доводы у нея тѣ же: «яйца курицу не учатъ».

Не остается безотвѣтнымъ и сынъ,—онъ также самодуръ—только лишь въ другой роли,—въ роли кутилы. Онъ скроменъ, но уже намѣренъ запить, а «стоитъ только начать», говоритъ онъ, «то я чувствую, что вся тятенькина натура покажется».

Несомнѣнно,—и постигнетъ какого-нибудь «молодца», а тотъ въ свою очередь допечетъ Тишку, пока еще мальчишку, а Тишка выместитъ свою обиду на беззащитномъ «стрюцкомъ», высмѣетъ его лохмотья и слезы,—со временемъ онъ при первой возможности заявитъ: кто я? чего моя нога хочетъ?

Это неразрывная круговая порука рабства и произвола. Къ этой цѣли направлено, можно сказать, все общественное воспитаніе этого міра. И попробуйте сыскать здѣсь виноватаго!

Напримѣръ, Андрей Титычъ — юноша, несомнѣнно,

симпатичный, добрый и даже благородный. Но онъ уже зараженъ недугомъ: онъ издѣвается надъ какимъ-то бѣднякомъ учителемъ, ему нравится, какъ рядскіе кричатъ вслѣдъ «ученаго»: «ты, окромя свинячьяго, на семь языковъ знаешь».

Андрея Титыча стыдятъ, но онъ, нисколько не смущаясь, отвѣчаетъ: «Нельзя нашему брату не смѣяться,—потому эти стрюцкіе такія дѣла съ нами дѣлаютъ, что смѣху подобно... другой весь-то грошъ стоитъ, а такого изъ себя барина доказываетъ,—и не подступайся—засудитъ; а далъ ему цѣлковый или тамъ больше, глядя по дѣлу, да подпоилъ, такъ онъ хоть спирю плясать пойдетъ».

И мы это видимъ воочію. Если не всякій «баринъ» готовъ плясать спирю, то ужъ непремѣнно за цѣлковый или больше, глядя по дѣлу, продастъ и совѣсть и законъ. Китъ Китычъ въ этомъ вопросѣ вполнѣ сходится съ сыномъ: «ужъ и вашъ-то братъ намъ солонъ приходится», говоритъ онъ барину и проситъ «пожалѣть человѣческую душу».

Но жалость барина извѣстная. Приказный Мудровъ прямо сознается, что у ихъ брата нѣтъ «человѣчества». Къ нимъ даже невиноватый является съ такимъ видомъ, будто его засудить могутъ, и готовъ платить деньги даже за ласковый взглядъ. И платитъ, потому что—говоритъ московская обывательница—«не бойся суда, а бойся судьи, пуще всего ты его бойся». Вполнѣ естественно: вѣдь судъ — объясняетъ приказный Крутицкій—«торговля, а не судъ»,—и кто меньше беретъ, тотъ даже преступнѣе, потому что дешевле продаетъ свою совѣсть.

И такъ на дѣло смотрятъ не одни взяточники. Общественное мнѣніе раздѣляетъ тотъ же взглядъ. Взятки—только страшное слово: въ сущности это — благодар-

ность, «а отъ благодарности отказываться грѣхъ, обидѣть человѣка надо».

Такъ разсуждаетъ вдова коллежскаго асессора, дающая дочерямъ «благородное воспитаніе». Важный чиновникъ безусловно подтверждаетъ ея взглядъ: «не пойманъ—не воръ»,—такъ общество смотритъ на взяточниковъ,—и общество интеллигентное, не замоскворѣцкое.

Гдѣ же послѣ этого Брускову додуматься до высшихъ понятій? Онъ, разумѣется, призналъ торговлю правосудіемъ закономъ природы и рѣшительно не вѣритъ въ честныхъ чиновниковъ. Въ безкорыстіи начальства онъ видитъ сугубый подвигъ: «если съ него не взять, такъ онъ опасается», говоритъ московскій философъ. Черта—замѣчательная! Она съ особенной силой подчеркнута и Писемскимъ въ романѣ «Тысяча душъ»: вся драма Калиновича, какъ общественнаго дѣятеля, создается именно органическимъ недовѣріемъ народа и общества къ его честности и безкорыстной чистотѣ его намѣреній. Цѣлыми вѣками обыватель привыкалъ только къ ябедѣ и кривдѣ,—гдѣ же ему постигнуть гражданина въ мундирѣ чиновника! И онъ готовъ предположить все, что угодно,—только не безкорыстіе и неподкупность.

Ясно, темное и жестокое упорство самодуровъ неуклонно воспитывается преступнымъ міромъ «властныхъ лицъ». Но кончается ли и здѣсь цѣпь великая? Послушайте интеллигентнаго и безобиднѣйшаго чиновника, ставшаго взяточникомъ. Рѣчь его не требуетъ никакихъ поясненій: она внушительна и проста, какъ непосредственная правда жизни.

«У насъ», говоритъ онъ, «вѣдь не изъ жалованья служатъ. Самое большое жалованье 15 рублей въ мѣсяцъ. У насъ штату нѣтъ, по трудамъ и заслугамъ получаемъ; въ прошломъ году получалъ я 4 рубля въ мѣсяцъ,

а нынче три съ полтиной положили... Кабы не дѣлежка—нечѣмъ бы и жить».

Дѣлежка значитъ взятки, набранныя за недѣлю столоначальникомъ на всю братію...

Конечно, не всѣ взяточники служатъ внѣ штата,—но мы изъ біографіи самого Островскаго знаемъ, чего стоили штаты. Извольте послѣ этого бросить камнемъ въ Кисельникова, въ Жадова или даже въ Бѣлогубова. А между тѣмъ не слѣдуетъ забывать, что обывателю приходится имѣть дѣло преимущественно съ канцелярской мелкотой, чаще всего съ Беневоленскими и Васютиными—дѣльцами, «не взыскательными» и всегда готовыми выпить съ ними.

Мы видимъ, какъ широко, какъ неограниченно темное царство. И оно упорно защищаетъ свои права на существованіе. Здѣсь опять неразрывная связь между дикарями Замоскворѣчья и героями канцелярскихъ потемокъ. Юсовъ—заслуженный чиновникъ—чувствуетъ органическую и принципальную вражду къ «нынѣшнимъ образованнымъ». Онъ безусловно за изгнанниковъ уѣзднаго училища и низшихъ классовъ семинаріи. Они «почтительные» и «подобострастные», и вдова коллежскаго асессора одобряетъ молодого человѣка за то, что у него «этакое какое-то пріятное ласкательство къ начальству».

Таковы вкусы интеллигентнаго класса, съ которымъ купцы сталкиваются ежедневно. Но и выше—порядки мало чѣмъ разнятся. Госпожа Уланбекова до глубины души презираетъ чиновника,—и, конечно, мѣщанъ и купцовъ,—но ея отношенія къ «воспитанницамъ» даже безсердечнѣе семейныхъ подвиговъ Кита Китыча, и знатная крѣпостница даетъ своимъ жертвамъ тѣ же самодурскія поученія, только еще болѣе дикія и жестокія.

Что касается ума и просвѣщенія—взгляды темнаго царства извѣстны. Эта страна, гдѣ, по словамъ Досу-

жева, «люди твердо увѣрены, что земля стоитъ на трехъ рыбахъ, и что, по послѣднимъ извѣстіямъ, кажется, одна начинаетъ шевелиться: значитъ, плохо дѣло; гдѣ заболѣваютъ отъ дурного глаза, а лѣчатся симпатіями, гдѣ есть свои астрономы, которые наблюдаютъ за кометами и разсматриваютъ двухъ человѣкъ на лунѣ, гдѣ своя политика и тоже получаются депеши, но толпа все больше изъ Бѣлой Арапіи и странъ, къ ней прилежащихъ».

Однимъ словомъ, безпросвѣтный и хаотическій край! И его пророкъ—Иванъ Яковлевичъ, принимающій въ сумасшедшемъ домѣ и отсюда руководящій судьбами матерей и дѣтей темнаго царства. Но подниметесь выше,—въ лучшій салонъ: госпожа Турусина объяснитъ вамъ, что величайшіе авторитеты для нея—блаженные, юродивые, приживалки и мать Манефа. Просвѣщенная дама горько оплакиваетъ смерть Ивана Яковлевича: «при немъ такъ легко и просто было жить въ Москвѣ». И авторъ находитъ возможнымъ написать цѣлую комедію—«На всякаго мудреца довольно простоты»—для характеристики интеллигентной темноты и барскаго варварства.

Можно ли послѣ этого Брусковыхъ считать выродками, неслыханными на русской землѣ уродами? Они только одинъ классъ изъ многочисленнаго общества. Китъ Китычъ—самодуръ и темный человѣкъ съ дѣтьми и женой, но Юсовъ—совершенно такой же деспотъ и мракобѣсъ въ своей канцеляріи, Уланбекова—въ своей усадьбѣ, Турусина—въ своемъ салонѣ: вѣдь рѣшаетъ же она вопросъ о замужествѣ своей дочери по указаніямъ Манефы, подкупленной ловкимъ юношей, и Серафима Карповна изъ комедіи «Не сошлись характерами» и Настасья Панкратьевна изъ пьесы «Тяжелые дни» ничѣмъ не ниже-не выше этой барыни, принимающей у себя сановниковъ.

Очевидно, передъ нами не тьма Замоскворѣчья, а въ полномъ смыслѣ тьма русской земли, тьма неотразимая и разлагающая, тьма, лишь изрѣдка пронизываемая слабыми лучами свѣта. И притомъ—какими! Отнюдь не въ образѣ Катерины. Только благородный идеалистически настроенный русскій критикъ могъ возвести ее въ лучи свѣта. Въ дѣйствительности она только наиболѣе чистая и несчастная жертва тьмы. Темное царство въ этой средѣ не создаетъ лучей, а если они и появляются, то съ ними быстро совершается тотъ самый процессъ, какой пережилъ герой Шутниковъ, т.-е. они доходятъ до полнаго искаженія внутренняго и даже внѣшняго человѣческаго образа. Катерина избѣгаетъ этой участи, кончая самоубійствомъ, но это такая же полная безпомощность въ борьбѣ, такое же тщедушіе нравственнаго міра, какъ у чиновника Обросимова, пожалуй даже въ сильнѣйшей степени, потому что чиновникъ «ломается» и «коверкается» ради своей семьи.

Писаревъ разошелся съ Добролюбовымъ въ оцѣнкѣ личности Катерины, — и на этотъ разъ былъ правъ: «личный развитый умъ»—дѣйствительно непремѣнный признакъ свѣтлыхъ явленій.

Катерина—только страстный темпераментъ, а не нравственная сила. Ея духовная жизнь загромождена ужасами и видѣніями, навѣянными дикой болтовней странницъ и кликушъ. Она смотритъ на міръ сквозь густой туманъ суевѣрій и предразсудковъ «темнаго царства». Она—законное дѣтище этого царства, и только врожденная страстность мѣшаетъ ей окончательно подчиниться родному самодурству. Страстность Катерины не лишена извѣстной поэтической мечтательности, особенно въ ранней молодости. Но женская любовная страсть, если она естественна и искренняя, всегда поэтична, что, конечно, вовсе не свидѣтельствуетъ о какой-то исключительной натурѣ и свѣтлой силѣ.

Самъ Добролюбовъ говоритъ: Катерина не думаетъ о сопротивленіи, потому что не имѣетъ достаточно основаній для этого. Совершенно справедливо!

И Катерина не только не противорѣчитъ основамъ темнаго царства, — она даже доказываетъ ихъ непреодолимую силу, и не одной своей смертью, а именно своимъ характеромъ,—чертами, прекрасно обозначенными самимъ критикомъ: «инстинктивностью своей натуры», «боязнью за каждую свою мысль». Можно въ какой угодно степени признавать симпатичность Катерины, но нѣтъ никакихъ психологическихъ и нравственныхъ основаній утверждать какое-либо вліяніе ея личности на просвѣщеніе темнаго царства.

Оно именно тѣмъ и страшно, что обладаетъ громадной стихійной силой гасить въ своей средѣ всѣ искры и лучи. Такой лучъ, несомнѣнно, Кулигинъ,—но только потому, что онъ не принадлежитъ къ расѣ темныхъ людей, онъ другой породы. Всѣ же исконные граждане самодурской страны только по особо счастливымъ случайностямъ не кончаютъ уродствомъ и одичаніемъ. Напримѣръ, Андрей Титычъ. Онъ гораздо свѣтлѣе разумомъ, чѣмъ Катерина, онъ даже жаждетъ ученья,—но тлетворное дыханіе тьмы уже коснулось его: онъ неумолимый врагъ «стрюцкихъ», это въ трезвомъ состояніи, а въ пьяномъ,—признается онъ самъ,—можетъ вполнѣ уподобиться тятенькѣ.

Братъ его, тоже съ человѣческими задатками отъ природы, является уже безнадежно забитымъ и только кричитъ по-театральному. Андрей Титычъ совершенно правильно ставитъ дилемму: или сдѣлать что-нибудь надъ собой, или запить. Настроеніе по существу то самое, какое переживаетъ и Катерина, бросаясь въ рѣку: у Андрея Титыча даже болѣе сознательное и ясное,—но вѣдь не лучъ же онъ въ темномъ царствѣ, а просто несчастный, пока еще въ конецъ не изуродованный человѣкъ.

Можно сказать больше, и всѣ наши герои—точно изуродованные, и мы даже знаемъ, чѣмъ и какъ. Островскій представилъ всестороннюю картину вѣкового общественнаго недуга. Вдумчивый, безпристрастный, мыслящій и художественно-творящій, онъ не ставилъ преднамѣренныхъ цѣлей, и ихъ не зачѣмъ было ставить. Полнота умственнаго кругозора и глубина художественнаго проникновенія въ дѣйствительность непремѣнно должны привести къ идеямъ—истинно гражданскимъ и просвѣтительнымъ, раскрывая темные факты, этимъ самымъ намѣтить свѣтлые идеалы, выставляя зло и невѣжество въ ихъ естественномъ видѣ, произнести краснорѣчивую защиту въ пользу добра и просвѣщенія. Надо быть только истиннымъ и честнымъ художникомъ! И такимъ былъ Островскій. И онъ вполнѣ послѣдовательно литературную дѣятельность слилъ съ практической во имя все тѣхъ же просвѣтительныхъ цѣлей. Практика драматурга извнѣ и наглядно свидѣтельствовала о тѣхъ самыхъ задачахъ, какія заключались въ существѣ и смыслѣ его творчества—и Островскій навсегда останется безсмертнымъ образцомъ русскаго національнаго писателя, т.-е. художника-дѣятеля, писателя-гражданина.

И онъ самъ вполнѣ точно успѣлъ опредѣлить этотъ образецъ: какъ художникъ онъ, подобно Пушкину, «завѣщалъ искренность, самобытность, завѣщалъ каждому русскому писателю быть русскимъ»; какъ гражданинъ онъ требовалъ, чтобы искусство «развивало народное самопознаніе и воспитывало сознательную любовь къ отечеству».

И. Ивановъ.

Островскій какъ создатель бытового театра *).

Коренная, такъ сказать, органическая, сущность дарованія Островскаго обозначилась сразу, въ первомъ же крупномъ его произведеніи («Свои люди—сочтемся»), и если затѣмъ подвергалась видоизмѣненіямъ, то это были (имѣя въ виду только лучшія его созданія, которыми только и опредѣляется его литературная физіономія) видоизмѣненія болѣе внѣшняго характера, въ связи съ содержаніемъ пьесъ, средою, которая изображалась въ нихъ, и т. п. Творчество Островскаго оставалось постоянно художественнымъ бытописательствомъ, т.-е. глубокимъ проникновеніемъ въ главныя основы народной жизни и воспроизведеніемъ ея, съ одной стороны, посредствомъ изображенія нравовъ той или другой среды общества, съ другой—посредствомъ созданія типовъ, именно типовъ, а не отдѣльныхъ индивидуальностей. Съ этой точки зрѣнія чаще всего напрашивается на умъ, при чтеніи произведеній Островскаго, сравненіе съ Мольеромъ. Въ «Свои люди—сочтемся» Островскій взялъ предметомъ своего изображенія только купеческую среду, но какъ въ Гоголевскомъ «Ревизорѣ» картина исключительно чиновничьяго общества, при кажущейся узкости и опредѣленности рамки, раздвинулась гораздо шире и пустила корни гораздо глубже, такъ и въ «Свои люди—сочтемся» за картиной отдѣльнаго слоя русскаго общества виднѣется цѣлый міръ, изъ ко-

*) Энциклопед. Словарь Брокгауза и Ефрона. Полут. 43.

тораго произошелъ этотъ слой и откуда онъ получаетъ свое питаніе. Въ «Своихъ людяхъ» Островскій подошелъ къ купечеству съ чисто отрицательной стороны, быть-можетъ, подъ вліяніемъ Гоголя; въ произведеніяхъ послѣдующихъ, особенно въ тѣхъ, которыя являются скорѣе драмами (въ глубокомъ жизненномъ значеніи этого термина), чѣмъ комедіями, жизнь не только купечества, но и всѣхъ другихъ слоевъ, ими захватываемыхъ, берется уже съ обѣихъ сторонъ—положительной и отрицательной, въ ихъ взаимодѣйствіи, въ ихъ необходимыхъ столкновеніяхъ, въ окончательныхъ побѣдахъ то одной, то другой. Врядъ ли справедливо существовавшее и отчасти существующее мнѣніе, что появленіе этой положительной—другими словами, идеальной—стороны въ созданіяхъ Островскаго было результатомъ его перехода въ славянофильскій лагерь. Думать такъ—значитъ сильно умалять значеніе Островскаго, какъ художника, и придавать характеръ простой случайности тому, что было слѣдствіемъ чисто художественнаго внутренняго процесса: по самому свойству своего таланта, Островскій никогда не былъ сатирикомъ въ общепринятомъ и безусловномъ значеніи этого слова. Этотъ же самый художественный процессъ, въ соединеніи съ живымъ отношеніемъ къ окружающему соціальному строю, былъ причиною и расширенія сферы изображенія въ пьесахъ Островскаго. Вслѣдъ за купцами, или, вѣрнѣе, вперемежку съ ними, выступали въ разныхъ проявленіяхъ и фазисахъ своей внутренней и внѣшней жизни—часто представляя собою типы, бытовые и вмѣстѣ съ тѣмъ психологическіе—чиновники, помѣщики, дворяне, мелкій торговый людъ, современные дѣльцы и т. п. Островскій сдѣлался создателемъ русскаго бытового театра, взявъ русскій бытъ въ его самыхъ разнообразныхъ условіяхъ и отношеніяхъ, прослѣдивъ существенныя его проявленія,—и въ особенности самодурство, эту характернѣйшую *черту русской жизни*, на всѣхъ ея

ступеняхъ, во всѣхъ фазисахъ, отъ просто забавнаго до глубоко горестнаго. Воспроизведя моменты и полнѣйшаго нравственнаго паденія и могучаго торжества человѣческаго достоинства, Островскій создалъ цѣлую галлерею типовъ, представляющихъ любопытныя данныя для изученія склада нашего общества и въ то же время остающихся типами, въ большинствѣ случаевъ, общечеловѣческими. Совершилъ все это Островскій благодаря чисто художественному міросозерцанію, выразившемуся въ объективномъ, доходившемъ до крайнихъ предѣловъ безпристрастія, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко гуманномъ отношеніи къ людямъ,—изумительному знанію русской жизни, соединенію неистощимаго комизма, вѣрнѣе—юмора (напр., въ «Женитьбѣ Бальзаминова»), съ потрясающимъ трагизмомъ (напр., въ «Грозѣ»), наконецъ, благодаря необычайному, можно сказать, геніальному, чутью (не говоря уже о знаніи), черпавшему драгоцѣннѣйшія жемчужины изъ сокровищницы народнаго языка. Если, несмотря на соединеніе всѣхъ этихъ свойствъ, Островскій, создавъ русскій бытовой театръ, не создалъ школы, которая продолжала бы его дѣло, то это—не его вина, потому что онъ именно изъ тѣхъ писателей, которые создаютъ школы: все дѣло въ отсутствіи личностей, способныхъ итти по такому же пути. Въ итогѣ литературной дѣятельности Островскаго довольно значительное въ количественномъ отношеніи мѣсто занимаютъ пьесы историческаго характера, но онѣ, за исключеніемъ «Василисы Мелентьевой» и «Воеводы» (пьесъ, впрочемъ, не строго-историческихъ, а больше поэтическихъ на исторической почвѣ),—скорѣе почтенный, чѣмъ истинно-художественный вкладъ въ эту дѣятельность, и во всякомъ случаѣ не прибавляютъ ничего цѣннаго и своеобразнаго къ характеру Островскаго, какъ писателя вообще и драматурга въ частности.

П. Вейнбергъ.

Значеніе Островскаго какъ русскаго драматурга *).

Что составляетъ главный капиталъ Островскаго? Типы, очень простые, и притомъ чисто русскіе типы, и въ то же время вполнѣ человѣчные, однимъ словомъ, то именно, что составляетъ главную, несомнѣнную, безспорную заслугу великаго таланта, и чего никто, кромѣ истиннаго таланта, дать не можетъ. Но положимъ, типы заслуга большая, скажетъ иной читатель, но вѣдь нужно же какое-нибудь міровоззрѣніе, отношеніе автора къ этимъ типамъ.—Основа міровоззрѣнія Островскаго есть, по нащему мнѣнію, простое, благодушное, гуманное отношеніе его къ своимъ типамъ, какъ къ живымъ людямъ. Повинуясь художественнымъ требованіямъ своей природы, Островскій мыслитъ, если можно такъ выразиться, типами. Истинный художникъ, при наблюденіи жизни и совершающихся въ ней драматическихъ коллизій, успокаивается совершенно, когда успѣетъ привести новый смутный фактъ къ типамъ, къ родовымъ чертамъ... Нѣтъ, кажется, нужды объяснять, что такое успокоеніе не есть равнодушіе, а только законное удовлетвореніе мысли, и что разъяснить какой-нибудь сложный фактъ людской жизни до типическихъ образовъ есть такая же потребность и заслуга со стороны худож-

*) Изъ „Библіотеки для чтенія“ 1864 г., № 1. *Зелинскій*, 1. *Денисюкъ*, 2.

ника, какъ открытіе законовъ въ явленіи природы. Живая связь дѣятельности Островскаго съ движеніемъ нашей мысли выражается повсюду, и даже иногда заставляла его склоняться во вредъ его собственному дѣлу къ тому или другому исключительному направленію. Но здоровый талантъ постоянно поправлялъ эту временную уступку и не давалъ ему сдѣлаться окончательно писателемъ съ тѣми или другими рѣшительно высказавшимися тенденціями. Онъ постоянно разработывалъ и разлагалъ на типы русскую жизнь, склоняясь по временамъ туда или сюда, подъ напоромъ извѣстныхъ тенденцій, заявлявшихъ себя въ литературѣ и въ обществѣ, но постоянно дѣлалъ свое собственное дѣло, наполняя наше воображеніе родными образами и открывая намъ самыя глубокія основы всего склада русской жизни. Этого мало: его нравственный судъ надъ выводимыми имъ лицами, несмотря на всю свою мягкость, былъ всегда ясно и твердо поставленъ, не давая повода ни къ какимъ недоразумѣніямъ и колебаніямъ. Онъ, можетъ-быть, былъ и ошибоченъ кое въ какихъ мелочахъ, подъ вліяніемъ не совсѣмъ додуманныхъ идей, но въ большинствѣ случаевъ былъ безусловно вѣрнымъ, такъ какъ опирался преимущественно на вѣчные законы добра и зла, а не на тѣ или другія точки зрѣнія на общественное устройство и проистекающія оттуда иногда вымышленныя обязанности. Выведя какое-либо лицо, онъ не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, хорошій или дурной въ сущности человѣкъ является, по его волѣ, передъ вами, и это высказывается не какими-нибудь посторонними способами, но просто глубокимъ захватомъ типа, твердостью и ясностью его постановки и освѣщенія. Нѣтъ нужды, кажется, пояснять, какъ важно это свойство въ писателѣ драматическомъ, народномъ, наполнившемъ нашу сцену своими произведеніями...

Итакъ, разъясненіе русской народной, въ широкомъ

смыслѣ этого слова, жизни, цѣлая масса типовъ, представляющихъ любопытнѣйшія данныя для изученія склада нашего общества, своеобразныхъ свойствъ русскаго ума и пр. и пр., твердая постановка этихъ типовъ и яркое нравственное ихъ освѣщеніе—таковы главнѣйшія заслуги Островскаго, которыя, по нашему искреннему убѣжденію, будутъ цѣниться все болѣе и болѣе, и которыхъ широкое значеніе обнаружится вполнѣ лишь съ открытіемъ у насъ народнаго театра. Но, кромѣ этихъ главныхъ и общихъ чертъ всей дѣятельности Островскаго, необходимо отличать въ его пьесахъ, особенно написанныхъ въ послѣднее время, два разныя направленія. Въ одномъ онъ положительно развивается самъ, идетъ впередъ, напрягая всѣ свои силы къ проложенію новыхъ путей въ области русскаго драматическаго искусства. Здѣсь онъ то ставитъ себѣ задачу въ созданіи идеальныхъ характеровъ на чисто русской основѣ, то пробуетъ свои силы надъ воплощеніемъ великихъ моментовъ изъ народной исторической жизни, то старается найти въ нашей жизни элементы сильной, роковой драмы. Въ другой половинѣ своей дѣятельности онъ какъ бы отдыхаетъ отъ напряженныхъ усилій строгой художественной работы; и всегда богатый новыми образами, накопляющимися еще болѣе при сильномъ напряженіи душевныхъ силъ, укладываетъ ихъ въ нестрогую художественную форму и представляетъ публикѣ въ видѣ такъ называемыхъ имъ сценъ и картинъ изъ московской жизни. Скажемъ нѣсколько словъ о томъ и о другомъ видахъ его дѣятельности, и начнемъ со второй, по мнѣнію многихъ, слабой стороны его дѣятельности.

Возьмемъ для примѣра хоть одну изъ некрупныхъ пьесъ Островскаго—«Праздничный сонъ до обѣда», въ которой многіе не видятъ ничего, кромѣ ряда забавныхъ сценъ. Въ небольшой пьесѣ, при содѣйствіи

очень немногихъ лицъ, авторъ переноситъ васъ въ какой-то отдѣльный, замкнутый, почти фантастическій міръ. Тамъ, въ этомъ тѣнистомъ, огороженномъ высокимъ заборомъ саду, происходятъ сцены, до того оригинальныя, до того непохожія на окружающую васъ жизнь, что сначала кажется, будто вы слушаете какую-то сказку. Но, всматриваясь ближе, вы узнаете знакомые типы, знакомыя понятія, почти знакомыхъ людей. Только никогда прежде, кажется вамъ, не случалось такого счастливаго стеченія этихъ одномыслящихъ лицъ, никогда прежде не встрѣчалось имъ случая такъ искренно, задушевно высказать свои убѣжденія, вѣрованія, взгляды на жизнь и т. д. Точно согналъ ихъ авторъ отовсюду въ мѣстность наиболѣе приличную для ихъ похожденій, и тамъ на свободѣ, вдали отъ человѣческаго глаза, заставилъ ихъ высказаться наголо, безъ всякой утайки и притворства. И что же вышло? Въ знакомыхъ вамъ прежде, отрывочно высказываемыхъ тѣмъ или другимъ дикихъ мысляхъ, въ проскакивавшихъ кое-гдѣ и казавшихся вамъ не болѣе какъ случайными, личными взглядами и вѣрованіями, въ тѣхъ странныхъ отношеніяхъ, которыя по временамъ поражали васъ недоумѣніемъ среди окружающаго васъ общества, оказалась цѣлая стройная система, свой особенный міръ. Дѣло въ томъ, что до сихъ поръ мы встрѣчались лишь съ разрозненными членами этого міра. Затерянные между людей другого строя, эти несчастные естественно должны были поддѣлываться подъ большинство, затаивать свои задушевнѣйшія убѣжденія, сдерживать свои искреннѣйшія движенія,—однимъ словомъ, притворяться. Часто, можетъ-быть, даже встрѣчаясь въ обществѣ лицомъ къ лицу, не узнавая другъ друга въ искусственномъ нарядѣ, они расходились, не успѣвъ обмѣняться искреннимъ словомъ, пожить хоть часъ родною жизнью.

Силою своего таланта авторъ создалъ для нихъ все: скромное тихое мѣсто, родную компанію, поставилъ ихъ въ естественнѣйшія для нихъ отношенія,—и вотъ они узнали сразу другъ друга, почуяли себя въ родной стихіи, ожили, заговорили, стали обмѣниваться родными мыслями, распахнулись однимъ словомъ, считая себя безопасными отъ глаза иного общества. Но коварно поступилъ съ ними авторъ. Въ минуту полнаго разгара интриги, завязавшейся между ними, когда каждый высказывался вполнѣ и беззавѣтно, считая себя совершенно укрытымъ и безопаснымъ, авторъ вдругъ поднялъ занавѣсъ и открылъ публикѣ тайну этихъ людей, — тайну, которую они такъ тщательно скрывали, толкаясь между посторонними. Отнынѣ нѣтъ уже для нихъ возможности смѣшаться съ другими людьми, выдать себя за что-либо другое, нельзя даже затеряться и смѣшаться въ толпѣ. Публика видѣла ихъ согнанныхъ вмѣстѣ въ лицо и въ натурѣ; она имѣетъ теперь ключъ къ тѣмъ отрывочнымъ чертамъ, которыя прежде казались ей только дикими и несвязными, но изъ которыхъ каждая теперь напоминаетъ имъ цѣлый образъ, цѣлую систему жизненныхъ воззрѣній, цѣлый міръ странныхъ отношеній.

Сказанное можетъ быть приложено ко всему отдѣлу той дѣятельности Островскаго, о которой мы говоримъ. Вездѣ мы найдемъ типическія черты извѣстныхъ слоевъ нашего общества, извѣстнаго склада убѣжденій,— черты, разсѣянныя въ дѣйствительности по безконечному пространству и различнымъ сословіямъ нашего отечества, но собранныя авторомъ въ одинъ фокусъ и озаренныя въ этомъ фокусѣ яркимъ свѣтомъ. Въ большей части пьесъ Островскаго изъ-за нѣсколькихъ лицъ, сведенныхъ имъ въ данномъ дѣйствіи, вамъ видится множество вещей, которыхъ многіе, можетъ-быть, и не подозрѣваютъ въ его произведеніяхъ. За случайно, по-

видимому, развивающимся событіемъ, за лицами, какъ будто нечаянно попавшимися автору, вы чуете пружины, которыми движется не только эта небольшая кучка людей, но которыя управляли, а отчасти и продолжаютъ управлять всѣмъ ходомъ событій нашего отечества, всѣмъ строемъ господствующихъ убѣжденій. Вы чуете за ними и своеобразность русскаго склада ума, и вліяніе нашихъ историческихъ судовъ, и особыя условія нашей жизни, и многое еще, что, можетъ-быть, покажется даже невѣроятнымъ нѣкоторымъ изъ нашихъ читателей. Въ этомъ, какъ уже было сказано выше, и полагаемъ мы по преимуществу заслуги Островскаго русской литературѣ. Никто болѣе его не выхватилъ живыхъ типовъ изъ водоворота жизни, никто глубже его не проникъ до коренныхъ основъ, устроившихъ жизнь самостоятельныхъ классовъ русскаго общества. Поэтому-то, повторяемъ, мы придаемъ сравнительно меньшее значеніе другимъ достоинствамъ Островскаго, какъ чисто драматическаго писателя.

Но если въ этого рода пьесахъ Островскаго комизмъ есть преобладающая струя, юмористическое отношеніе автора къ жизни есть почти единственное, то, при томъ же основномъ богатствѣ типовъ, въ другой половинѣ его дѣятельности мы встрѣчаемъ уже задачи болѣе широкаго объема и чуемъ иной ходъ русской жизни.

Въ драмѣ, напримѣръ, «Не такъ живи, какъ хочется» на васъ отовсюду вѣетъ широко схваченной русскою жизнью, русскимъ духомъ. Въ героѣ Петрѣ Ильичѣ вы видите чисто-русскаго удалого молодца съ его отчасти дикою наклонностью къ восторгамъ самозабвенія или попросту къ загулу. Вы чувствуете, какъ бьется эта сильная натура среди стѣснительныхъ для ея воли принциповъ, жизненныхъ условій и т. п. Вы видите въ лицо тѣ силы, которыя борются въ душѣ этого страстнаго человѣка, и авторъ до такой степени проникся

народнымъ міросозерцаніемъ, что даже олицетворилъ эти силы, почти въ томъ видѣ, какъ представляетъ ихъ себѣ народъ нашъ. Еремка—почти нечистая сила, мѣщане Агаѳонъ и Степанида—представители начала порядка, семейности,—однимъ словомъ, добра, по народному представленію. И, конечно, такъ задуманную и исполненную драму ничто не могло развязать лучше, какъ во-время еще сотворенное крестное знаменіе. Не говоримъ уже о нѣкоторыхъ побочныхъ лицахъ, мастерски задуманныхъ и выполненныхъ; но не правда ли, что все, рѣшительно все въ этой драмѣ льетъ яркій свѣтъ на характеръ нашего народа, его религіозныя, бытовыя и т. п. воззрѣнія?

Задача «Грозы» иная. Въ первой драмѣ авторъ остается какъ бы безучастнымъ къ подвигамъ своего героя; олицетворивъ въ немъ по преимуществу буйныя, разрушающія житейское благоустройство силы, онъ предоставляетъ двумъ противоположнымъ силамъ борьбу за его душу и остается стороннимъ зрителемъ, твердо вѣруя вмѣстѣ съ народомъ въ благодатную, примиряющую силу началъ добра и порядка. Въ «Грозѣ» авторъ выступилъ уже какъ будто вонъ изъ народнаго міросозерцанія. Сгустивъ краски, онъ представилъ консервативныя начала нашего народнаго міросозерцанія съ новой стороны, какъ грубую, узкую, гнетущую силу; протестомъ противъ нихъ являются свѣжія силы прекрасной природы съ законными требованіями воли и жизни,—природы, какъ и слѣдовало ожидать, погибающей въ неравной борьбѣ. Но и въ протестующей Катеринѣ и въ томъ, что задавило это свѣтлое созданіе, мы узнаемъ свое, народное. Мы съ наслажденіемъ видимъ усилія автора найти въ данныхъ русской же жизни новыя начала, способныя къ борьбѣ съ слишкомъ уже отяготѣвшими надъ ней старыми формами, и торжествуемъ

успѣхъ автора, какъ бы нашу собственную побѣду. Мы чувствуемъ неизбѣжность гибели того существа, къ которому авторъ успѣлъ возбудить всѣ наши симпатіи, но мы радуемся въ то же время новымъ, живымъ силамъ, открытымъ авторомъ въ той же народной жизни, и сознаемъ ее вслѣдствіе того близкою себѣ, родственною. Огромная заслуга писателя!

Е. Эдельсонъ.

Достоинства пьесъ Островскаго *).

Почти любая изъ комедій Островскаго, будь она даже единственнымъ произведеніемъ автора, сдѣлала бы его знаменитымъ писателемъ, и мы въ теченіе многихъ десятковъ лѣтъ наслаждались бы прекраснѣйшей картинкой нравовъ или русскаго купечества, или русскаго чиновничества. Приблизительно таковъ и былъ отзывъ объ одномъ изъ первыхъ произведеній нашего драматурга, высказанный кн. Одоевскимъ, который, признавая въ русской драматической литературѣ только три произведенія («Недоросль», «Горе отъ ума» и «Ревизоръ»), сказалъ, что онъ поставилъ бы номеръ четвертый на комедію Островскаго «Свои люди—сочтемся». Но, какъ всѣмъ намъ извѣстно, Островскій оставилъ не одну комедію, а громадное, неоцѣнимое наслѣдство въ видѣ цѣлой галлереи самыхъ разнообразныхъ художественныхъ драматическихъ произведеній, которыя создали ему славу великаго драматурга, равнаго своимъ великимъ предшественникамъ Гоголю и Грибоѣдову. Эта галлерея состоитъ приблизительно изъ пятидесяти картинъ **), то яркокомическихъ, то глубоко драматическихъ. При этомъ надо замѣтить, что въ произведеніяхъ Островскаго заклю-

*) „Русская Мысль“ 1899 г., № 1.

**) Оригинальныхъ и самостоятельныхъ — 47; въ сотрудничествѣ съ другими лицами—5; и кромѣ того, переводныхъ и передѣланныхъ—12. Всего—64 произведенія.

чается гораздо больше матеріала, чѣмъ на эти пятьдесятъ комедій, драмъ, хроникъ и сценъ; изъ многихъ тамъ и сямъ разбросанныхъ мыслей, фактовъ и дѣйствующихъ лицъ болѣе практическому драматургу смѣло можно было бы скроить еще не одно не менѣе цѣльное и прекрасное драматическое произведеніе.

Достоинства произведеній Островскаго многочисленны и неоднократно указывались и оспаривались критикой; въ нашу задачу не входитъ критическій анализъ самыхъ произведеній Островскаго, и потому мы укажемъ только на нѣкоторыя отличительныя черты ихъ, на тѣ, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ нашей темѣ.

Въ произведеніяхъ Островскаго всѣ дѣйствующія лица—типы въ самомъ точномъ смыслѣ этого слова, а всѣ событія—обыденныя стеченія обстоятельствъ при обыкновенномъ же положеніи вещей и дѣлъ. Очень рѣдко только встрѣчаются исключительныя личности и выходящіе изъ ряда вонъ факты. Героевъ слова или дѣла нѣтъ въ этой средней во всѣхъ отношеніяхъ средѣ, и потому ни дурные люди не совершаютъ у него эффектно скверныхъ поступковъ, ни добродѣтельные не отличаются какими бы то ни было громкими дѣлами или выдающейся дѣятельностью на какомъ-либо поприщѣ. А въ русской художественной литературѣ до и во времена Островскаго, можетъ-быть, даже болѣе чѣмъ во всякой другой литературѣ, обыкновенно были выводимы или особенно порочные, или односторонніе характеры, или же сравнительно идеальные, но во всякомъ случаѣ выдающіеся типы. У Островскаго же взята та сѣрая, будничная жизнь, которая и составляетъ настоящую жизнь народа безъ всякихъ прикрасъ и подчеркиваній.

Что касается вообще содержанія произведеній Островскаго, то мы должны указать на извѣстную деликатность художника въ этой драматической живописи; надо замѣтить, что у него семейныя отношенія всегда на пер-

вомъ планѣ, и такъ какъ внѣсемейныя отношенія онъ не вводитъ въ свою задачу, то у него почти нѣтъ ни описанія кутежей и мотовства ни, тѣмъ болѣе, спеціальныхъ характеристикъ любовниковъ и любовницъ въ видѣ главныхъ дѣйствующихъ лицъ; и только въ очень рѣдкихъ случаяхъ являются они на сцену, для того чтобы такъ или иначе освѣтить семейныя отношенія.

Далѣе, всѣ бытовыя сочиненія Островскаго, съ одной стороны, и историческія, съ другой, указываютъ на непосредственную связь и послѣдовательность въ развитіи русскаго быта за послѣднія два-три столѣтія.

Затѣмъ очень важно отмѣтить единство или цѣльность сочиненій Островскаго во всей ихъ совокупности, состоящую въ томъ, что нашъ художникъ не разбрасывается въ своихъ сочиненіяхъ по разнымъ, не имѣющимъ между собою связи, вопросамъ, не перебѣгаетъ отъ одного предмета къ другому, а постепенно (хотя и не соблюдая какого-либо особеннаго плана, что собственно и невозможно въ художественномъ творчествѣ) захватываетъ одну извѣстную тему съ различныхъ сторонъ, разрабатываетъ то однѣ, то другія детали, не отклоняясь въ стороны и не увлекаясь иногда очень соблазнительными, но не имѣющими съ основной идеей связи вопросами. Это очень важное достоинство, и очень немногіе драматурги, не только русскіе, но и иностранные, написавшіе даже не такъ много произведеній, были настолько вѣрны этому единству темы затронутыхъ вопросовъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ, какъ Александръ Николаевичъ Островскій. Эту одну общую для всѣхъ произведеній Островскаго тему можно формулировать приблизительно такъ: «характеристика быта русскаго средняго класса въ его обыденной жизни въ срединѣ XIX вѣка».

Вѣдь нашъ средній классъ играетъ въ текущемъ столѣтіи очень важную роль въ развитіи русскаго народа.

Низшіе классы и до сихъ поръ еще почти не образованы, мало развиты, грубы и не отесаны, какъ гранитныя скалы Финляндіи, и потому долго еще придется ждать ихъ болѣе или менѣе дѣятельнаго участія въ дѣлѣ прогресса. Высшіе классы, какъ и вездѣ, слишкомъ нѣжной организаціи для тернистаго пути къ достиженію идеаловъ. Центръ тяжести силы народной лежитъ въ среднемъ классѣ, который, какъ среднее ариѳметическое, даетъ наиболѣе точную характеристику портрета народа во весь его ростъ. Это, очевидно, ясно представилъ себѣ и Островскій, когда онъ посвятилъ всю свою дѣятельность художественному изображенію этого класса, изрѣдка только обращаясь къ высшему и низшему классамъ, если того требовала полнота изображаемой имъ картины, и указывая этимъ самымъ на непосредственную связь всѣхъ классовъ между собою.

Указанное единство темы во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго, какъ мы само собой, вызвало еще одно важное достоинство — полноту и рельефность исполненія этой темы, которая, благодаря рѣдкому таланту автора, не получила какой-либо односторонней или спеціальной окраски, а, напротивъ, отличается глубиной мысли, правильностью постановки вопроса и точки зрѣнія автора и замѣчательной жизненностью.

Вотъ почему до сихъ поръ мы съ такой охотой идемъ въ театръ на пьесы Островскаго, хотя бы и видѣли ихъ не одинъ разъ. И потому же до сихъ поръ ни одна новая пьеса изъ всей массы пьесъ, поставляемой новыми драматургами и драматическихъ дѣлъ мастерами, не могла замѣнить намъ комедіи Островскаго. И если когда-либо въ далекомъ будущемъ его произведенія утратятъ интересъ современности, то за ними навсегда останется интересъ исторически-бытовой. Общая картина нравовъ и состоянія общественнаго развитія XIX вѣка, какъ она нарисована Островскимъ, всегда будетъ лучшимъ

художественнымъ украшеніемъ исторіи этого періода. И можно быть увѣреннымъ, что каждый изъ нашихъ потомковъ XX столѣтія, читая или смотря на сценѣ драматическія произведенія Островскаго, такъ же какъ и мы, почувствуетъ въ нихъ что-то очень близкое и родное.

Но кромѣ общей картины характеристики быта русскаго средняго класса въ его обыденной жизни въ серединѣ XIX вѣка, на которую критики обратили уже вниманіе, мы находимъ во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго еще одну обширную тему, которая неразрывно связана съ первой и во всѣхъ произведеніяхъ переплетается съ ней какъ древній русскій орнаментъ въ его безконечныхъ изгибахъ и связяхъ,—это тѣ или другія черты положенія русской женщины въ семьѣ и обществѣ. На этотъ вопросъ критиками Островскаго было обращено сравнительно мало вниманія и никѣмъ этотъ вопросъ не былъ разработанъ во всемъ объемѣ богатаго матеріала, предложеннаго намъ великимъ драматургомъ.

А. Ѳоминъ.

Историко-литературное значеніе творчества Островскаго *).

В̆ъ ряду писателей сороковыхъ годовъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ принадлежитъ Александру Николаевичу Островскому (1823—1886 гг.). Съ его именемъ связано представленіе о водвореніи въ русской литературѣ и на сценѣ самобытной національной реально-художественной драмы. Правда, еще Грибоѣдовъ, Пушкинъ и Гоголь создали реальную комедію и трагедію: «Горе отъ ума», «Ревизоръ» и «Борисъ Годуновъ» навсегда останутся лучшими образчиками истинно поэтическаго творчества въ нашей драматической литературѣ. Но эти произведенія не оказали вскорѣ послѣ своего появленія никакого вліянія на драматическихъ писателей и театральный репертуаръ. До начала пятидесятыхъ годовъ въ области русскаго театра и драматической литературы они были своего рода оазисами въ пустынѣ и не вызывали къ себѣ почти накакого интереса со стороны публики и актеровъ. Хотя русская поэзія еще съ третьяго десятилѣтія XIX вѣка въ лицѣ Пушкина, Гоголя и Лермонтова пошла быстрыми шагами по пути національно-реальнаго творчества, нашъ театръ попрежнему, какъ въ началѣ столѣтія, доволь-

*) *Г. В. Александровскій.* Чтенія по новѣйшей русской литературѣ. Вып. I., изд. 5. Кіевъ, 1908 г.

ствовался ложно-классическимъ репертуаромъ или же переводами и передѣлками иностранныхъ, главнымъ образомъ, французскихъ романтическихъ мелодрамъ, въ подражаніе которымъ писались пьесы историческаго и патріотическаго содержанія и русскими авторами, какъ, напримѣръ, извѣстными въ свое время Кукольникомъ и Полевымъ. Искусственность построенія дѣйствія, ходульность героевъ, различнаго рода дешевые, кричащіе эффекты, напыщенный языкъ—все это очень далеко ставило тогдашній театральный репертуаръ отъ реально художественнаго творчества, воцарившагося со времени Пушкина и Гоголя въ русской литературѣ. Островскій, написавшій въ теченіе болѣе чѣмъ тридцати лѣтъ до пятидесяти пьесъ, не только чрезвычайно обогатилъ нашъ театръ прекрасными произведеніями, которыя, благодаря ему, заняли преобладающее мѣсто на русской сценѣ, но и внесъ богатѣйшій вкладъ въ русскую литературу, захвативъ въ своемъ творчествѣ громадный кругъ явленій и типовъ современной и прошлой жизни, какой мы можемъ найти развѣ у такихъ гигантовъ поэзіи, какъ Пушкинъ и Л. Толстой; вмѣстѣ съ тѣмъ онъ сдѣлалъ большой шагъ впередъ и въ смыслѣ техники драмы. Остановимся сначала на этой чисто формальной сторонѣ его произведеній.

Громадное большинство пьесъ Островскаго нельзя подвести ни подъ одну изъ установившихся трехъ основныхъ рубрикъ драматическихъ произведеній, мало того, въ нихъ, повидимому, нарушаются основныя правила теоріи драмы, такъ какъ сплошь и рядомъ характеры дѣйствующихъ лицъ таковы, что не заключаютъ въ себѣ матеріала для воспроизведенія ихъ въ дѣйствіи; самое дѣйствіе лишено въ своемъ развитіи требуемой теоріей стройности и послѣдовательности, развязка порою удивляетъ своею неожиданностью и случайностью и т. д. Современная драматургу критика, поражаясь

такими небывалыми нарушеніями общепризнанныхъ правилъ, нерѣдко ставила это въ упрекъ автору и видѣла въ этихъ нарушеніяхъ слабыя стороны его творчества. Но въ наше время, когда для всѣхъ стала ясной та эволюція сценическихъ произведеній, какимъ подверглись онѝ какъ на Западѣ, такъ и у насъ подъ перомъ, напримѣръ, Чехова и другихъ, въ этихъ отступленіяхъ отъ установившихся шаблоновъ можно видѣть только большую заслугу со стороны Островскаго, прокладывавшаго совершенно самобытно новые пути въ драматическомъ творчествѣ. Эти поиски новыхъ формъ для драматическаго воспроизведенія жизни были совершенно естественны у такого горячаго сторонника реализма въ искусствѣ, какимъ былъ Островскій. Онъ не могъ не замѣчать, что въ драмѣ, написанной согласно правиламъ установившейся теоріи, на ряду съ художественно-правдивымъ изображеніемъ дѣйствительности, не мало условностей, нарушающихъ иллюзію жизненной правды. Этого было достаточно, чтобы признать господствовавшую теорію далеко не безгрѣшной и пытаться творить внѣ ея предписаній. Попытки Островскаго въ этомъ направленіи были какъ нельзя болѣе удачны. Читая его пьесы или, еще лучше, смотря ихъ на сценѣ, поражаешься ихъ необыкновенной жизненностью, правдивостью; онѣ до того чужды всякой искусственности, что кажется, будто передъ вами проходитъ сама жизнь со всѣми ея случайностями, загадками, неожиданными осложненіями; будто авторъ какимъ-то чудеснымъ образомъ захватилъ ее во всей неприкосновенности да и перенесъ въ книгу и на сцену. Потому-то, быть-можетъ, къ его произведеніямъ наиболѣе подходитъ названіе «пьесъ жизни», данное имъ Добролюбовымъ, хотя оно и представляется нѣсколько неопредѣленнымъ и тяжелымъ.

Доведя реализмъ въ драмѣ до высокой степени совер-

шенства, Островскій, какъ было указано выше, сумѣлъ дать русской литературѣ поразительное разнообразіе и богатство картинъ и типовъ русской жизни. Обстоятельства его жизни складывались какъ нельзя болѣе благопріятнымъ образомъ для того, чтобы онъ могъ получить огромный запасъ разнородныхъ впечатлѣній, пользуясь которыми онъ воспроизводилъ такія стороны современной дѣйствительности, какія пока вовсе не были доступны литературному изображенію.

Дѣтство и юность будущаго драматурга протекли въ Москвѣ, въ той части ея, которая наиболѣе сохранила «особый отпечатокъ» первопрестольной столицы — въ Замоскворѣчьи. Здѣсь, въ родномъ углу, впервые запали въ его душу своеобразныя картины и типы россійскаго купеческаго быта, который имѣлъ возможность близко видѣть еще въ раннемъ дѣтствѣ, когда его отецъ, оставивъ карьеру мелкаго чиновника, занялся веденіемъ дѣлъ замоскворѣцкаго купечества. Своеобразный укладъ жизни и характеры этой среды стали еще болѣе доступны его наблюдательному взору, когда онъ, оставивъ университетъ, двадцатилѣтнимъ юношей поступилъ на службу мелкимъ канцелярскимъ чиновникомъ въ московскій совѣстный судъ, вѣдавшій всякаго рода распри между родственниками. Служба въ этомъ учрежденіи дала ему богатѣйшій матеріалъ для изученія интимныхъ сторонъ народнаго и купеческаго семейнаго быта. Передъ его глазами то въ видѣ письменныхъ жалобъ, то «совѣстныхъ» показаній истцовъ и отвѣтчиковъ открывались затаенные уголки національной жизни, недоступные наблюденію посторонняго человѣка. Черезъ два года мы находимъ его на службѣ въ «словесномъ столѣ» московскаго коммерческаго суда, на обязанности котораго лежало разсмотрѣніе дѣлъ о торговой несостоятельности. Здѣсь передъ нимъ открылась другая сторона купеческо-мѣщанскаго быта: засѣдая въ «словесномъ столѣ», онъ могъ въ *совершенствѣ изучить* различнаго рода плутни

и хитроумную изворотливость, къ которымъ прибѣгали торговые люди въ своихъ коммерческихъ дѣлахъ. Такимъ образомъ, впечатлѣнія дѣтства, а затѣмъ служба въ дореформенныхъ судебныхъ учрежденіяхъ послужили прекрасной подготовительной школой для будущаго «Литературнаго Колумба дореформенной купеческой и мѣщанской Россіи», какъ по справедливости называютъ Островскаго въ русской критикѣ.

Эти свѣдѣнія о чисто-русскомъ національномъ бытѣ были не мало пополнены впечатлѣніями провинціальной жизни, когда Островскій въ началѣ царствованія императора Александра II участвовалъ вмѣстѣ съ другими литераторами, какъ Писемскій, Григоровичъ, Потѣхинъ, Максимовъ и др., въ командировкѣ для изученія мѣстностей Россіи въ бытовомъ и промышленномъ отношеніи. На долю Островскаго выпало верхнее Поволжье, гдѣ своеобразный русскій бытъ сохранился во всей неприкосновенности и доставилъ изслѣдователю массу данныхъ для поэтическаго творчества.

Въ цѣломъ рядѣ пьесъ рисуетъ намъ Островскій недоступный дотолѣ литературному наблюденію русскій купеческій бытъ, это «темное царство», съ его тяжелымъ семейнымъ деспотизмомъ, необузданнымъ самодурствомъ, подавляющимъ малѣйшіе проблески человѣческой личности, съ его грубостью, невѣжествомъ, склонностью къ плутнямъ въ коммерческихъ дѣлахъ. Но, какъ истинный художникъ, вѣрный жизненной правдѣ, онъ не забываетъ и положительныхъ сторонъ и типовъ этого быта, такъ что передъ глазами читателя встаетъ полная картина вѣками сложившейся жизни этого сословія со всѣми его отрицательными и положительными чертами и своеобразными типами.

Своими пьесами изъ купеческой жизни Островскій произвелъ такое сильное впечатлѣніе на читателей и критику, открывъ совершенно невѣдомый дотолѣ литературѣ *міръ, что* этимъ заслонилъ въ глазахъ нѣкоторыхъ дру-

гія стороны своей дѣятельности, и потому въ представленіи многихъ онъ является только какъ бытописатель русскаго купечества.

Между тѣмъ такая точка зрѣнія оказывается въ высшей степени узкой и односторонней, такъ какъ захватываетъ только часть дѣятельности нашего драматурга, отобразившей разнообразныя стороны современной ему и прошлой Россіи. И въ этомъ случаѣ, какъ и при обрисовкѣ купеческаго быта, окружавшая жизнь сослужила большую службу Островскому.

Какъ природный москвичъ, онъ былъ поставленъ въ очень выгодныя условія для наблюденій надъ русской жизнью самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въ то время этотъ городъ былъ, дѣйствительно, сердцемъ Россіи, вмѣщая въ себѣ, какъ въ фокусѣ, своеобразныя особенности исторической и современной русской жизни. «Здѣсь, по словамъ одного критика, сосредоточивалось въ эту эпоху высшее умственное движеніе интеллигентнаго общества, издавались лучшіе журналы. Тутъ же, рядомъ съ этими интеллигентными верхами, жили въ своихъ дворцахъ бары во всей деревенской и степной простотѣ, окруженные многочисленными дворнями крѣпостныхъ и сворами собакъ, и беззастѣнчиво производили жестокія расправы на конюшняхъ почти всенародно. Далѣе, рядомъ съ чиновниками-бюрократами петербургскаго склада, щеголями и карьеристами, здѣсь гнѣздились чиновничьи типы и нравы московскихъ подьячихъ допетровской старины». Близко сталкиваясь, благодаря семейнымъ связямъ и первоначальному служебному положенію, съ низшими слоями общества—мѣщанскимъ и особенно купеческимъ, съ простыми русскими людьми, Островскій по таланту и образованію былъ своимъ человѣкомъ и въ высшихъ по интеллигентности кругахъ, не говоря уже о помѣщичьей и чиновничьей средѣ. Такимъ образомъ, еще въ молодости Островскій въ *своемъ родномъ городѣ* изучилъ различныя полосы

современной ему общественной жизни во всѣхъ ея проявленіяхъ, которую ярко отразилъ въ своихъ пьесахъ, и далъ богатѣйшій, до сихъ поръ еще не разработанный вполнѣ критической литературой, матеріалъ для изученія духовнаго склада нашего общества, особенностей русскаго ума и чувства.

Читая его произведенія, прямо поражаешься необъятной широтой захвата русской жизни, обиліемъ и разнообразіемъ типовъ, характеровъ и положеній. Какъ въ калейдоскопѣ, проходятъ передъ нашими глазами всевозможнаго душевнаго склада помѣщики и помѣщицы, отъ широкихъ русскихъ натуръ, прожигающихъ жизнь, до хищныхъ скопидомокъ, отъ благодушныхъ, чистыхъ сердцемъ до черствыхъ, не знающихъ никакого нравственнаго удержу; ихъ смѣняетъ чиновничій міръ со всѣми разнообразными представителями его, начиная отъ высшихъ ступеней бюрократической лѣстницы и кончая потерявшими образъ и подобіе Божіе мелкими пропойцами-сутягами, порожденіемъ дореформенныхъ судовъ; далѣе идутъ просто безпочвенные люди, честнымъ и нечестнымъ путемъ перебивающіеся изо дня въ день, всякаго рода дѣльцы, учителя, приживальщики и приживальщицы, провинціальные актеры и актрисы со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ и т. д. и т. д. А на ряду съ этимъ проходитъ далекое историческое и легендарное прошлое Россіи въ видѣ художественныхъ картинъ жизни старинныхъ волжскихъ удальцовъ XVII вѣка грознаго царя Ивана Васильевича, смутнаго времени съ легкомысленнымъ Дмитріемъ, хитрымъ Шуйскимъ великимъ нижегородцемъ Мининымъ, боярами, ратными людьми и народомъ той эпохи.

Само собою разумѣется, что въ этой длинной галлере типовъ, созданныхъ Островскимъ, мы встрѣчаемся с личностями и явленіями самой разнообразной нравствен ной цѣнности. Тутъ передъ нами, говоря своеобразным *выраженіемъ* одного изъ дѣйствующихъ лицъ его к

медій, и «мерзавцы своей жизни» всѣхъ пошибовъ и направленій и патріоты своего отечества». Сердце содрогается при воспоминаніи о всей той грязи, пошлости, лжи, уничтоженіи человѣческаго достоинства, полномъ нравственномъ паденіи, какія сплошь и рядомъ приходится наблюдать въ пьесахъ Островскаго. Но параллельно съ этими мрачными сторонами жизни авторъ выставляетъ цѣлый рядъ трогательныхъ по своей нравственной чистотѣ образовъ, плѣняющихъ своею кротостью и внутреннимъ величіемъ, свидѣтельствующихъ о глубокой вѣрѣ его въ человѣка и духовныя силы русскаго народа.

Вообще, отношеніе Островскаго къ изображаемымъ имъ явленіямъ жизни настолько любопытно, что на немъ слѣдуетъ нѣсколько остановиться. Первыя его пьесы появились въ періодъ довольно острыхъ споровъ между славянофилами и западниками, и тогда какъ одна изъ нихъ вызывала восторги и одобренія одного лагеря, другая приводила въ ликованіе сторонниковъ противоположной партіи: и тѣ и другіе готовы были видѣть въ авторѣ своего единомышленника въ зависимости отъ того, въ какомъ свѣтѣ, привлекательномъ или отталкивающемъ, изображалъ онъ національную русскую жизнь. Не мало доставалось ему отъ обоихъ лагерей, если онъ почему-нибудь не оправдывалъ ожиданій того или другого и своими произведеніями шелъ въ разрѣзъ съ ихъ убѣжденіями. Не сразу поняли современники Островскаго, что онъ въ своемъ творчествѣ былъ объективнымъ художникомъ, чуждымъ въ изображеніи жизни какихъ бы то ни было предвзятыхъ теорій, воспроизводившимъ только то, что подмѣчалъ его вдумчивый взоръ. При такомъ отношеніи къ писательской дѣятельности онъ умѣлъ на удивленіе всѣмъ открывать свѣтлыя черты и возвышенные характеры въ затхломъ мірѣ «темнаго царства» и, съ другой стороны, разоблачалъ красивую пошлость и нравственное ничтожество блестящихъ пред-

ставителей такъ называемаго интеллигентнаго общества. Но что бы ни изображалъ Островскій, въ какія бы мутныя бездны человѣческаго духа ни вводилъ онъ читателя, надъ всѣмъ царитъ его свѣтлое, гуманное міровоззрѣніе, вѣра въ человѣка и его силы, любовь къ жизни, глубокое сочувствіе ко всѣмъ страждущимъ и угнетеннымъ, кроткій, добродушный юморъ. Хоть и много неправды и зла выводитъ онъ въ своихъ пьесахъ, но даже самыя мрачныя изъ нихъ не оставляютъ въ душѣ исключительно гнетущаго, безотраднаго впечатлѣнія; всегда онъ сумѣетъ дать на чемъ-нибудь отдохнуть читателю, пробудить въ его душѣ вѣру въ красоту и величіе Божьяго міра, гдѣ человѣкъ можетъ и долженъ быть счастливъ. Вотъ одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, иллюстрирующихъ свѣтлое міровоззрѣніе нашего драматурга. Жалкое существо, почти нищій Корпѣловъ («Трудовой хлѣбъ») произноситъ такой гимнъ жизни: «Да развѣ жизнь-то мила только деньгами, развѣ только и радости, что въ деньгахъ? А птичка-то поетъ, чему она рада, деньгамъ что ли? Нѣтъ, тому она рада, что на свѣтѣ живетъ. Сама жизнь-то есть радость, всякая жизнь, и бѣдная и горькая—все радость»... Это жизнерадостное міровоззрѣніе, которымъ проникнуто большинство пьесъ Островскаго, придаетъ имъ глубокое воспитательное, гуманизирующее значеніе.

Наконецъ, изученіе его творчества вводитъ читателя въ самыя нѣдра національной русской жизни, открываетъ передъ нимъ неисчерпаемыя сокровища мѣткой, образной, красивой народной рѣчи, знакомитъ съ психологіей и міропониманіемъ самобытнаго русскаго человѣка, развившагося внѣ всякихъ иноземныхъ вліяній. Больше чѣмъ какой-либо другой изъ писателей сороковыхъ годовъ Островскій даетъ намъ яркое представленіе о русской національной жизни.

Г. Александровскій.

Значеніе драмъ Островскаго для самосознанія русскаго общества *).

Островскій своей пьесой «Шутники» вступаетъ въ новый фазисъ развитія своего таланта, столь же законный, какъ была законна и вся его предыдущая дѣятельность. Островскій въ новой пьесѣ начинаетъ подводить итоги своей нѣсколько разбросанной прежде художественной дѣятельности; вмѣсто прежнихъ задачъ, состоящихъ преимущественно въ объективномъ воспроизведеніи русской жизни, характеровъ и нравовъ, онъ въ новой пьесѣ беретъ на себя иную задачу, именно привлечь мысли читателя и зрителя къ созерцанію и суду цѣлаго ряда однородныхъ фактовъ и такимъ образомъ навести его на невольныя размышленія объ общихъ чертахъ русской жизни, отчасти даже подсказывая выводы, какіе должны быть необходимымъ результатомъ этихъ размышленій.

Въ самомъ дѣлѣ «Шутники», при весьма слабой искусственной интригѣ, представляютъ чрезвычайный интересъ съ другой стороны. Здѣсь сгруппированъ и представленъ нагляднымъ образомъ, въ лицахъ, тотъ рядъ отношеній сильнаго къ слабому, богатаго къ бѣдному, властнаго къ подчиненному, который и понынѣ еще составляетъ характеристическую черту русской жизни. Имѣя своимъ главнымъ и общимъ источникомъ непри-

*) Изъ „Библіотеки для чтенія“ 1865 г., № 1. *Зелинскій*, 2. Денисюкъ, 2.

знаніе личности, вообще неуваженіе иныхъ правъ, кромѣ права сильнаго, эти отношенія принимаютъ безконечно разнообразные оттѣнки въ различныхъ сферахъ и классахъ русской жизни. Въ новой пьесѣ своей Островскій представилъ намъ ихъ въ довольно тѣсномъ кругу столкновенія нашего богатаго купечества съ мелкими приказными; но, при самомъ небольшомъ усиліи мысли, ихъ легко распространить гораздо шире. Они открываются намъ и въ жизни иного чиновнаго вельможи, благодѣтельствующаго своему фавориту и въ то же время издѣвающагося надъ нимъ, и въ жизни разбогатѣвшаго крестьянина, одолжающаго своихъ односельцевъ и мѣтко заклейменнаго народнымъ прозвищемъ міроѣда. Повсюду, однимъ словомъ, мы увидимъ въ нашей жизни не то простое злоупотребленіе силы, которое встрѣчается повсюду, но злоупотребленіе ея съ униженіемъ человѣческаго достоинства слабаго, съ совершеннымъ презрѣніемъ къ личности вообще. Цѣлый подобный рядъ отношеній освѣтилъ намъ Островскій своею новой пьесой, цѣлую широкую народную черту уловилъ онъ въ ея сущности и выставилъ на показъ, какъ вопросъ, достойный самаго глубокаго обсужденія. Можно ли не быть благодарнымъ ему за это?

Но можетъ родиться вопросъ, въ какой степени законна обработка подобныхъ задачъ въ драматической или вообще въ художественной формѣ? Основательное разрѣшеніе этого вопроса можетъ быть дано, по нашему мнѣнію, не въ общихъ чертахъ, не чисто теоретически, но изъ соображенія настоящихъ условій и положенія у насъ изящной литературы и изъ разсмотрѣнія рода таланта Островскаго вообще.

Намъ не разъ уже случалось говорить, что въ настоящее время истинная задача русской изящной литературы, равно какъ и всякой другой умственной дѣятельности, есть пробужденіе самосознанія въ русскомъ обществѣ. На это пока, и весьма законно, устремлены

всѣ лучшія наши силы и таланты, все, что чутко къ жизни и ея требованіямъ. Можно поставить даже почти неизмѣннымъ правиломъ, что тотъ изъ современныхъ литературныхъ дѣятелей, въ трудахъ котораго не сказалась такъ или иначе, вольно или невольно, указанная нами задача,—не имѣетъ истиннаго и глубокаго таланта, всегда чуткаго къ вопросамъ эпохи.

Послѣ этого не должно казаться удивительнымъ, что дѣятельность Островскаго, несмотря на его большую творческую силу, не можетъ ограничиваться такъ называемыми чисто художественными задачами, какъ-то, отыскиваніемъ въ русской жизни и стройнымъ развитіемъ по преимуществу драматическихъ положеній, изобрѣтеніемъ характеровъ драматическихъ по своей сущности, чисто объективнымъ воспроизведеніемъ жизни и т. п. Требованія духа времени и условій нашей жизни не могли не отразиться и на его дѣятельности, а эти требованія, какъ мы уже видѣли, заключаются преимущественно въ осмысленіи русской жизни, въ самосознаніи русскаго общества, въ подведеніи итоговъ къ пройденному нами донынѣ историческому пути.

Съ другой стороны, самый родъ таланта Островскаго влечетъ его къ такой дѣятельности, которая требуется современнымъ настроеніемъ русскаго общества. Чисто драматическія задачи не составляютъ его настоящаго призванія. Во всей предыдущей дѣятельности Островскаго главную силу и значеніе имѣютъ глубоко выхваченные изъ русской дѣйствительности характеры и типы, посредствомъ которыхъ онъ объяснялъ намъ постоянно тѣ коренныя основы міросозерцанія и общественнаго склада, изъ которыхъ слагается весь чисто русскій бытъ. Богатство творческой силы въ созданіи разнообразныхъ характеровъ и поразительная правда многихъ житейскихъ положеній и отношеній, выведенныхъ въ комедіяхъ Островскаго; наконецъ, старанія автора драматизировать по возможности всякій обрабатываемый имъ

сюжетъ—значительно заслоняли отъ читателя и зрителя постоянныя, невольно руководившія авторомъ его истинныя задачи. Но, при внимательномъ пересмотрѣ всей дѣятельности Островскаго, эти задачи ясно выступаютъ на видъ. Эти главнѣйшія, постоянныя задачи дѣятельности Островскаго заключались въ его стремленіи понять и передать другимъ въ художественныхъ образахъ смыслъ русской жизни, складъ чисто русскаго ума, нравственныя начала, управляющія нашею народною жизнью. Этимъ объясняется, между прочимъ, и разнообразіе отношеній Островскаго къ русской дѣйствительности, то сочувственныхъ, то сатирическихъ, и отсутствіе въ его пьесахъ строго выдержаннаго, глубокаго драматизма. Островскій не стоитъ на той степени драматической высоты, при которой характеръ и событія родной исторіи или исторіи другихъ странъ и другихъ временъ служатъ только поводомъ къ выясненію общихъ, родовыхъ, вѣчныхъ чертъ и свойствъ человѣческой личности. Онъ, какъ и все наше современное искусство, находится еще на степени творчества національнаго, нужнаго для нашего домашняго употребленія, вызываемаго исключительнымъ развитіемъ нашей жизни. Съ другой стороны, онъ, какъ и всѣ образованные наши люди, не настолько поглощенъ своею національностью, не настолько безсознательно относится къ ней, чтобы, принимая всю ее, какъ неотразимо данное, какъ нѣчто непремѣнное, свободно отыскивать и разрабатывать представляемые ею драматическіе сюжеты, какъ это, напримѣръ, дѣлали испанскіе драматурги. Наконецъ, Островскій по самому роду таланта не истый сатирикъ, не обличитель общественныхъ золъ и нравственнаго уродства, онъ именно то, что по преимуществу требуется современною степенью развитія русскаго общества, т.-е. толкователь русской жизни, народнаго духа, одинъ изъ пробудителей самосознанія въ русскомъ обществѣ. Въ сочиненіяхъ его не только отра-

жается русская жизнь и представляетъ матеріалъ для изученія, напротивъ, эта жизнь представляется уже осмысленною и растолкованною, и эта именно черта составляетъ общій характеръ истинной художественной дѣятельности у насъ въ настоящее время.

Если эта коренная черта современнаго русскаго искусства сказывалась всегда и прежде въ дѣятельности Островскаго, не будучи, можетъ-быть, всегда ясно сознаваема имъ самимъ, то нѣтъ ничего удивительнаго, что въ новой пьесѣ,—составляющей, какъ мы уже замѣтили выше, переломъ въ характерѣ дѣятельности Островскаго,—она сказалась со всею ясностью. Въ «Шутникахъ», какъ уже было замѣчено, Островскій начинаетъ подводить итоги своей прежней, нѣсколько разбросанной дѣятельности; а эти итоги, очевидно, не могутъ быть иными, какъ родовыми, крупными чертами общаго склада русской жизни. И дѣйствительно, въ «Шутникахъ» частный случай, драматическій анекдотъ, изобрѣтенный авторомъ для сохраненія условій извѣстной литературной формы, остается уже какъ бы на второмъ планѣ, подавленный широтою иного содержанія пьесы. Очевидно, что мысль автора, воплотившаяся въ этой пьесѣ, не могла найти себѣ выраженіе ни въ какомъ чисто драматическомъ сюжетѣ, и потому онъ принужденъ прибѣгать къ побочнымъ пріемамъ, неправильнымъ, пожалуй, съ точки зрѣнія строго художественной. Таковы—длинный разговоръ старика Оброшенова съ дочерью въ началѣ перваго дѣйствія и въ другихъ мѣстахъ, таковъ же почти вводимый и задерживающій быстрый ходъ драматическаго движенія весь второй актъ. Но ясно, что только этимъ отступленіемъ отъ строгой драматической формы и могъ придать Островскій то широкое значеніе своей новой пьесѣ, которая дѣлаетъ изъ «Шутниковъ», при всей слабости интриги, одно изъ капитальныхъ произведеній нашего автора.

Е. Эдельсонъ.

Коренное русское міросозерцаніе Островскаго *).

Ничто въ такой степени не необходимо художнику какъ міросозерцаніе. Талантъ находится въ прямомъ отношеніи съ жизнью, и большая или меньшая степень воспроизведенія жизни есть вмѣстѣ съ тѣмъ высшая или низшая степень правильнаго отношенія къ ея явленіямъ, то-есть къ дѣйствительности. Безъ міросозерцанія, прочнаго, совершенно сложившагося (хотя складывающагося различно, смотря по различнымъ историческимъ даннымъ мѣстности, народности, времени, а съ другой стороны, смотря по условіямъ, лежащимъ въ натурѣ художника), не бывало, нѣтъ и не будетъ истинныхъ художниковъ. Кого ни возьмете вы изъ тѣхъ избранныхъ, которые отмѣтили жизнь свою дѣломъ, оставили по себѣ какой-либо прочный слѣдъ, всѣ они разумѣли смыслъ жизни и, стало-быть, серьезно смотрѣли на жизнь. Всѣ они, отрицательно ли, положительно ли, дѣйствовали въ литературѣ во имя ясно сознаваемаго и живо чувствуемаго идеала, и безъ этой идеальной основы—художества быть не можетъ. Чѣмъ свободнѣе, шире, человѣчнѣе и вмѣстѣ идеальнѣе міросозерцаніе художника, то-есть разумѣніе того, во имя чего воспроизводитъ онъ образы полные правды и караетъ всякую неправду жизни, и вмѣстѣ съ тѣмъ разумѣніе отношенія идеала къ дѣйствительности, тѣмъ болѣе яр-

---

*) *Ап. Григорьевъ.* Сочиненія. Т. I. Спб., 1876. Стр. 62—70.

кій слѣдъ оставляетъ по себѣ его дѣятельность. Изъ разумѣнія отношенія между тѣмъ, во имя чего художникъ творитъ, и между тѣмъ, въ чемъ художникъ видитъ, или, лучше сказать, чувствуетъ глубоко положеніе или отрицаніе идеала,—изъ этого разумѣнія, обусловленнаго историческими данными извѣстной народности и извѣстной эпохи, выходитъ различное міросозерцаніе художника. Да не подумаютъ, впрочемъ, чтобы, увлекаясь нѣкоторымъ историческимъ фатализмомъ, мы въ сложеніи міросозерцанія художника давали мѣсто только вліянію историческихъ данныхъ эпохи: на одни и тѣ же явленія различныя художническія натуры смотрятъ подъ различнымъ угломъ зрѣнія. Свѣтъ одинъ, но онъ преломляется въ призмѣ на нѣсколько различныхъ цвѣтовъ и оттѣнковъ: нужно только необходимо, чтобы душа художника воспринимала свѣтъ и отражала тотъ или другой его оттѣнокъ.

У Островскаго, одного въ настоящую эпоху литературную, есть свое прочное, новое и вмѣстѣ идеальное міросозерцаніе, съ особеннымъ оттѣнкомъ, обусловленнымъ какъ данными эпохи, такъ, можетъ-быть, и данными натуры самого поэта. Этотъ оттѣнокъ мы назовемъ, нисколько не колеблясь, кореннымъ русскимъ міросозерцаніемъ, здоровымъ и спокойнымъ, юмористическимъ безъ болѣзненности, прямымъ безъ увлеченій въ ту или другую крайность, идеальнымъ, наконецъ, въ справедливомъ смыслѣ идеализма, безъ фальшивой грандіозности или столько же фальшивой сентиментальности. Другой вопросъ, всегда ли одинаково онъ служитъ ему; но всѣ задачи міросозерцанія выступили уже ярко въ доселѣ извѣстныхъ публикѣ произведеніяхъ Островскаго и выступятъ скоро еще ярче въ новомъ его произведеніи, о которомъ какъ не напечатанномъ еще мы не имѣемъ права говорить, хотя оно послужило бы къ самому прямому разъясненію вопроса. Покамѣсть, слѣдова*тельно, мы должны* ограничиться міросозерца-

ніемъ, явнымъ для насъ въ «Своихъ людяхъ—сочтемся», и въ особенности міросозерцаніемъ «Бѣдной невѣсты». Міросозерцаніе всякаго поэта особенно наглядно выступаетъ въ его отношеніи къ событію и положенію, взятымъ имъ для художественной обработки, и въ его отношеніи къ лицамъ, участвующимъ въ событіи, поставленнымъ въ извѣстное драматическое положеніе.

Всѣмъ нашимъ читателямъ извѣстна, безъ сомнѣнія, «Бѣдная невѣста», и потому не для чего здѣсь излагать въ подробности ея содержаніе или канву событій, нечего также и доказывать, что главное, центральное, такъ сказать, драматическое положеніе, изъ котораго какъ изъ зерна выходятъ всѣ другія,—положеніе самой бѣдной невѣсты, Марьи Андреевны. Особенность міросозерцанія Островскаго въ отношеніи къ событію и къ положенію всего лучше и очевиднѣе можетъ быть доказана путемъ отрицательнымъ. Поэтому мы спросимъ, что увидѣли бы въ событіи и въ положеніи прежнія, весьма недавнія, впрочемъ, школы, свирѣпствовавшія въ русской литературѣ, т.-е. школа фальшивой образованности и школа натуральная? Школа фальшивой образованности принялась бы за это положеніе съ своей обычной точки зрѣнія. Дѣло извѣстное:

Но вотъ среди толпы густой
Мелькаетъ быстро передъ вами
Ребенокъ робкій и нѣмой,
Съ большими грустными глазами.
Ребенокъ... Ей пятнадцать лѣтъ,
Но за собой она невольно
Влечетъ васъ... за нее вамъ больно
И страшно... Блѣдный, томный цвѣтъ
Лица,—печальный слѣдъ сомнѣній,
Тревожныхъ, раннихъ размышленій,
Тоски, неопытныхъ страстей,—
И взглядъ внимательный—все въ ней
Вамъ говоритъ о самовластной
Душѣ... Ребенокъ бѣдный мой!

Ты будешь женщиной несчастной...
Но я не плачу надъ тобой...

Съ душевною болью выписываетъ авторъ статьи это, нѣкогда сильно на него дѣйствовавшее, лирическое мѣсто,—но тѣмъ не менѣе должен ъ представить его въ образецъ того фальшиваго міросозерцанія, съ которымъ самые талантливые люди литературной школы отнеслись бы къ положенію Марьи Андреевны. Характеръ они такъ же мало бы создали своимъ міросозерцаніемъ, какъ мало обозначенъ онъ въ пьесѣ Островскаго, даже несравненно меньше, но взглядъ былъ бы таковъ. Вслѣдствіе этого въ обстановкѣ явился бы не Меричъ, а господинъ, который былъ бы, пожалуй, и такъ же пустъ, но котораго пустоту оправдывалъ бы явно авторъ общими язвами современности; и Милашина не было бы, потому что въ Милашинѣ многимъ колетъ глаза правда міросозерцанія автора,—и Хорьковъ вышелъ бы, пожалуй, и пьющимъ же съ горя человѣкомъ, но съ самыми грубыми и необразованными наклонностями, совершенно неспособнымъ понять деликатную и чистоплотную натуру Марьи Андреевны (conditio sine qua non—выставить чистоплотность какъ рѣдкое качество), и мать Марьи Андреевны вышла бы не та, и отношеніе къ ней Марьи Андреевны было бы не такое. Въ доказательство, что мы говоримъ не наугадъ, а на основаніи данныхъ прошедшаго, могли бы мы привести бездну повѣстей старыхъ годовъ; но всего лучше подтверждаетъ нашу мысль то, что критикѣ этой школы именно хотѣлось, чтобы Марья Андреевна полюбила не Мерича, а хорошаго человѣка; потому, изволите видѣть, что въ такомъ случаѣ она внушила бы больше симпатіи. Бѣдная критика и не догадывалась въ своей наивности, что если бы комедія Островскаго писалась по ея теоріи и вообще по заданной напередъ темѣ, то тотъ же самый Меричъ могъ бы быть выданъ авторомъ за весьма хорошаго человѣка, за *одного изъ тѣхъ* безчисленныхъ героевъ, по

которымъ страдаютъ, сохнутъ, умираютъ злой чахоткой героини безчисленныхъ повѣстей и романовъ. Или вышла бы другая исторія: тотъ же Меричъ изображенъ былъ бы такъ карикатурно, какъ во многихъ же повѣстяхъ изображаются монщеры, не обладающіе великимъ искусствомъ одѣваться comme il faut и расчесывать волоса съ проборомъ назади, и метался бы въ глаза всѣмъ, даже упомянутой нами критикѣ. Что касается до добрѣйшаго Платона Марковича Добротворскаго, то онъ, какъ одно изъ орудій гибели Марьи Андреевны, явился бы такимъ карикатурнымъ звѣремъ, что Боже упаси. Вообще положеніе Марьи Андреевны было бы взято такъ, что она непремѣнно погибла бы и задохлась окончательно въ самой пьесѣ среди грубой и грязной дѣйствительности, какъ погибаютъ разныя героини «превращеній» и другихъ повѣстей въ этомъ родѣ: фактъ опять удобо-доказываемый тѣмъ, что критикѣ этой школы особенно не нравился психологическій выходъ натуры Марьи Андреевны въ пятомъ актѣ, совершенно излишнемъ, по ея мнѣнію.

Съ другой стороны, натуральная школа все участіе зрителя насильственно сосредоточила бы на лицѣ Платона Марковича, внушила бы ему глубокую, слезливую, безсознательную и въ особенности приличную старику страсть къ Марьѣ Андреевнѣ,—какъ Макару Алексѣевичу Дѣвушкину или Мошкину, и подъ конецъ выдала бы за него замужъ Марью Андреевну, съ разбитымъ, подразумѣвается, сердцемъ.

Ни того ни другого не сдѣлалъ Островскій: онъ не пощадилъ Мерича, не идеализировалъ Добротворскаго и избѣгъ даже еще крайности, въ которую немудрено впасть всякому, оскорбленному неправильнымъ отношеніемъ разныхъ школъ къ дѣйствительности,—не идеализировалъ самой дѣйствительности обставляющей характеръ Марьи Андреевны; съ ровнымъ разумнымъ участіемъ отнесся онъ и къ положенію своей героини, и

къ положенію, напримѣръ, ея матери, и къ положенію Хорькова, и къ положенію Дуни и т. д...

Лицо Марьи Андреевны подверглось нареканіямъ за отсутствіе въ немъ характера. Мы сами соглашаемся отчасти, что Марья Андреевна скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, но вмѣстѣ съ этимъ не можемъ не высказать своего задушевнаго мнѣнія, что при такой молодости лѣтъ ей еще нельзя было выработать опредѣленной личности, а при окружающей ее обстановкѣ—и неоткуда было взять элементовъ для опредѣленія личности: Марья Андреевна представляетъ собою общій процессъ женскаго сердца въ ту эпоху, когда женщина вся состоитъ только изъ побужденій и неопредѣленныхъ стремленій,— а что у ней есть натура, изъ которой, какъ будетъ она постарше, выработается настоящая, славная женская личность, такъ это показываетъ многое, между прочимъ ея жажда искренней любви, ея благородное сознаніе собственнаго достоинства, ея честный взглядъ на вещи... Кромѣ того, мы видимъ въ ней не мечтательницу, не резонерку, не одно изъ тѣхъ неминуемо гибнущихъ въ дѣйствительности, по представленію нашихъ романистовъ и драматурговъ, существъ, которыхъ всѣ достоинства существуютъ только въ воображеніи ихъ сочинителей. Марья Андреевна, хоть она не вполнѣ еще сложилась нравственно, даже, пожалуй, вовсе не сложилась, — натура живучая, способная понять правду жизни, смыслъ ея и настоящее дѣло, не вооружающаяся даже на окружающую ее сферу, ибо сама она, со всѣми страстными задатками ея организаціи, все-таки продуктъ этой жизненной сферы. Милашина возмущаетъ Добротворскій,—ее не возмущаетъ; она видитъ въ немъ добраго человѣка даже въ ту минуту, когда ей крайне несносны заботы о скорѣйшемъ устройствѣ ея участи. Меричу отдалась она со всею непосредственностью и свѣжестью души, но и тутъ она не отрѣшается отъ на-

стоящей жизни—она даже безпокоитъ этого господина тѣмъ, что старается завести съ нимъ рѣчь о близкихъ къ дѣлу интересахъ. Но, съ другой стороны, не одни впечатлѣнія окружающей сферы быта дѣйствовали на ея страстную и воспріимчивую натуру: внутренній міръ ея создался подъ вліяніемъ впечатлѣній другой сферы, подъ вліяніемъ чтенія, подъ вліяніемъ идей, которыя живутъ въ воздухѣ и, какъ воздухъ, проходятъ въ какой бы то ни было замкнутый и особый мірокъ. Этимъ можно оправдать даже ея мѣстами книжную рѣчь. Что касается, наконецъ, до психологическаго выхода ея характера, то этотъ выходъ могъ показаться насильственнымъ только развѣ той критикѣ, о которой мы уже говорили. Очевидно всякому, что словами: «Я хочу жить, я имѣю право на счастье...» авторъ не хотѣлъ ни поднять свою героиню на ходули ни навязать своей комедіи ложное или пошлое примиреніе, а только хотѣлъ быть вѣрнымъ передавателемъ душевнаго процесса такихъ натуръ, какъ натура Марьи Андреевны,—натуръ, не скоро впадающихъ въ апатію разочарованія, добивающихся отъ жизни—правды. Очевидно также и то, что авторъ не дѣлитъ съ своей Марьей Андреевной надеждъ на моральное возвышеніе Максима Дороѳеевича Беневоленскаго,—очевидно по его же указаніямъ, по всему слѣдующему за сценою V акта Марьи Андреевны съ Меричемъ до конца комедіи, что разобьются въ прахъ такія надежды, хотя подлежитъ большому сомнѣнію, чтобы разбилась или обмельчала натура его героини.

Дѣйствительность, окружающая Марью Андреевну, матеріально очень бѣдная, а нравственно весьма недалекая. На ознакомленіе насъ съ этою обстановкою Островскій употребилъ не драматическія, а эпическія средства: много лишнихъ подробностей,—которыя сами по себѣ прекрасны, взятыя отдѣльно, но ходу драмы не

содѣйствуютъ,—вошло сюда. Зато мы знаемъ хорошо Анну Петровну, знаемъ Дарью, знаемъ Хорькову, знаемъ Добротворскаго,—знаемъ, однимъ словомъ, этотъ особенный, совершенно московскій, даже замоскворѣцкій міръ мелкаго чиновничества, изображенный безъ малѣйшей злобы и задней мысли. Нельзя не остановиться съ удовольствіемъ на отношеніи автора къ матери Марьи Андреевны, съ одной стороны, и на отношеніи его къ матери Хорькова, съ другой; принимая самое сильное участіе въ своей героинѣ, авторъ однако ничѣмъ не пожертвовалъ этому участію. Вы, напримѣръ, негодуете на Милашина, пристающаго къ Марьѣ Андреевнѣ съ пошлымъ и притворнымъ участіемъ въ тяжелую и рѣшительную минуту ея жизни, но ни разу не негодуете на Анну Петровну, даже тогда, когда она попрекаетъ дочь въ неблагодарности, когда она настоятельно требуетъ, чтобы она шла замужъ за Беневоленскаго; жаль вамъ Марьи Андреевны, да что жъ и старухѣ-то дѣлать? Женщина она слабая, сырая; кромѣ того, что ей втемяшилась въ голову idea fixa: какъ это безъ мужчины въ домѣ?—и домъ-то еще у нея оттягиваютъ. Недалека она—это точно, что недалека, да вѣдь она любитъ свою Машеньку; вѣдь въ концѣ она сама чувствуетъ, что что-то неладно: «Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влѣзешь». Однимъ словомъ, нѣтъ возможности сердиться читателю на бѣдную старуху, когда ни авторъ ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся.

Подъ пару къ этому глуповато-доброму существу старикъ Платонъ Марковичъ Добротворскій,—лицо вполнѣ живое и типическое, къ которому опять авторъ отнесся необыкновенно правильно и человѣчно. Это ничего, что онъ поцѣлуетъ въ рукавъ Максима Дороѳеича Беневоленскаго; это ничего, что онъ добродушно замѣтилъ, говоря о лошадкѣ Максима Дороѳеича: «Ахъ, про-

казникъ вы, проказникъ, Максимъ Дороѳеичъ! Да вѣдь чай некупленная»—абсолютныхъ понятій о честности вы отъ него и не требуйте; но вѣдь онъ трогательно привязанъ къ семьѣ своего благодѣтеля, онъ бѣгаетъ по всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ, отыскивая жениха Машѣ, онъ скажетъ ей отъ души по своему разумѣнію доброе слово («Свистуны вѣдь они, матушка, никакой основательности нѣтъ. Не вѣрьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ»). Онъ прежде всего заботится о тишинѣ и мирѣ, но между тѣмъ, когда идетъ дѣло объ участи Маши, которая устроилась, по его мнѣнію, благополучно, онъ даже Беневоленскому, къ которому относится съ уваженіемъ и съ нѣкоторою лестью, скажетъ основательно, боясь за старыя его шашни: «Что жъ вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андреевной дѣлаете? Вы этакъ у меня ее уморите, сердечную... А ужъ вы, батюшка, эти глупости-то оставьте». Добрый, добрый старикъ, хоть и не далеко онъ видитъ. Онъ совершенно подъ пару Аннѣ Петровнѣ: и правъ былъ авторъ, что къ нимъ обоимъ отнесся такъ человѣчно.

Иное отношеніе къ матери Хорькова, тоже мастерски задуманному и мастерски выполненному лицу. Тутъ уже авторъ видимо относится со смѣхомъ къ претензіямъ полуобразованности—читателю больно за бѣднаго Хорькова въ сценѣ его объясненія съ Марьей Андреевной, гдѣ Хорькова его, такъ сказать, подучиваетъ; еще яснѣе обозначается для васъ эта женщина въ третьемъ актѣ, когда она съ такимъ яснымъ злорадствомъ приходитъ къ матери Марьи Андреевны, чтобы вылить на бѣдную дѣвушку лужу сплетенъ. Вамъ очевидно, что она вломилась въ амбицію, и что если такая женщина вломится въ амбицію, такъ тутъ только держись. Вамъ ясно, каково должно было быть ея вліяніе на натуру сына и какіе слѣды на его душѣ должно было оставить это вліяніе.

Самъ Хорьковъ—опять скорѣе положеніе, чѣмъ лицо, точно такъ же, какъ и Марья Андреевна,—положеніе слишкомъ великодушно брошенное авторомъ въ драму, когда оно само могло послужить предметомъ драмы, но положеніе, котораго наиболѣе яркія стороны набросаны кистью мастера. Какъ ни неудовлетворительно впечатлѣніе, получаемое отъ малоразвитыхъ его отношеній къ матери и къ Марьѣ Андреевнѣ, но все-таки эта «любовь изъ-за угла»,—удѣлъ натуръ слишкомъ сосредоточенныхъ и сначала запуганныхъ, потомъ попорченныхъ средою жизни,—трагическая безвыходность его положенія, постоянное недовольство собою и страстное разрѣшеніе невыносимаго душевнаго состоянія запоемъ показываютъ, какъ широка была задача поэта въ созданіи его положенія. Повторяемъ опять, это положеніе брошено только слишкомъ великодушно, вѣроятно отъ избытка силъ таланта. Въ сценическомъ выполненіи «Бѣдной невѣсты» при искусной и теплой игрѣ актера, который возьметъ на себя роль Хорькова, положеніе можетъ уясниться, досказаться и произведетъ эффектъ поразительный. Замѣтимъ, между прочимъ, что одинъ изъ критиковъ «Бѣдной невѣсты» поставилъ Хорькову въ вину предложеніе Милашину перехваченныхъ писемъ счастливаго своего соперника. Зачѣмъ колоть Хорькову глаза счастливымъ соперникомъ,—возразилъ на это въ свое время одинъ изъ рецензентовъ,—когда онъ не оказалъ къ нему ни ревности ни зависти, когда онъ сразу оставилъ всѣ свои надежды и, забывши о себѣ, заботился только о судьбѣ Марьи Андреевны? Вѣдь онъ не о себѣ хлопоталъ, изъ комедіи это ясно; за что же критикъ наводитъ сомнѣніе на его честность? Что это за условный взглядъ на поведеніе? Дѣвушка гибнетъ, опутанная сѣтями подлаго человѣка, и ей нельзя подать помощи! Неужели же Хорькову, который знаетъ цѣну

Меричу, въ подобномъ случаѣ оглядываться съ сомнѣніемъ на свой поступокъ? Ему и въ голову не могло притти, что онъ дѣлаетъ дурно; онъ слишкомъ сильно любилъ Марью Андреевну и слишкомъ мало любилъ себя.

Что касается до лица Беневоленскаго, то созданное совершенно цѣльно и притомъ заразъ, всей натурой вылитое, онъ не требуетъ разъясненія отношенія къ себѣ автора. Тутъ нельзя даже указать на какія-либо особенныя черты: все тутъ типично, отъ желанія пріобрѣсть образованную жену и вмѣстѣ пріобрѣсти органчикъ для обученія канареекъ, до пріобрѣтенія хорошей вещички отъ нечаянно набѣжавшаго хорошаго человѣка и до разсказа о представленіи Роберта, въ которое, загулявши, не попалъ Максимъ Дороѳеичъ; отъ возраженія на желаніе Анны Петровны, чтобы мужчина былъ непьющій: «Конечно..., а знаете ли, сударыня, я вамъ осмѣлюсь сказать, что въ мужчинѣ даже и это ничего. Какъ ты думаешь, Платонъ Марковичъ объ этомъ?» — до зарока не пить, даннаго передъ свадьбой, при чемъ читатель остается убѣжденъ, что такой зарокъ данъ только до послѣ-свадьбы, а всего скорѣе только до первой вѣрной оказіи. Особенно же хорошъ и просится въ картину Максимъ Дороѳеичъ, когда самодовольно деретъ себя за хохолъ, одѣтый женихомъ и стоя передъ зеркаломъ. А между тѣмъ личность Беневоленскаго была бы все-таки неполна безъ Дуни. Несмотря на всю краткость двухъ сценъ, въ которыхъ она является, къ ея личности нельзя прибавить ни одной черты, вся жизнь ея передъ вами какъ на ладони... Напоминать черты Дуни, значитъ выписывать всѣ ея слова, всю сцену ея съ Беневоленскимъ, а равно и первую сцену съ Пашею, или по даннымъ, заключающимся въ этихъ сценахъ, писать исторію этой женщины... Есть слова у Дуни въ высшей степени патетическія: «А все-таки Паша... ты то

возьми, лѣтъ пять жили... вѣдь жалко... Конечно, немного я отъ него добраго видѣла... больше слезъ, одного сраму что перенесла. Такъ, ни за что прошла молодость, и помянуть нечѣмъ». Или ея обращеніе къ Беневоленскому: «Смотри жъ, живи хорошенько... Это вѣдь тебѣ навѣкъ, не то что я... Ну, прощай, не поминай лихомъ,— добромъ нечѣмъ. Что это я какъ дура расплакалась, въ самомъ дѣлѣ? О! махнемъ рукой, Паша, завьемъ горе веревочкой!» Всякій, кто и не знаетъ этого типа женщинъ, почувствуетъ невольно, что это все такъ именно должно сказаться,—равно какъ и «адье, мусье», брошенное на прощанье въ порывѣ какой-то размашистой удали завитаго веревочкой горя, равно какъ и то, что Дуня, издѣваясь, пугаетъ Беневоленскаго прежде: «а хочешь, сейчасъ дебошъ сдѣлаю»; все, все такъ, отъ ясныхъ намековъ на ея жизнь, когда Беневоленскій пріѣзжалъ къ ней «пьяный да олаберный—такъ какъ обѣснующій какой», до ея ироническаго тона при встрѣчѣ съ нимъ и своего рода благородства въ словахъ: «Ты смотри, не загуби чужого вѣку даромъ. Грѣхъ тебѣ будетъ. Остепенись, да живи хорошенько»...

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о Меричѣ и Милашинѣ... Что къ Меричу, а равно и къ Милашину отнесся авторъ въ высшей степени правильно, это ясно изъ того даже, что критика извѣстной школы до сихъ поръ сердится на него за эти лица. Что съ другой стороны Меричъ и Милашинъ—превосходны только какъ задачи, что они не вызрѣли достаточно въ душѣ художника, это также ясно. Но общій психологическій процессъ такихъ натуръ, какъ натура Мерича и Милашина, представленъ до того осязательно, что вы, принимая участіе въ судьбѣ Марьи Андреевны, негодуете на того и другого и презираете ихъ. Можетъ-быть, только двухъ-трехъ штриховъ рѣзца недоставало для довер-

шенія этихъ фигуръ. Въ отношеніяхъ того и другого къ Марьѣ Андреевнѣ слишкомъ явно, что они существуютъ только ради ея въ комедіи, что авторъ увлекся преимущественно драматизмомъ положенія и сосредоточилъ все на немъ, оставивши многое недосказаннымъ.

Но и того, что выполнено въ «Бѣдной невѣстѣ», достаточно, чтобы она была замѣчательнымъ произведеніемъ во всякой литературѣ.

Ап. Григорьевъ.

Русская жизнь въ драмахъ Островскаго *).

Въ основѣ пьесъ Островскаго лежатъ демократическіе идеалы, принимая слово это не въ политическомъ смыслѣ приверженности къ общественнымъ формамъ, свойственнымъ демократическимъ принципамъ, а въ смыслѣ индивидуально-нравственномъ, бытовомъ. Вездѣ противопоставляются простота, незлобіе, честность, правдивость, отвага въ борьбѣ со зломъ и неусыпное трудолюбіе—лѣни, распущенности, сластолюбію, безхарактерности, внѣшнему блеску, рисовкѣ, наконецъ необузданному своеволію и самодурству, какіе гнѣздятся тамъ, гдѣ основою жизни являются не трудъ, а «бѣшеныя деньги», какъ мѣтко окрестилъ Островскій готовые ресурсы, которые словно съ неба сваливаются счастливцамъ міра въ видѣ то наслѣдства, то даровыхъ наживъ всякаго рода.

Передъ нами проходитъ рядъ личностей глубоко симпатичныхъ, заставляющихъ васъ отдыхать душою и мириться съ жизнью. Но это не воплощенные идеалы и не представители одной какой-либо излюбленной авторомъ среды. Мы видимъ людей разнородныхъ слоевъ общества, далекихъ отъ безусловнаго совершенства, иногда крайне смѣшныхъ и неуклюжихъ. Рядомъ съ сильными духомъ и волею личностями, въ которыхъ жажда добра

---

*) *А. М. Скабичевскій*. Исторія новѣйшей русской литературы. Изд. 2. Спб. 1893. Стр. 382—386.

и свѣта преобладаетъ надо всѣмъ, и которыя каждую минуту готовы пожертвовать жизнью за ближнихъ,— каковы, напр., Марья Андреевна Незабудкина («Бѣдная невѣста»), Анна Павловна Оброшенова («Шутники»), Агнія Круглова («Не все коту масленица»), Параша Курослѣпова («Горячее сердце»), Геннадій Несчастливцевъ («Лѣсъ») и пр.; къ этой же категоріи относятся и такія загнанныя, забитыя, ничтожныя и въ высшей степени комическія личности, какъ Иванъ Ксенофонтовичъ Ивановъ («Въ чужомъ пиру похмелье»), Павелъ Прохоровичъ Оброшеновъ («Шутники»), этотъ московскій Трибюле, подобно герою В. Гюго, скрывающій подъ личиною униженнаго шутовства гордость, чувство человѣческаго достоинства и нѣжное, любвеобильное сердце; наконецъ, Іосифъ Наумычъ Корпѣловъ съ своимъ оптимизмомъ нищеты и Любимъ Торцовъ, просвѣтленный горькимъ опытомъ безпутной жизни. Всѣ эти герои глубоко трогаютъ зрителей своимъ душевнымъ величіемъ и посрамляютъ сильныхъ міра, глумящихся надъ ними и величающихся въ гордомъ высокомѣріи и закорузлой черствости сердца.

Островскій не ограничивается и этими смѣшными, но въ то же время въ высшей степени трогательными личностями, а идетъ далѣе, доходитъ до такой поразительной смѣлости въ безпристрастномъ реализмѣ, взвѣшивающемъ явленія жизни не въ безусловномъ совершенствѣ, а въ отношеніи другъ къ другу, что для него достаточно бываетъ одного положительнаго качества, въ родѣ крупицы здраваго смысла, энергіи или стойкости, для того чтобы личность, сама по себѣ вовсе несимпатичная, составляла противовѣсъ ряду отрицательныхъ явленій, изображаемыхъ въ пьесѣ.

Таковъ, напр., Николай Борисовичъ Неуѣденовъ («Праздничный сонъ до обѣда»). Передъ вами сидитъ грубый, неотесанный купчина въ простой русской рубахѣ и грызетъ орѣхи, разбивая ихъ булыжникомъ, который

ему принесли со двора; говоритъ всѣмъ напрямки, что про кого думаетъ, такъ и сыплетъ грубостями направо и налѣво. Въ семьѣ онъ навѣрное крутой самодуръ, въ родѣ Кита Китыча Брускова. Но это не мѣшаетъ ему разыгрывать роль Правдина, и устами его говоритъ самъ авторъ, когда Неуѣденовъ резонируетъ по поводу прожившихся дворянчиковъ и всякаго рода стрекулистовъ, которые мечтаютъ поправить состояніе женитьбою на богатыхъ купчихахъ. Рѣчи его, полныя глубокой и мѣткой правды, заслоняютъ антипатичныя стороны и дѣлаютъ его самымъ привлекательнымъ лицомъ пьесы.

Еще болѣе рѣзкій примѣръ представляетъ собою Савва Геннадіевичъ Васильковъ въ комедіи «Бѣшеныя деньги». Типъ совершенно новый въ нашей жизни, онъ самъ по себѣ еще болѣе антипатиченъ, чѣмъ всѣ самодуры пьесъ Островскаго, вмѣстѣ взятые. Съ самодурами насъ могла мирить до нѣкоторой степени широта русской натуры и способность въ роковой моментъ вдругъ очнуться отъ всѣхъ мерзостей, просвѣтлѣть и блеснуть великодушнымъ поступкомъ. Васильковъ—закаленный буржуа въ европейскомъ духѣ; у него каждый шагъ разсчитанъ въ видахъ наживы; никакое чувство не заставитъ его выйти изъ бюджета. Онъ влюбляется въ Лидію не иначе, какъ разсчитывая, что у него особаго рода дѣла, и ему необходима именно такая жена, блестящая и съ хорошимъ тономъ; въ самомъ разгарѣ увлеченія онъ разсуждаетъ: «Хорошо еще, что у меня воля твердая, и я, какъ бы ни увлекался, изъ бюджета не выйду. Ни, Боже мой! Эта строгая подчиненность бюджету не разъ спасала меня въ жизни». Лидія прямо объявляетъ ему, что не любитъ его, а онъ все-таки женится на ней, въ тѣхъ же практическихъ расчетахъ, и наконецъ покоряетъ ее своей власти, пользуясь разореніемъ, до какого доводитъ дѣвушку безпутное мотовство, дѣлаетъ ее своею рабою, заставляя измѣнить образъ жизни и служить

его финансовымъ цѣлямъ. Страшное впечатлѣніе производитъ на васъ этотъ представитель нарождающейся силы, съ которой придется мѣряться не однѣмъ Лидіямъ; но въ то же время такое отвратительное зрѣлище представляютъ Телятевы, Кучумовы, Глумовы, Чебоксаровы и прочіе герои среды, дошедшей до крайняго разложенія нравовъ, что Васильковъ кажется героемъ среди этихъ госцодъ,—своего рода солью земли.

Островскій приписываетъ пороки той порчѣ нравовъ, какая является на почвѣ даровыхъ хлѣбовъ. Какъ стремленіе захватить въ свои руки помимо труда «бѣшеныя деньги», такъ и долгое пользованіе этими «бѣшеными деньгами» влекутъ за собою въ равной степени разнообразныя искаженія человѣческой природы. Купеческое самодурство является однимъ изъ наиболѣе грубыхъ, элементарныхъ, примитивныхъ видовъ нравственной порчи; это—первый шагъ на скользкомъ пути только что успѣвшаго разбогатѣть простого русскаго деревенскаго человѣка. Самодуръ—дикарь, невзыскательный въ привычкахъ и требованіяхъ; все тщеславіе богатствомъ заключается у него въ томъ, что онъ бросаетъ деньги зря направо и налѣво.

Въ иномъ видѣ рисуются въ пьесахъ Островскаго культурные люди, въ которыхъ нравственная порча глубоко внѣдрилась, до мозга костей, хотя и скрывается подъ блестящею внѣшностью поверхностной образованности, утонченныхъ вкусовъ и изящныхъ манеръ. Здѣсь кишатъ несмѣтныя гниды отвратительныхъ пороковъ, передъ которыми купеческія безобразія кажутся лишь глупыми шалостями дурно воспитанныхъ дѣтей. Поэтому и отношеніе Островскаго къ отрицательнымъ типамъ культурной среды не въ примѣръ безпощаднѣе. Не говоря о благодушномъ Русаковѣ, даже и такіе безобразники, какъ Большовъ или Прусаковъ, могутъ казаться невинными ангелами сравнительно съ Уланбе-

ковой, съ ея жаднымъ и безпощаднымъ тиранствомъ подъ личиною лицемѣрнаго пуризма; Мурзавецкой, готовой во имя Господне снять съ ближняго послѣднюю рубашку; Надеждой Антоновной Чебоксаровой, ради снисканія благъ земныхъ открыто и беззастѣнчиво торгующей честью своей дочери; наконецъ Всеволодомъ Вячеславичемъ Гнѣвышевымъ, которому ничего не стоитъ, несмотря на почтенныя сѣдины и высокое положеніе въ обществѣ, обезчестить сироту, опекаемую имъ родственницу и обратить ее въ содержанку. Въ культурной средѣ даже люди, повидимому чистые, безкорыстные и полные высокихъ стремленій, въ концѣ концовъ оказываются никуда негодными тряпками по крайнему слабодушію, безхарактерности, нервной развинченности. Таковъ Жадовъ, въ лицѣ котораго Островскій предсказалъ грядущую судьбу молодыхъ тогда еще прогрессистовъ, которые въ 1856 году,—когда была написана комедія «Доходное мѣсто»,—выступали впередъ съ рьяными обличеніями взяточничества и казнокрадства, громкими криками о наступленіи новой эры въ общественной жизни, о возрожденіи, пробужденіи и т. п. Островскій своею комедіею словно напутствовалъ ихъ, говоря: «Потише, друзья, не бѣснуйтесь, не храбритесь и не геройствуйте; все это вѣдь однѣ громкія фразы, отъ которыхъ до дѣла очень еще далеко. Чтобы быть истинными героями, необходимъ такой нравственный закалъ, котораго вы не имѣете; необходимо быть готову отказаться отъ всѣхъ земныхъ благъ, а вы если не честолюбивы и не сластолюбивы, то навѣрно женолюбивы; у васъ нѣжное сердце, готовое растаять при видѣ перваго смазливенькаго личика, и вы способны беззавѣтно увлечься этимъ личикомъ, не входя въ тщательный анализъ, что заключается подъ нимъ и есть ли тамъ какое-нибудь содержаніе. Если вы не уступите ни на іоту Юсовымъ и Бѣлогубовымъ по собственной

иниціативѣ, то подъ вліяніемъ предмета страсти не замедлите войти въ цѣлый рядъ сдѣлокъ съ совѣстью,— и Вишневскіе, Юсовы и Бѣлогубовы скоро убѣдятся, что вы вовсе не такъ страшны, какъ кажетесь, что вы— ихъ же поля ягода».

Что касается внѣшняго содержанія пьесъ Островскаго, то, когда мы будемъ перечитывать ихъ подъ рядъ, насъ поразитъ необъятная широта захвата Островскимъ русской жизни въ ея настоящемъ и прошломъ. До такой универсальности не доходилъ еще ни одинъ изъ нашихъ писателей, кромѣ развѣ Пушкина и графа Л. Толстого. Захотите вы отрѣшиться отъ настоящаго времени въ глубь прошлаго,—и передъ вами встаетъ древняя Русь, начиная съ до-историческихъ миѳическихъ временъ («Снѣгурочка») и кончая смутною эпохою междуцарствія; вы видите и грозную личность Іоанна съ его свирѣпыми казнями и женолюбіемъ; и безпечнаго, легкомысленнаго Дмитрія; и хитраго, злопамятнаго Шуйскаго; передъ вами развертываются интриги и казни бояръ, мятежные крики разсвирѣпѣвшей московской черни, взрывъ народнаго энтузіазма, возбужденнаго великимъ нижегородскимъ мясникомъ, и всеобщее шатаніе и разложеніе нравовъ, какое предшествовало Петровской реформѣ («Воевода»).

Обратитесь къ современной жизни — здѣсь поразятъ васъ еще бóльшія пестрота и разнообразіе образовъ: какихъ только людей, характеровъ, нравовъ не встрѣтите вы въ десяти томахъ сочиненій Островскаго,—тутъ дворяне наживающіеся и дворяне разоряющіеся, проматывающіе послѣднія крохи; помѣщицы-тиранки на почвѣ крѣпостного права; купцы-самодуры, напивающіеся до чортиковъ; благодушные или суровые хранители домостроевскихъ завѣтовъ; безсердечные, черствые столичные бюрократы, одѣтые съ иголочки и тщеславящіеся своею строгою порядочностью, и грязные подьячіе,

играющіе роль купеческихъ шутовъ; дѣльцы, прожигатели жизни — столичные и провинціальные, скряги, моты, странствующіе актеры, нищіе-мѣщане, едва не умирающіе съ голоду,—словомъ, передъ вами современная жизнь во всемъ ея пестромъ разнообразіи и безобразіи. Единственно, чего не достаетъ въ пьесахъ Островскаго,—крестьянъ въ ихъ сельскомъ бытѣ. Это обусловливается, конечно, тѣмъ, что, проживъ большую часть жизни въ городѣ, Островскій мало былъ знакомъ съ деревенской жизнью.

Наконецъ, поражаетъ въ пьесахъ Островскаго и языкъ, какимъ говорятъ дѣйствующія лица. Мало сказать, что это языкъ естественный и соотвѣтствующій выводимымъ личностямъ: по народности, образности, мѣткому неподражаемому юмору и соли онъ представляетъ богатѣйшую сокровищницу русской рѣчи. Мы можемъ въ этомъ отношеніи поставить въ одинъ рядъ лишь трехъ писателей: Крылова, Пушкина и Островскаго. Глубокую истину сказалъ Пушкинъ, что русскому языку слѣдуетъ учиться у московскихъ просвиренъ. Островскій на своемъ примѣрѣ какъ нельзя болѣе подтвердилъ это изреченіе, потому что у кого же именно выучился онъ неподражаемому языку своихъ пьесъ, какъ не у московскихъ просвиренъ?

А. Скабичевскій.

Грустная картина русскаго общества, рисуемая мастерскимъ перомъ Островскаго *).

Какъ ни ясна изображенная Островскимъ картина русской жизни, какъ ни рѣзко обрисованы семейныя отношенія, въ основаніи которыхъ лежитъ «самодурство», но какой новый, ослѣпительный свѣтъ прольется на эту картину, когда рядомъ съ ней, въ pendant къ ней, будетъ представлена другая картина, изображающая общественную жизнь, тѣсно переплстенную съ семейною. Трудно допустить, чтобы такой талантливый писатель, какъ Островскій, добровольно отказался отъ изображенія общественныхъ отношеній людей, если бы не было никакихъ посторонних, стѣсняющихъ его дѣятельность обстоятельствъ. Обстоятельства эти существовали, и особенно сильно тогда, когда онъ началъ свою драматическую дѣятельность. Это было въ концѣ сороковыхъ годовъ. Въ ту эпоху русскій писатель былъ еще гораздо менѣе свободенъ, чѣмъ въ настоящую минуту, и, разумѣется, ему не могла притти даже въ голову мысль изображать все, что есть или было дикаго въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ. Не былъ онъ даже свободенъ рисовать семейныя отношенія безразлично всѣхъ классовъ, потому что жизнь высшихъ или находившихся на виду слоевъ была строго ограждена отъ всякаго истин-

*) Изъ № 1 „Вѣстника Европы“ 1869 г. *Зелинскій*, 3. ***Денисюкъ***, 3.

наго наблюденія, перенесеннаго въ литературу или на сцену, если только это наблюденіе не клонилось къ ихъ выгодѣ. Чѣмъ дальше удалялся писатель отъ всего, находившагося на поверхности общества, тѣмъ болѣе былъ онъ свободенъ въ своихъ изображеніяхъ, тѣмъ вѣрнѣе могъ онъ рисовать жизнь безъ всякихъ прикрасъ, безъ всякихъ ретушей. Въ этихъ далекихъ углахъ народной жизни онъ только и могъ свободно, вѣрно, съ правдою,—этимъ необходимымъ условіемъ искусства,—изображать грубость, дикость однихъ и загнанность другихъ, которые и представляли собою итогъ всѣхъ наблюденій. Островскій и сосредоточился на этомъ отдаленномъ отъ глазъ столицы горизонтѣ, къ счастью для художника, не взятомъ подъ особое покровительство, а предоставленнымъ, можетъ-быть, и нѣсколько легкомысленно, свободному творчеству писателя. Островскій уцѣпился за этотъ отверженный слой общества, потому что, изображая только его, ему не нужно было жертвовать тѣмъ, безъ чего невозможно никакое истинно-художественное произведеніе, т.-е. правдою.

Мастерскою кистью изобразилъ Островскій русское самодурство въ купеческомъ быту, и изображеніе это было такъ сильно, что каждому, который захотѣлъ бы только вдуматься въ выведенные типы, стало бы ясно, что самодурство такое рѣзкое, такое удушающее, не можетъ быть достояніемъ одного класса безъ того, чтобы оно было чуждо другому, безъ того, однимъ словомъ, чтобъ оно не коренилось въ цѣломъ строѣ нашей и частной и политической жизни. Какая тьма, какой мракъ становится кругомъ васъ, когда передъ вами проходятъ постепенно всѣ дѣйствующія лица комедій и драмъ Островскаго! Трудно сказать, что производитъ на васъ болѣе тяжелое дѣйствіе—смѣхъ и веселье первыхъ или слезы и грусть послѣднихъ. Какъ тутъ, такъ и тамъ каждое лицо ложится вамъ тяжелымъ камнемъ на сердце.

Невозможно было бы ожидать, и Островскій понималъ это, можетъ-быть, и инстинктивно, что если въ одномъ углу залы господствуетъ полная мгла, чтобы могло быть въ другомъ въ то же самое время свѣтло и весело. Если одинъ слой народной массы можетъ дать только самодуровъ, въ видѣ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Кабановыхъ и всякихъ Титовъ Титычей, съ одной стороны, а съ другой, несчастныхъ, безсловесныхъ и подчиненныхъ первымъ существъ, въ видѣ Любови Гордѣевны, Авдотьи Семеновны и даже глубоко симпатичной, съ возвышенными чувствами и сильною душой Катерины, не находящей нигдѣ себѣ выхода, какъ только въ смерти,—такъ чего же ждать въ другомъ слоѣ, какъ не такихъ же, съ одной стороны, самодуровъ, а съ другой, такихъ же беззащитныхъ существъ, развѣ съ тѣмъ исключеніемъ, что здѣсь мы не отыщемъ въ выведенныхъ лицахъ, мужскихъ или женскихъ, души Катерины, и не отыщемъ не потому, чтобъ ея нельзя было вовсе встрѣтить, а оттого, что изобразить протестъ такихъ лицъ противъ жизни не такъ удобно, какъ протестъ необразованной Катерины.

Мрачный взглядъ на весь строй русской жизни, который, по волѣ или безъ воли Островскаго, таится во всѣхъ его произведеніяхъ, во всѣхъ созданныхъ имъ типахъ, относящихся къ изображенію купеческаго быта, одинаково существуетъ и въ комедіяхъ, рисующихъ ту же семейную каторжную жизнь, но только, вмѣсто купеческаго, въ чиновничьемъ или помѣщичьемъ слояхъ, которые онъ сталъ затрогивать, когда представилась только возможность. Кто въ состояніи указать разницу между типомъ какой-нибудь Уланбековой въ «Воспитанницѣ» и типомъ старухи Кабановой въ «Грозѣ»? Развѣ не та же дикость, не то же безобразіе, не то же самодурство? Въ чемъ особенное различіе между Авдотьей Семеновной въ комедіи «Не въ свои сани не садись»

и Марьей Андреевной въ «Бѣдной невѣстѣ», развѣ не то же безвыходное положеніе, не та же загнанность, не то же преслѣдованіе отъ любящихъ «своею любовью» людей, не та же горькая, беззащитная жизнь. Да, собственно говоря, не отчего и существовать особенной разницѣ между тѣми и другими,—повязка на головѣ или модная шляпка не измѣняютъ внутри ея ровно ничего. Цивилизація, какъ бы долетѣвшая до нихъ по слуху, коснулась ихъ настолько, чтобы невѣжество ихъ и дикость поражали васъ въ нихъ больше, чѣмъ въ первобытныхъ натурахъ, выводимыхъ Островскимъ въ купеческомъ быту, но никакъ не больше. Въ сущности вездѣ одна и та же дикость, одно и то же безобразіе, одна и та же скорбь вызывается всѣми фигурами Островскаго. Поневолѣ является вопросъ—какая же жизнь, какіе люди живутъ, да и люди ли это, когда въ этой массѣ выведенныхъ талантливымъ драматургомъ лицъ нѣтъ ни одного, на которомъ можно было бы отдохнуть, успокоиться, на которомъ наша мысль могла бы остановиться? Такого лица нѣтъ, и, что самое ужасное, вы чувствуете, что не можете винить въ этомъ автора: онъ вовсе не съ умысломъ рисуетъ вамъ только мрачныя да мрачныя картины; его чувство, его чутье русской жизни, его наблюдательность подсказываютъ ему эти контуры; онъ неповиненъ въ окружающей тьмѣ, ему хочется, онъ пробуетъ рисовать свѣтлые образы, но помимо своей воли, по тому чувству правды, которая живетъ въ немъ, онъ обрывается, останавливается на половинѣ и быстро увлекаетъ проложенный свѣтлый образъ въ ту кромѣшную тьму, гдѣ не видно ни одной зги, куда никогда, ни на одну минуту не проглянетъ солнышко. Вамъ становится холодно, дрожь пробѣгаетъ по вашему существу. Тутъ нельзя себѣ дѣлать никакихъ утѣшеній, нельзя успокоить себя, говоря, что авторъ, рисующій русскую жизнь, пессимистъ, что онъ

все видитъ въ черномъ цвѣтѣ, потому что среда эта душитъ его, она ему невыносима. Ничего подобнаго невозможно замѣтить въ Островскомъ. Если изъ его произведенiй нельзя вывести, чтобъ онъ былъ совершенно доволенъ тою средою, которую онъ описываетъ, то точно такъ же нельзя нигдѣ подмѣтить, чтобъ она его особенно тяготила; онъ свыкся съ нею, онъ живетъ въ ней, и подчасъ намъ кажется, что онъ вовсе не отдаетъ себѣ отчета, какую грустную картину своего времени, своего общества рисуетъ онъ мастерскимъ перомъ.

Разбирать отдѣльно каждое лицо, выведенное Островскимъ, объяснять его такъ, какъ мы понимаемъ его, подставить полный анализъ всей дѣятельности талантливаго драматурга было бы и не по нашимъ силамъ, да и вышло бы изъ предѣловъ принятой нами задачи. Мы хотимъ только, набрасывая то общее впечатлѣнiе, которое оставляетъ по себѣ театръ Островскаго, уловить ту связь, которая существуетъ между всѣми его произведенiями, указать на то единство мысли, которая проходитъ насквозь всѣ его комедiи, къ какому бы слою онѣ ни относились. Какъ въ купеческомъ быту мы находимъ у него всегда стоящiе другъ противъ друга два враждебные лагеря, далеко не одинаково сильные, лагерь угнетающихъ и лагерь угнетенныхъ, изъ которыхъ одному принадлежитъ грубая, надменная сила, другому—рабское подчиненiе, съ одною общею имъ стороною, заключающеюся въ полномъ невѣжествѣ, отсутствiи яснаго представленiя о какихъ бы ни было человѣческихъ отношенiяхъ, да еще въ толстомъ слоѣ всевозможныхъ предразсудковъ и суевѣрiй; какъ у нихъ нѣтъ никакого другого болѣе человѣческаго достоянiя, нѣтъ понятiя ни о какихъ болѣе разумныхъ и справедливыхъ основанiяхъ для жизни, кромѣ одной силы,— такъ точно такъ же эти два самые лагеря и эти самыя понятiя мы встрѣчаемъ въ другихъ общественныхъ сло-

яхъ, можетъ-быть, съ нѣкоторою разницей во внѣшней формѣ, но, въ сущности, съ тѣми же атрибутами. Все это различныя звенья одной и той же цѣпи. Во всѣхъ его драмахъ и комедіяхъ, рисующихъ семейный бытъ купеческаго, мелкочиновничьяго и мелкопомѣщичьяго слоевъ, вездѣ мы видимъ это основное начало вражды; съ одной стороны, тайная борьба угнетенныхъ, чтобы высвободиться изъ-подъ гнета самодурщины и стать, можетъ-быть, самодурами въ свою очередь, съ другой—буйствующая сила, дикая власть угнетающихъ, неспособныхъ ни къ какому добровольному и сознательному ограниченію своихъ «широкихъ натуръ».

Стоитъ только припомнить главныя комедіи Островскаго и главныя дѣйствующія лица въ нихъ, чтобы то, о чемъ мы говоримъ, сдѣлалось совершенно рельефно. Возьмите «Свои люди—сочтемся», «Не такъ живи, какъ хочется», «Бѣдность не порокъ», «Не въ свои сани не садись», «Гроза»—и спросите себя, какое главное положеніе всѣхъ этихъ прекрасныхъ произведеній, посвященныхъ изображенію купеческаго быта? Отвѣтъ можетъ быть только одинъ: борьба двухъ сторонъ, угнетающей и угнетенной. На одной сторонѣ стоятъ у насъ: Большовы, Петры Ильичи, Торцовы, Русаковы, Кабановы — все это составляетъ одинъ лагерь. На другой сторонѣ стоятъ Даши, Любови Гордѣевны, Авдотьи Семеновны и изрѣдка Катерины; это—другой лагерь, болѣе симпатичный, потому что онъ физически болѣе слабый, но, въ сущности, по своей слабости такой же безотрадный и грустный, какъ тотъ безотраденъ и гадокъ, вслѣдствіе своей дикой силы. Мало различія между самодурами перваго лагеря,—всѣ они какъ нельзя болѣе похожи, а если и есть между ними такіе, которые болѣе наглы и жестоки по ихъ личному природному характеру, какъ, напримѣръ, Гордѣй Карпычъ Торцовъ или Большовъ или Кабанова, но зато есть и такіе, кото-

рые болѣе мягки и не лишены способности любить свою дочь, жену и сестру, какъ мы видимъ это въ типѣ Русакова, добраго самодура, только и толкующаго о любви къ своей дочери, или Красновѣ, въ драмѣ «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ». И тотъ и другой,—а кромѣ ихъ мы могли бы найти еще нѣсколько любящихъ самодуровъ Островскаго, — любятъ, но какою любовью? У Краснова, этого русскаго Отелло, любовь такого свойства, что вамъ становится жутко, когда вы смотрите, какъ онъ ласкаетъ свою жену. Онъ любитъ ее, какъ люди любятъ свою собаку, онъ ласкаетъ ее, балуетъ, но вы не можете не чувствовать, что собственно онъ не признаетъ за нею никакихъ правъ, онъ смотритъ на нее какъ на свою вещь, однимъ словомъ, воленъ любить и воленъ убить ее, что въ концѣ-концовъ онъ и дѣлаетъ. Важно въ этомъ не то, что одинъ болѣе жестокъ, другой болѣе мягокъ, важно то, что ни тотъ ни другой не хотятъ признавать никакихъ отношеній, основанныхъ на справедливости, на правдѣ, и считаютъ себя полновластными, вольными миловать, вольными и казнить, что составляетъ характеристичную черту русскаго самодурства. Съ этой стороны между ними нѣтъ разницы, всѣ они похожи другъ на друга, и когда забываешь частности, то такъ похожи, что они всѣ смѣшиваются въ вашей головѣ, и вы принимаете одного за другого. Какъ сходны между собою типы перваго лагеря, такъ точно и сходны типы второго. Сходство тутъ, пожалуй, еще болѣе поразительное: та же мягкость, та же загнанность, то же роптаніе на судьбу, то же неосмысленное, рабское, въ силу преданія, строгое и боязливое подчиненіе своимъ угнетателямъ. У всѣхъ у нихъ одни страданія, съ тою только разницею, что однѣ способны выносить болѣе, другія менѣе, однѣ страдаютъ безсознательно, по закону, такъ и быть должно, думается имъ; другія, какъ Катерина, сознаютъ свое

страданіе, но неспособны, силы нѣтъ прямо и смѣло лицомъ къ лицу стать къ своимъ притѣснителямъ, однако чувствуютъ и высказываютъ, что имъ жизнь не въ жизнь, не въ силахъ онѣ больше выносить своихъ страданій, пересилили они ихъ, измучили. Жизнь теряетъ для нихъ весь свой смыслъ, да иначе и быть не можетъ, все для нихъ опостылѣло, ничто ихъ не радуетъ, и «свѣтъ Божій не милъ». Самое счастливое, что представляется имъ въ этомъ царствѣ самодуровъ—это смерть, могила, и голосъ Катерины выражаетъ собою, вмѣстѣ съ самымъ страшнымъ страданіемъ, самую задушевную мысль всѣхъ тѣхъ, которыя, сознавая свое безсиліе передъ существующимъ строемъ, опускаютъ руки и говорятъ:

«...Въ могилѣ лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо... солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочитъ... весной на ней травка выраститъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ, цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе... Такъ тихо, такъ хорошо! Мнѣ какъ будто легче! А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ, не надо... нехорошо! И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ, и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду!»

Нужно ли говорить, что такъ только могутъ разсуждать лучшія, исключительныя, идеализированныя натуры, которыя попадаются рѣдко-рѣдко, такъ рѣдко, что въ головѣ невольно возникаетъ вопросъ: да не выдумано ли такое лицо, не есть ли это только мечта автора, да и попадаются ли подобныя натуры? Большею же частью въ жизни встрѣчаются Авдотьи Максимовны, которыя будутъ продолжать безсознательно существованіе, будутъ рожать дѣтей и умрутъ такъ, какъ родились, не зная, что у нихъ есть права, права человѣческія, права разумнаго существа. А другая еще такъ пойметъ свои человѣческія права, до такой степени войдетъ во

вкусъ этой самодурной жизни, что, какъ Курицына въ комедіи «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ», будетъ хвастаться тѣмъ, что на вопросъ мужа: «Чего моя нога хочетъ?» она немедленно «понимаетъ», потому обучена этому: ну, и, значитъ, сейчасъ въ ноги.

Нельзя при этомъ не замѣтить того, что если въ станѣ притѣснителей-самодуровъ рядомъ съ мужчинами попадаются иногда и образцовые экземпляры женщины-самодура, какъ, напр., Кабанова въ «Грозѣ», зато въ противоположномъ слабомъ, загнанномъ лагерѣ мы встрѣчаемъ почти исключительно женщинъ. Въ семейномъ быту онѣ и должны играть самую жалкую роль, какъ существа, лишенныя властвующей тутъ физической силы; борьбы двухъ элементовъ здѣсь встрѣтить нельзя, потому что та нравственная сила, которая способна возстать, хотя очень часто и совершенно безплодно, противъ грубой физической, если и встрѣчается иногда здѣсь, то она до такой степени изолирована, что способна развѣ вызвать въ женщинѣ рѣшимость на самоубійство, но никакъ не больше. Объ открытой борьбѣ, съ одной стороны, физической, съ другой, нравственной силъ—тутъ и рѣчи быть не можетъ: до такой степени одна царитъ надъ другою.

Между этими двумя враждебными станами есть еще одинъ, какъ бы средній, по положенію своему принадлежащій къ угнетеннымъ, но по стремленіямъ и желанію льнущій къ угнетающимъ. Это средній лагерь, готовящійся соединиться съ сильнымъ, но выжидающій только удобной минуты, чтобы быстро превратиться въ самодуровъ. Это тотъ классъ, который лишенъ всякаго болѣе или менѣе нравственнаго чувства, который точно такъ же гадокъ, какъ и лагерь самодуровъ, если еще не гаже, потому что тутъ онъ дѣйствуетъ исподтишка; классъ этотъ изображенъ у Островскаго какъ нельзя лучше въ комедіи «Свои люди—сочтемся», въ характе-

ъ Лазаря Елизарыча Подхалюзина и Олимпіады Сам-
эвны, дочери купца Большова. Это готовые уже
одуры, которые ждутъ только случая показать себя
дѣлѣ; они льстятъ, угождаютъ, потому что знаютъ,
иначе нельзя выбраться въ люди, а сами про себя
рятъ: «Погоди, будетъ и на нашей улицѣ празд-
ъ!» Смолоду, съ дѣтскихъ лѣтъ всасываютъ они все
что необходимо, чтобы съ спокойствіемъ и наслажде-
ъ надувать и губить всякаго, кто только попадется
ихъ лапы. Страшную школу должны они были прой-
какимъ ужаснымъ нравственнымъ изувѣчіямъ долж-
были подвергнуться ихъ натуры, прежде чѣмъ за-
ились они въ этомъ служеніи дикой, необузданной
ѣ, служащей основаніемъ русской жизни. Нужно ли
вляться послѣ этого, что въ такихъ людяхъ заглох-
ь всякое человѣческое чувство, что они не будутъ
ъ себѣ другого закона, какъ обманъ, тамъ, гдѣ нуж-
бмануть, и раболѣпство передъ тѣми, которые силь-
ихъ. Вотъ и все, къ чему сводится семейный купе-
кій бытъ: съ одной стороны, ужасающая физическая
равственная слабость и загнанность; съ другой, воз-
ительное издѣваніе надъ всѣмъ, что болѣе слабо,
болѣпное отношеніе ко всему, что имѣетъ болѣе силы
ласти,—однимъ словомъ, люди раздѣляются здѣсь
вѣ неравныя части—тѣхъ, которыхъ душатъ, и тѣхъ,
рые душатъ. Нужно ли говорить, что все это при-
вается толстою гранитною стѣною невѣжества, гру-
и, предразсудковъ, суевѣрій,—что въ результатѣ да-
самое полнѣйшее непониманіе и даже невозможность
иманія того, что на землѣ могутъ существовать иныя
ятія, иной порядокъ, иныя отношенія между людьми.
сли подобный строй жизни есть результатъ еще полу-
варскаго состоянія народа и далекаго разстоянія отъ
образованности, которая есть богатый плодъ запад-
цивилизаціи, то нетрудно предполагать, что кар-

тина купеческаго быта, нарисованная Островскимъ, будетъ сильно походить на картину, списанную съ другого любого слоя русскаго общества. Причина та же, результатъ долженъ быть тотъ же. Какъ тамъ необразованіе, такъ и здѣсь; какъ тамъ его слѣдствіемъ является самодурщина, такъ точно такъ же должна она явиться и здѣсь. Процентъ образованныхъ людей, людей, которыхъ разумъ не затемненъ неуклюжею смѣсью французскаго съ нижегородскимъ, цивилизованныхъ понятій Запада съ первобытными понятіями, еще такъ незначителенъ относительно цѣлой массы, колоссальной массы населенія, что, несмотря на всю громадную силу, которая принадлежитъ образованію въ борьбѣ съ невѣжествомъ, несмотря на то, что меньшинство это съ каждымъ днемъ должно увеличиваться, еще много времени должно пройти, прежде чѣмъ пропадетъ послѣдній слѣдъ самодурства, изображеннаго сильною рукой Островскаго.

Выйдя изъ купеческаго быта, Островскій пошелъ бродить по сосѣдству и прежде всего наткнулся на мелкочиновничій и молкопомѣщичій бытъ, въ которомъ точно такъ же изобразилъ онъ два враждебные стана: угнетенныхъ и угнетателей. Развѣ Марья Андреевна въ «Бѣдной невѣстѣ» не можетъ подать руки Авдотьѣ Семеновнѣ, развѣ не одинаковая у нихъ несчастная доля, развѣ не одна у нихъ общая участь, полная печали и горя? Марью Андреевну любятъ, но какъ любятъ, почти что хуже, чѣмъ не любить: за ней не признаютъ человѣческихъ правъ, она не можетъ любить, кого хочетъ, ее мучатъ, пилятъ до тѣхъ поръ, пока она, наконецъ, не соглашается загубить свою жизнь, выходя замужъ за грубаго, отвратительнаго Беневоленскаго. Да, собственно говоря, ей ничего другого и не остается дѣлать: на что она способна?—ни на что, ровно ни на что; да если бы и была способна, что стала бы она дѣлать, развѣ ей не

закрыты всѣ дороги, кромѣ одной, которую избрала Катерина; но зато вѣдь мы и сказали, что Катерина—рѣдкость, исключеніе. А Беневоленскій, а мать Марьи Андреевны, Анна Петровна,—развѣ не принадлежатъ они также къ лагерю сильныхъ угнетателей, съ тою только разницей, что Беневоленскій гадокъ, жестокъ, имѣетъ характеръ, а Анна Петровна не гадка, не жестока, не имѣетъ характера, не имѣетъ и образованія, чтобъ отдѣлаться отъ самодурства, которое тутъ точно такъ же сильно, какъ и въ купеческомъ быту. Никто еще тутъ не достигъ до какого-нибудь понятія о томъ, что значитъ уваженіе къ личности. Однимъ словомъ, Островскій точно такими же мрачными красками рисуетъ мелкочиновничій бытъ, какими нарисовалъ онъ и купеческій; одинаково темный колоритъ положилъ онъ и на помѣщичью среду, которую онъ изобразилъ въ «Воспитанницѣ». Героиня самодурнаго, дикаго лагеря, Уланбекова, не уступитъ никакой Кабановой, никакому Титу Титычу и Торцову, а Надя, воспитанница Уланбековой, такая же жалкая и несчастная, какъ и всѣ ея сестры купеческаго и чиновничьяго быта. Въ однихъ выражается грубая, звѣрская сила, которая требуетъ себѣ отъ другихъ полнаго подчиненія, полнаго рабства. Возможно ли, при такой обстановкѣ, какое-нибудь развитіе, возможна ли человѣческая жизнь въ этой средѣ? На это никто не затруднится отвѣтить.

Душно, тѣсно становится вамъ въ этомъ мірѣ, изображаемомъ Островскимъ, и у васъ, наконецъ, вырывается: да неужели же нѣтъ другой жизни, неужели въ большомъ русскомъ царствѣ художникъ-драматургъ не встрѣтилъ ни одного болѣе чистаго, болѣе отраднаго образа, неужели во всей землѣ не подслушалъ онъ ничего другого, кромѣ рыданій и стоновъ, вызываемыхъ ударами грубой торжествующей силы? Нѣтъ, ничего больше, отвѣчаютъ вамъ, и вы не вѣрите и начинаете

снова слушать его, точно похоронную пѣснь, въ надеждѣ, авось не разслышите ли вы гдѣ-нибудь дружнаго, радостнаго пѣнія. Ожидаемые звуки не долетаютъ до васъ, и вами овладѣваетъ тяжелое, грустное раздумье. Гдѣ же зародышъ, гдѣ источникъ, гдѣ причина той мрачной картины, которая нарисована намъ Островскимъ, невольно спрашиваешь себя? Гдѣ начинается, гдѣ оканчивается тупое самодурство, гдѣ останавливается торжество физической силы, и гдѣ, наконецъ, вступаетъ въ свои права единая законная правительница міра— нравственная сила человѣка? Неужели нѣтъ предѣловъ владычеству матеріальной силы, неужели ею обусловливается вся жизнь русскаго народа, неужели только она и успѣла пропитать насквозь всѣ слои, всѣ классы общества? Если невѣжество, дикость и отсутствіе сколько-нибудь разумныхъ отношеній между людьми составляютъ удѣлъ семейной жизни русскаго общества, если тутъ безгранично господствуетъ произволъ, то невозможно, чтобы не явилось сомнѣніе и относительно общественной жизни народа. Семейная и общественная жизнь тѣсно связаны между собою, и невозможно, чтобъ одна не вліяла на другую, и даже больше, чтобъ одна не была выраженіемъ другой. Не съ простымъ любопытствомъ хладнокровнаго зрителя, но съ душевнымъ трепетомъ и страхомъ хотимъ мы взглянуть и спросить у безотчетной наблюдательности и неподдѣльнаго правдиваго чутья Островскаго, какъ, какимъ образомъ отражаются подмѣченныя имъ основныя черты русской семейной жизни въ сферѣ общественныхъ отношеній, въ области, такъ сказать, политической жизни націи? Вопросъ этотъ тѣмъ болѣе интересенъ, что въ отвѣтѣ на него мы узнаемъ или, вѣрнѣе, дополнимъ наше знаніе и въ той сферѣ семейныхъ отношеній, которыя не были еще прослѣжены Островскимъ, именно мы узнаемъ, насколько черты, принадлежащія низшимъ слоямъ общества, принадлежатъ

и высшимъ. Островскій, для того чтобы сколько-нибудь обрисовать область общественной жизни, долженъ будетъ, наконецъ, коснуться и семейной жизни того класса, который представляетъ собою какъ бы болѣе развитое, передовое сословіе нашего общества, потому что до сихъ поръ, собственно говоря, только оно и имѣло то, что зовется общественною жизнью, только оно и пользовалось нѣкоторыми правами, всѣ же остальные классы представлялись какъ бы вещью, болѣе или менѣе неодушевленными для высшей жизни предметами.

Посмотримъ, не просвѣтлѣетъ ли тутъ какимъ-нибудь чудомъ мрачное воззрѣніе Островскаго на весь строй русской жизни, не отыщетъ ли онъ тутъ, среди нашихъ образованныхъ классовъ, тѣхъ яркихъ и свѣтлыхъ тѣней, за которыя мы пожелаемъ ухватиться, чтобы съ радостью и надеждою смотрѣть на будущее. Исчезнетъ ли тутъ, наконецъ, это раздѣленіе всѣхъ людей на два враждебныхъ стана, одинаково безотрадныхъ, выведенныхъ Островскимъ въ семейномъ быту?

Долго Островскій оставлялъ въ полной тѣни, въ полномъ мракѣ наши общественныя отношенія, долго онъ ограничивался однимъ семейнымъ бытомъ низшихъ слоевъ народа, долго не могъ онъ показать того соотношенія, которое неизбѣжно существуетъ между частною, семейною, и общественною, политическою жизнью русскаго люда. Причина этого отдаленія отъ сферы общественныхъ отношеній, нужно сказать, долго лежала не только въ томъ запретѣ, который лежалъ на всемъ, что мало-мальски соприкасалось съ властью, но она скрывалась въ явленіи еще болѣе грустномъ, болѣе способномъ привести къ отчаянію, именно въ полномъ отсутствіи того, что называется общественною жизнью. Общественной жизни не существовало, или, вѣрнѣе, она не подавала никакихъ признаковъ своего существованія; она была забита, придавлена, и русское царство

долго походило на то сонное царство, гдѣ все спитъ непробуднымъ сномъ, и только двери его охранялись грознымъ и съ виду сильнымъ богатыремъ. Все спало, и даже тѣ, которые пробуждались, должны были притворяться, что они спятъ. Русскому драматургу, разумѣется, не было тутъ мѣста: ему пришлось бы копировать имъ же нарисованное самодурство въ семейномъ быту; изобразивъ домашнюю жизнь, онъ какъ бы тѣмъ самымъ изобразилъ и общественную. День уходилъ за днемъ, годъ за годомъ, а русскій народъ все спалъ, все боялся открыть свои глаза и взглянуть на свѣтъ Божій, страхъ передъ грознымъ богатыремъ былъ необъятный, и вдругъ... все зашевелилось, всѣ привстали съ своихъ мѣстъ. Но привстать не значитъ еще встать; привычка дѣйствовать всѣми членами своего тѣла была потеряна; тѣ, которые стали ходить, поминутно спотыкались; многіе такъ и остались лежать и даже, по привычкѣ, прищуривали глаза. Эта перемѣна не могла ускользнуть отъ наблюдательности Островскаго; онъ долженъ былъ почувствовать, что въ обществѣ начинается извѣстное броженіе, что искусственно уничтоженная общественная жизнь представляетъ свои права, и онъ не могъ поэтому не воспользоваться нѣкоторымъ пробужденіемъ общества, чтобы сколько-нибудь пополнить тѣмъ пробѣлъ въ его картинѣ русской жизни и постараться изобразить общественныя отношенія, обусловливающія собою и семейныя. Какой же характеръ носятъ на себѣ эти общественныя отношенія; присуща ли имъ та внутренняя борьба двухъ враждебныхъ лагерей; кѣмъ они выражаются; кому досталась роль угнетателей и кому угнетенныхъ; въ какой формѣ выражается тутъ протестъ противъ господства дикой силы, да и выражается ли онъ еще,—на всѣ эти вопросы должны отвѣтить намъ его комедіи, въ которыхъ преобладающимъ элементомъ является изображеніе общественныхъ сторонъ жизни.

Первою комедіей, написанной на эту тему, было «Доходное мѣсто», гдѣ невольно должны были сказаться всѣ порывы, которыми особенно былъ богатъ конецъ пятидесятыхъ и первое время шестидесятыхъ годовъ. На ней отразилось все то движеніе, которое, сколько бы въ немъ ни было ложнаго и надутаго, составляетъ одну изъ свѣтлыхъ полосъ нашей общественной жизни и потому заслуживаетъ, чтобы на ней остановиться. «Доходное мѣсто» въ эту минуту получило для насъ еще особенный интересъ благодаря новой комедіи Островскаго «На всякаго мудреца довольно простоты», такъ какъ эти два произведенія могутъ навести читателя не на одну интересную параллель.

Да, въ то время, когда появилось «Доходное мѣсто», было много ложнаго, фальшиваго; люди, провозглашавшіе высокіе принципы, говорившіе о томъ, чтобы перевернуть весь строй жизни,—эти люди были и недостаточно развиты и недостаточно подготовлены, но въ ихъ словахъ сказывалась правда, и очень часто въ ту правду искренно вѣрили. Точно изъ-подъ земли выросла вдругъ цѣлая фаланга молодежи, которая съ горячностью двадцати годовъ сдѣлала вызовъ укоренившемуся порядку и захотѣла дѣйствовать на свой страхъ. Способны ли они были вынести эту борьбу; достаточно ли они были сильны; не слишкомъ ли высокомѣрно относились они къ «старью»; не считали ли они его черезчуръ слабымъ, въ то время, когда оно могло заводить много такихъ фалангъ и много подобныхъ напоровъ—все это показало время. Эту борьбу, этотъ споръ двухъ враждебныхъ лагерей и нарисовалъ Островскій въ «Доходномъ мѣстѣ». Тутъ стоятъ два непріятельскихъ стана другъ противъ друга, точно такъ же какъ мы видѣли два лагеря въ картинахъ семейной жизни; точно такъ же мы видимъ здѣсь, что одному принадлежитъ сила, одинъ уже владѣетъ ею, въ то время какъ другой еще совершенно безсиленъ;

но разница тутъ та, что въ семейныхъ отношеніяхъ протестъ противъ уродливости жизни—скрытый, тайный; здѣсь онъ обнаруживается съ громомъ и молніею. Тамъ еще не началась борьба между физической силой и нравственною, которая здѣсь смѣло бросаетъ первой роковую перчатку. Физическая сила изображена здѣсь въ лицѣ важнаго сановника Вышневскаго, который съ презрѣніемъ самодура относится къ новымъ стремленіямъ и къ новымъ идеямъ, и какъ собственно могло бы это быть иначе, когда все, что онъ видитъ, все преклоняется передъ нимъ, когда всевозможные Юсовы, Бѣлогубовы, всѣ эти выслужившіеся и выслуживающіеся Молчалины попрежнему продолжаютъ льстить и раболѣпничать передъ его особой. И если бы еще эти Юсовы, эти Бѣлогубовы были въ меньшинствѣ—дѣло другое, онъ бы задумался, можетъ-быть, а теперь онъ видитъ ихъ вездѣ, встрѣчаетъ на каждомъ шагу, и, чувствуя въ нихъ свою силу, онъ не можетъ смущаться передъ какимъ-то «мальчишкой» Жадовымъ, который проповѣдуетъ трудъ, честность, клеймитъ взяточничество, раболѣпство. Вышневскій, можетъ-быть, внутренно бѣсится, не понимая, откуда проникъ вдругъ этотъ протестующій элементъ, можетъ-быть, онъ и пугаетъ его, но покамѣстъ онъ крѣпится и наружно совершенно спокоенъ и доволенъ собою. Жадовъ—это пробуждающаяся нравственная сила общества, выходящаго изъ полнаго мрака, гдѣ не было мѣста никакому свѣтлому образу. Связь семейнаго быта съ общественною жизнью можно, какъ нельзя лучше, прослѣдить въ этой комедіи какъ въ фигурѣ, изображающей собою представителя грубой силы, Вышневскаго, такъ и на лицѣ, воплощающемъ въ себѣ зародышъ живой нравственной силы — Жадова. Чѣмъ является Вышневскій въ своей внутренней семейной жизни? Если бы ему дали волю, если бы ему попалась женщина, которая не имѣла бы рѣшительнаго характера и подчиня-

лась ему, онъ сдѣлалъ бы изъ нея то же, что дѣлаютъ изъ своихъ женъ Большовы, Торцовы, Титы Титычи; но ему попалась жена, которая противится ему, и онъ рѣшается на другое средство, еще, можетъ-быть, болѣе отвратительное, чѣмъ страхъ: подкупъ. Ему не приходитъ въ голову, что женщина, для того чтобы любить человѣка, нуждается въ чемъ-нибудь иномъ, чѣмъ приказаніе и извѣстная сумма денегъ. Онъ считаетъ себя совершенно правымъ, говоря: «Не для васъ ли я купилъ и отдѣлалъ великолѣпно этотъ домъ? Не для васъ ли выстроилъ въ прошломъ году дачу? Чего у васъ мало? Я думаю, что ни у одной купчихи нѣтъ столько брильянтовъ, сколько у васъ»... И послѣ этого женщина имѣетъ дерзость не любить его. Какъ по этому одному уже видно, что въ его головѣ никогда не умѣстятся никакія человѣческія понятія о болѣе справедливыхъ отношеніяхъ между людьми. Двухъ словъ, двухъ фразъ достаточно тутъ Островскому, чтобъ обрисовать его цѣлый характеръ; намъ уже нечего добиваться, какъ относится онъ къ другимъ своимъ домашнимъ: мѣра дана, ее можно прилагать ко всему.

Набросавъ одну или двѣ домашнія сцены, заставивъ высказать Вышневскаго его воззрѣнія на семейную жизнь, Островскій рисуетъ маститаго сановника, какъ общественнаго человѣка, точно такъ же одной или двумя сценами, но которыхъ слишкомъ достаточно, чтобы составить себѣ ясное понятіе, какъ дошелъ подобный господинъ до богатства и почестей, до теплаго мѣста и извѣстнаго величія. Ему не нужно себя измѣнять, онъ вездѣ остается одинъ и тотъ же какъ въ семейныхъ, такъ и въ общественныхъ отношеніяхъ: вездѣ мы видимъ надменнаго, наглаго, презирающаго все и всѣхъ, если только это «все и всѣхъ» стоитъ ниже его; онъ уважаетъ только силу, въ какой бы формѣ она ни выражалась,—силу богатства, силу связи, силу чина,

мѣста, положенія, даже силу лести, потому что онъ знаетъ по опыту, что лесть ведетъ ко всевозможнымъ почестямъ и ко всевозможнымъ карьерамъ.

Что же касается до нравственной силы, то онъ ее искренно презираетъ и въ эту минуту даже не подозрѣваетъ надобности съ ней бороться. Да какъ ему и не презирать ее, когда всѣ его правила жизни сводятся къ одному: «Какое дѣло обществу, на какіе доходы ты живешь, лишь бы жилъ прилично и велъ себя какъ слѣдуетъ порядочному человѣку», т.-е. другими словами: «Воруй, грабь, надувай, дѣлай, что хочешь, только будь порядочнымъ человѣкомъ». Какъ у мѣста это «порядочнымъ» и сколько страницъ комментаріевъ можно было бы исписать на этотъ эпитетъ въ устахъ Вышневскаго. И скучно и безплодно было бы допытываться, семьянинъ ли Вышневскій произвелъ на свѣтъ Вышневскаго общественнаго дѣятеля или наоборотъ; дѣло только въ томъ, что общественныя отношенія болѣе подчинены власти отдѣльныхъ людей, чѣмъ семейныя отношенія; на общественныя есть въ сто разъ больше возможности дѣйствовать, а потому на нихъ должна и лежать отвѣтственность, если въ семейныхъ отношеніяхъ продолжаетъ господствовать самодурная сила, покоящаяся на самодурной же силѣ нашихъ общественныхъ отношеній.

Юсовы и Бѣлогубовы являются какъ бы подпорой Вышневскихъ; они въ общественныхъ отношеніяхъ занимаютъ то же самое мѣсто, какое занимаютъ Подхалюзины въ семейномъ быту; все это кандидаты на роли общественныхъ самодуровъ, и они твердо, непреклонно идутъ по проложенному чуть не вѣками пути. Они чуть не съ колыбели дѣлаются Молчалиными, «не смѣющими своего сужденія имѣть»; они слѣпо идутъ къ назначенной ими цѣли всей жизни: «сдѣлаться людьми», и на все остальное уже не обращаютъ никакого вниманія.

«Сдѣлаться же людьми»—это понятно что значитъ. Это значитъ дойти до такихъ чиновъ, когда не они, а имъ будутъ льстить, кланяться, когда въ нихъ будутъ заискивать, какъ они теперь заискиваютъ въ Вышневскихъ, въ ихъ женахъ, дочеряхъ, сыновьяхъ, всѣхъ ихъ родственникахъ, въ ихъ лакеяхъ, камердинерахъ, собакахъ и т. д., и т. д. Ихъ несчастный мозгъ никогда не бываетъ встревоженъ никакими человѣческими мыслями; имъ никогда не приходила въ голову дума, что можетъ быть и другая жизнь, чѣмъ та, какою они живутъ; они никогда не спрашивали себя, хорошо или дурно унижаться, обманывать, льстить; чувство человѣческаго достоинства никогда въ нихъ не шевелилось, и въ головахъ ихъ никогда не могло бы умѣститься сомнѣніе, что такая грубая, животная жизнь нехороша, что можетъ быть иная—болѣе разумная, болѣе справедливая.

Обвинять, жаловаться на Юсовыхъ, Бѣлогубовыхъ за то, что они Юсовы и Бѣлогубовы, вовсе не имѣло бы никакого смысла; они представляютъ собою законныя явленія, законные результаты общественнаго воспитанія. Пословица права, когда она говоритъ: «Что посѣешь, то и пожнешь»; посѣяны были Вышневскіе—всходятъ Юсовы и Бѣлогубовы, которые въ свою очередь дорастутъ и сдѣлаются непремѣнно Вышневскими. И чѣмъ больше они приближаются къ вершинѣ своего величія, тѣмъ больше прибавляется въ нихъ наглости, презрѣнія къ людямъ, разумѣется, поставленнымъ ниже ихъ, и тѣмъ больше исчезаетъ въ нихъ раболѣпность, какъ исключительная, характеристическая черта ихъ. Бѣлогубовъ, который только вступаетъ на жизненную сцену, хотя и обѣщаетъ очень много, раболѣпствуетъ передъ всякимъ и каждымъ, кто бы онъ ни былъ, безъ различія, не разбирая, есть ли тутъ выгода, или нѣтъ; онъ раболѣпствуетъ потому, что иначе онъ не можетъ,

онъ долженъ раболѣпствовать, унижаться передъ всѣми, даже оставаясь наединѣ съ собачонкой своего начальника, онъ будетъ самъ стоять передъ ней на заднихъ ножкахъ, потому только, что она собачонка его начальника, а онъ, по его внутреннему убѣжденію, не что иное, какъ рабъ и червь. Онъ не можетъ допустить, чтобъ иначе кто-нибудь могъ «выйти въ люди», и, когда онъ встрѣчается съ Жадовымъ, который иначе смотритъ на вещи, Бѣлогубовъ недоумѣваетъ, но раболѣпничаетъ и передъ нимъ, потому что въ головѣ его непремѣнно проходитъ мысль, что это не такъ, неспроста, что, значитъ, онъ скрываетъ же въ себѣ какую-нибудь силу, разумѣется, силу въ томъ только смыслѣ, какъ можетъ допустить Бѣлогубовъ. Подымаясь на высшія ступени общественной лѣстницы, «раболѣпство передъ всѣми» начинаетъ уже пропадать, и тогда-то, какъ у Юсова, являются, вмѣсто того, озлобленіе и ненависть противъ всѣхъ, которые не хотятъ итти по пройденной ими дорогѣ. Юсовъ уже не раболѣпствуетъ передъ Жадовымъ, нѣтъ, совершенно напротивъ: онъ преслѣдуетъ и ненавидитъ его, онъ желаетъ уничтожить его и стереть съ лица земли за то, что Жадовъ не хочетъ «выйти въ люди» такъ, какъ вышелъ онъ, Юсовъ, т.-е. не хочетъ быть на побѣгушкахъ, не хочетъ исправлять разныхъ комиссій: «И за водкой-то бѣгать, и за пирогами, и за квасомъ, кому съ похмелья», какъ все это дѣлалъ Юсовъ. Онъ ненавидитъ Жадова, какъ-то инстинктивно боится его и, вмѣстѣ съ тѣмъ, презираетъ его: «Что это за время такое!—восклицаетъ онъ.—Что теперь на свѣтѣ дѣлается, глазамъ своимъ не повѣришь. Какъ жить на свѣтѣ! Мальчишки стали разговаривать! Кто разговариваетъ-то? Кто споритъ-то? Такъ, ничтожество! Дунулъ на него, фу! вотъ и нѣтъ человѣка. Да еще съ кѣмъ споритъ-то!.. Съ геніемъ». Геній для него, разумѣется, Вышневскій.

Бѣлогубовы, Юсовы, Вышневскіе, которыхъ мы точно видимъ и слышимъ,—такъ ярко нарисованы они Островскимъ, такъ много въ нихъ жизни и правды,—олицетворяютъ собою одинъ изъ враждебныхъ лагерей; они являются представителями грубой физической силы, всегда преобладающей въ мало развитомъ еще обществѣ, того необузданнаго цивилизаціей элемента, противъ котораго должна упорно бороться зарождающаяся нравственная сила, до тѣхъ поръ, пока она не окрѣпнетъ и окончательно не возьметъ верхъ. Много должно пройти времени, прежде чѣмъ окончится этотъ періодъ борьбы, потому что матеріальная сила цѣлыми вѣками укрѣпилась въ странѣ и далеко пустила свои острые корни. Пробуждающаяся нравственная сила представляется въ фигурѣ юноши Жадова, на которомъ какъ нельзя полнѣе отразилось все то быстро охватившее русское общество броженіе, когда завязался совершающійся на нашихъ глазахъ поединокъ между новымъ и старымъ порядкомъ вещей. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ все представлялось въ какомъ-то розовомъ свѣтѣ, и людямъ казалось, что довольно одного желанія, чтобы разорвать всѣ связи съ мрачнымъ прошедшимъ и начать новую, свѣтлую жизнь. Въ дѣйствительности же оно вышло не совсѣмъ такъ. И послѣ перваго легкаго и счастливаго вздоха, вырвавшагося изъ груди Жадовыхъ, послѣ перваго восторга, вызваннаго твердою надеждой на быстрое торжество новыхъ, болѣе справедливыхъ началъ жизни, послѣ слѣпой, можетъ-быть, безумной вѣры, что все такъ и совершится, какъ подсказывала горячая молодая мечта, послѣ перваго удара, нанесеннаго старому зданію, въ бродившемъ идеями обществѣ вдругъ произошла быстрая перемѣна—орудіе казалось слишкомъ тупымъ и мягкимъ для сгнившаго, но вѣкового дерева. Тѣ, которые считали себя и свои идеи страшною силою, увидѣли, что они слабы и, главное, слабы силой про-

тивниковъ. Минуты общаго оживленія и радости смѣнились минутами грусти и унынія, но тѣмъ не менѣе начало было сдѣлано, и если превращеніе должно было совершиться не такъ легко, не такъ быстро, то все-таки сомнѣніе въ томъ, что оно совершится, стало невозможно: подкопъ стараго строя былъ обезпеченъ, вопросъ былъ только въ средствахъ и времени, а вовсе не въ самомъ принципѣ.

Если теперь, послѣ десяти почти лѣтъ, какъ сталъ ясенъ тотъ типъ людей, которые сдѣлались первыми жертвами опьянѣнія общества, то въ ту минуту нужно было обладать сильнымъ художественнымъ чутьемъ, какимъ-то инстинктивнымъ пониманіемъ, чтобы вывести Жадова и представить въ немъ типъ молодого, пробующаго только свои силы общества. Жадовъ былъ дѣйствительнымъ типомъ того времени, и въ этомъ нельзя не отдать справедливости Островскому. Жадовъ — не крѣпкая натура, не человѣкъ съ выдержанными, закаленными убѣжденіями: онъ весь состоитъ изъ однихъ порывовъ, но порывовъ какъ нельзя болѣе благородныхъ. Онъ вѣруетъ и любитъ все хорошее, честное и ненавидитъ всякую ложь и неправду. Онъ полонъ розовыхъ надеждъ, всевозможныхъ иллюзій, въ него не закрадывается сомнѣніе относительно жизни; трудъ, честность, прямота—всѣ его «святыя убѣжденія»; да ими можно, думается ему, побороть цѣлый міръ. Онъ искренно, незамѣтно, можетъ-быть, для самого себя, рисуется этими убѣжденіями, хвастается ими, что обличаетъ тотчасъ же, что эти убѣжденія не вошли въ его плоть и кровь, что они не выработаны имъ самимъ, а только навѣяны ему. «А голова-то, а руки-то на что? Неужели мнѣ весь вѣкъ жить на чужой счетъ? Конечно, другой былъ бы радъ, благо случай есть, а я не могу». И это желаніе похвалиться не есть фальшь, желаніе только выказать себя, онъ въ самомъ дѣлѣ это чувствуетъ, и ему хочет-

ся только дѣлиться съ другими своею честностью, въ которую онъ такъ вѣритъ. Ему въ голову не приходитъ, чтобъ онъ когда-нибудь могъ измѣнить себѣ и, подобно Юсовымъ и Бѣлогубовымъ, рѣшился искать доходнаго мѣста. «Какъ бы жизнь ни была горька, восклицаетъ онъ, я не уступлю даже милліонной доли тѣхъ убѣжденій, которыми я обязанъ воспитанію!» Каждое слово дышитъ въ немъ молодостью, тою молодостью, которой все легко, не потому, что въ ней была бы дѣйствительная сила для борьбы, а только потому, что ей не пришлось еще столкнуться съ будничною жизнью. Онъ еще не понялъ, что нельзя бороться противъ каждой «мерзости», которую онъ встрѣчаетъ на «каждомъ шагу», а что нужно вооружиться и дѣйствовать только противъ одной, которая служитъ источникомъ всѣхъ остальныхъ. Послѣ перваго столкновенія съ дѣйствительною жизнью, когда онъ не испытывалъ еще ни одного лишенія, и когда Вышневскіе и Юсовы даютъ ему только чувствовать, лишая его мѣста, что честныя убѣжденія не обходятся дешево, когда испытаніе только впереди,—онъ полонъ еще отваги, онъ, собственно, и не хочетъ задуматься и спросить себя, нѣтъ ли въ ихъ словахъ гадкой, отвратительной, но, тѣмъ не менѣе, все-таки правды. Онъ, собственно, еще не размышляетъ, а только вѣритъ или не вѣритъ: «Да, разговаривайте! Не вѣрю я вамъ. Не вѣрю, чтобы честнымъ трудомъ не могъ образованный человѣкъ обезпечить себя съ семействомъ. Не хочу вѣрить и тому, что общество такъ развратно... Вы завидуете только намъ, людямъ съ чистою совѣстью, съ душевнымъ спокойствіемъ. Этого вы не купите ни за какія деньги». Вѣра является у Жадова вездѣ и во всемъ: вѣра въ себя, вѣра въ другихъ, вѣра въ трудъ, въ любовь, на горизонтѣ все чисто, нѣтъ ни одного облачка ни одного сомнѣнія. Съ убѣжденіемъ, основаннымъ на вѣрѣ, а не съ убѣжденіемъ, основаннымъ

на внутренней выработкѣ, выступаютъ и выступали эти люди въ борьбу съ физическою силой; что же удивительнаго, что они лично должны были потерпѣть пораженіе. Пораженіе идетъ быстро рядомъ съ двухъ сторонъ—изъ отношеній семейныхъ и отношеній общественныхъ; и тутъ и тамъ его собственная слабость, безсиліе, невыдержанность одолѣваютъ его и надолго, если не навсегда, смущаютъ его и ведутъ къ гибели. Онъ надѣялся, женившись по любви, быть довольнымъ, счастливымъ, надѣялся жену сдѣлать точно такъ же счастливою, хотѣлъ воспитать ее, вырвать изъ нея общественные предразсудки, думая, что они такъ легко поддаются—и, вмѣсто этого, къ чему онъ пришелъ? Жена просто-напросто не считаетъ его за умнаго человѣка, потому что, по ихъ понятію, «умный человѣкъ долженъ быть непремѣнно богатъ»; во всѣхъ спорахъ съ нею онъ долженъ былъ ей уступить, «она такъ и осталась при прежнихъ понятіяхъ». Жадовъ самъ объяснилъ причину: онъ не умѣлъ взяться за дѣло. Не убѣжденія ихъ, слѣдовательно, тутъ виноваты, а просто то, что эти убѣжденія не были выработаны имъ, они не сдѣлались одно съ нимъ, а были просто взяты готовыми.

Если бъ Жадовъ не встрѣтилъ себѣ такого отчаяннаго отпора, если бы масса, большая часть общества раздѣляла бы эти самыя убѣжденія, онъ, можетъ-быть, и до конца остался бы увѣреннымъ, что эти убѣжденія — его, имъ самимъ выработаны; они, можетъ-быть, и были бы достаточны для обыкновеннаго обихода, а для борьбы они, разумѣется, оказались недостаточными. Если бы вся масса была глубоко честна, Жадову никогда бы не пришлось бороться, онъ такъ бы и умеръ, не сознавъ своей слабости или, вѣрнѣе, слабости всего, что только заимствовано, но не усвоено. «Какой я человѣкъ!—восклицаетъ онъ теперь, потер-

пѣвъ пораженіе въ жизни,—я ребенокъ, я объ жизни не имѣю никакого понятія. Все это ново для меня, что я отъ васъ слышу. Мнѣ тяжело! Не знаю, вынесу ли я! Кругомъ развратъ, силъ мало!» Тутъ именно и начинается драма въ самомъ Жадовѣ, тутъ начинается страшная борьба, и какъ не сказать, что Жадову нужно было бы быть героемъ, чтобы одному, всѣми брошенному, не находя себѣ нигдѣ ни защиты, ни опоры, ни въ комъ не встрѣчая сочувствія, напротивъ, одну насмѣшку, выйти побѣдителемъ изъ этой борьбы. Какъ ни мало усвоены были Жадовымъ его убѣжденія, какъ ни мало вошли они въ его плоть и кровь, въ нихъ столько чистаго, привлекательнаго, обольщающаго, что, когда теперь ему запала уже въ голову или хоть промелькнула мысль, что съ «мельницами» бороться нечего, когда онъ почти рѣшается на страшный шагъ—искать, просить доходнаго мѣста,—эти убѣжденія становятся ему вдругъ дѣйствительно дороги, они заставляютъ испытывать его страшную, почти предсмертную агонію, и въ ту самую минуту, когда онъ готовится измѣнить имъ, въ первый разъ, можетъ-быть, онъ ихъ въ самомъ дѣлѣ любитъ и чувствуетъ къ нимъ привязанность и какое-то безконечное уваженіе. Въ головѣ его страшный огонь, онъ не помнитъ себя, ему больше нѣтъ охоты красоваться, слова льются у него, какъ огненная лава, выходящая изъ вулкана; честная, искренняя натура противится общей заразѣ, и мы дѣлаемся свидѣтелями послѣдней страстной схватки нравственной силы съ дикимъ невѣжествомъ, когда Жадовъ, съ умоляющимъ видомъ и жаромъ, силится еще разъ найти себѣ опору въ своей женѣ.

«Слушай, слушай,—восклицаетъ онъ,—всегда, Полина, во всѣ времена, были люди, они и теперь есть, которые идутъ наперекоръ устарѣвшимъ общественнымъ привычкамъ и условіямъ. Не по капризу, не по своей волѣ, нѣтъ, а потому, что правила, которыя они знаютъ, лучше, честнѣе тѣхъ

правилъ, которыми руководствуется общество. И не сами они выдумали эти правила: они ихъ слышали съ пастырскихъ и профессорскихъ каѳедръ, они ихъ вычитали изъ лучшихъ литературныхъ произведеній нашихъ и иностранныхъ. Они воспитались въ нихъ и хотятъ ихъ провести въ жизнь. Что это нелегко, я согласенъ. Общественные пороки крѣпки, невѣжественное большинство сильно. Борьба трудна и часто пагубна, но тѣмъ больше славы для избранныхъ. На нихъ благословеніе потомства, безъ нихъ ложь, зло, насиліе выросли бы до того, что закрыли бы отъ людей свѣтъ солнечный...»

Если бы въ эту минуту около Жадова нашелся хоть одинъ человѣкъ, который поддержалъ бы его, очень вѣроятно, что онъ вышелъ бы побѣдителемъ изъ борьбы, и тѣ убѣжденія, которыя онъ только «выслушалъ и вычиталъ», можетъ-быть, впились бы въ него и сдѣлались его собственными убѣжденіями. Но, вмѣсто такого человѣка около Жадова, только и отвѣчаютъ словами презрѣнія: «Ты сумасшедшій, право, сумасшедшій». Если бы Жадовъ былъ герой, если бъ онъ былъ исключительнымъ человѣкомъ, тогда, разумѣется, и безъ всякой посторонней помощи Жадовъ не свернулся бы, «не споткнулся», какъ самъ онъ говоритъ въ послѣднемъ дѣйствіи; но тогда Жадовъ и не такъ бы интересовалъ насъ, тогда мы и не стали говорить бы о фигурѣ, выведенной Островскимъ, какъ о типѣ извѣстной эпохи.

Были люди, безъ сомнѣнія, не падавшіе и не спотыкавшіеся, до которыхъ драматургу мало дѣла, если онъ хочетъ рисовать общій типъ, жизнь, какъ она есть, не измѣняя главному условію искусства — правдѣ; а правда эта именно и требовала, чтобы Жадовъ споткнулся, потому что иначе его нужно было бы вывести въ иной средѣ, окружить его другими условіями, съ самаго начала показать его иначе, чѣмъ показанъ Жадовъ. Большое достоинство и большой талантъ Островскаго какъ нельзя лучше видны на этой комедіи; правдивое чутье, истина, живущая въ немъ и постоянно

подсказывающая ему, не допустили его сдѣлать изъ Жадова ходульнаго героя, возбуждающаго только отвращеніе, которыхъ мы такъ много видѣли и продолжаемъ видѣть на русскомъ театрѣ. Съ самаго начала, съ первой сцены, съ первыхъ словъ Жадова мы видимъ, что это не герой, не исключительный человѣкъ, что его убѣжденія только наружныя, внѣшнія, хотя и высказываются имъ совершенно искренно; мы съ самаго начала дуэли между Вышневскимъ и Юсовымъ, съ одной стороны, и Жадовымъ, съ другой, какъ нельзя лучше видимъ его слабость, предчувствуемъ его паденіе, и потому для насъ собственно занавѣсъ падаетъ именно въ ту минуту, когда онъ вошелъ только въ домъ Вышневскаго. Паденіе совершилось, и намъ не нужно быстраго возстановленія Жадова, какое сдѣлалъ Островскій въ концѣ пятаго акта, чтобы попрежнему относиться къ Жадову съ полнымъ сочувствіемъ. Къ Жадову нельзя относиться безъ сочувствія, потому что нельзя подвергнуть сомнѣнію искренность его вѣры въ святыя начала правды и честности. Его паденіе не вызываетъ злобы, а только одно сожалѣніе, какъ вызываетъ симпатіи и состраданіе женщина, павшая вслѣдствіе крайности и нужды. Паденіе его невольно, оно вызвано необходимостью, и мы повторяемъ, Островскій сдѣлалъ бы непростительную ошибку, комедія его много потеряла бы своей правды, если бы Жадовъ не споткнулся, потому что Жадовъ—не герой, не исключительный человѣкъ, не человѣкъ съ крѣпкими и непоколебимыми убѣжденіями, благодаря которымъ онъ могъ бы вынести всякую борьбу, погибнуть, быть заѣденнымъ, уничтоженнымъ, но никогда не сдѣлаться жертвою паденія. Жадовъ—другое дѣло. Жадовъ—это общій типъ, созданный Островскимъ, типъ, въ которомъ соединились всѣ существенныя и характеристическія черты и особенности, и въ немъ не могли не узнать себя, положа

руку на сердце, многіе и многіе изъ молодого поколѣнія того времени. Жадовъ симпатиченъ, потому что всѣ его стремленія, вѣрованія, желанія благородны до конца; въ немъ нѣтъ ничего фальшиваго, неискренняго; онъ не падаетъ, смѣясь надъ тѣми, которые борются, нѣтъ, онъ завидуетъ имъ, онъ страдаетъ, онъ самъ борется, онъ мучается съ разорваннымъ отъ боли сердцемъ, что съ презрѣніемъ къ самому себѣ онъ идетъ просить доходнаго мѣста, какъ люди идутъ на смертную казнь. Если онъ не остановился на краю пропасти и скользнулъ въ смрадную яму, то не потому, чтобы въ немъ не было желанія, охоты удержаться, а потому, чтобъ удержаться и не пасть, для этого нуженъ былъ сильный, исключительный характеръ, сильная, исключительная натура, какой не бываетъ у обыкновенныхъ смертныхъ. Жадовъ палъ, потому что онъ долженъ былъ пасть, а пасть онъ долженъ былъ потому, что та среда и то общество, въ которомъ онъ желалъ дѣйствовать, сохранили еще слишкомъ большую физическую силу, чтобы не отбить первый напоръ впервые послѣ долгаго сна пробуждавшейся нравственной силы.

Выставляя борьбу двухъ элементовъ, Островскій нарисовалъ разладъ двухъ поколѣній, стараго и новаго, и первое онъ представилъ гнилымъ, разлагающимся, но въ силу инерціи сохраняющимъ матеріальное могущество; молодое изобразилъ онъ честнымъ, благороднымъ, но далеко не окрѣпшимъ для упорной борьбы, и, вслѣдствіе этого, невольно подчиняющимся первому. Островскій показалъ на упавшемъ въ бездну Жадовѣ, какъ трудно, какъ тяжело оставаться безукоризненно честнымъ человѣкомъ въ средѣ, въ которой недостаточно развиты начала честности, и насколько цѣлое общество, какъ бы ни было оно заражено, сильнѣе отдѣльныхъ индивидуумовъ. Только тогда, когда общественное воспитаніе сдѣлаетъ значительные успѣхи,

когда Жадовы, какъ ни много въ нихъ слабости, сдѣлаются большинствомъ въ обществѣ, когда честность станетъ обыкновеннымъ началомъ въ общественныхъ отношеніяхъ, только тогда человѣкъ, не одаренный желѣзною волей, въ состояніи будетъ остаться честнымъ человѣкомъ въ силу честности самаго общества. А до тѣхъ поръ ни одинъ еще Жадовъ, послѣ борьбы и страданій, вынужденъ будетъ пасть, безъ того, чтобы за его паденіе въ него можно было бросить камнемъ. И его паденіе и онъ самъ долго будутъ вызывать еще только сожалѣніе и симпатію, потому что крѣпкому, могучему Жадову неоткуда еще было и взяться. Общественная масса, общественныя отношенія не могутъ вдругъ измѣниться, а до тѣхъ поръ, пока не измѣнились они, жизнь Жадовыхъ такъ тяжела, что за нихъ нельзя поручиться. На каждомъ шагу, каждый день, каждый часъ у нихъ впереди стояла борьба, среда давила ихъ, и они въ изнеможеніи отъ борьбы приходили къ страшному убѣжденію, что честнымъ трудомъ люди не всегда еще могутъ добиться до чего-нибудь.

Литература всегда отражала и будетъ отражать состояніе общества; его нравственный уровень всегда будетъ служить лучшимъ указателемъ, какія идеи, какія стремленія, какіе интересы наполняли собою общество; изображаемые типы всегда будутъ говорить, изъ какихъ людей состояла данная среда. Разумѣется, для того, чтобы брать произведенія и типы извѣстнаго автора, какъ мѣрило для сужденія объ обществѣ, нужно, чтобы этотъ авторъ обладалъ недюжиннымъ талантомъ. Нужна большая сила, нужно, чтобы писатель обладалъ въ высокой степени тою художественною правдой, которая позволяетъ ему различныя стороны встрѣчаемыхъ имъ лицъ, различныя черты и особенно людей его времени сливать въ то общее цѣлое, которое заслуживаетъ названія типа. Нужно, чтобъ изображаемыя имъ фигуры, выводимые имъ типы были не сколками съ

того или другого лица, а чтобы въ нихъ выразились всѣ лица извѣстнаго строя; тутъ важны не извѣстныя частности или особенности отдѣльныхъ характеровъ, а тотъ общій и сильный колоритъ, подъ которымъ пропадаютъ ничего незначащія для типа мелочи и выступаютъ крупныя и типичныя черты, которыя свойственны болѣе или менѣе всѣмъ людямъ извѣстнаго строя и извѣстной эпохи. Безъ сомнѣнія, мы не можемъ брать за мѣрило времени и людей, дѣйствующихъ въ обществѣ, всевозможныя драмы и комедіи, претендующія на изображеніе нравовъ, но которыя, въ сущности, изображаютъ ихъ настолько же, насколько какое-нибудь произведеніе въ родѣ «Гражданскаго брака»; мы не можемъ брать такихъ авторовъ, у которыхъ, вмѣсто людей, дѣйствуютъ какіе-то автоматы, у которыхъ, вмѣсто правды, на каждомъ шагу мы встрѣчаемъ только ложь да фальшь. Конечно, и такія даже произведенія, какъ та комедія, могутъ служить для характеристики людей и нравовъ, потому что если въ обществѣ, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ обстоятельствъ, нѣтъ ничего, кромѣ подобныхъ вымысловъ, то изъ этого можно сдѣлать основательное заключеніе, что общество стоитъ весьма низко въ своемъ нравственномъ развитіи. Но это будетъ только сужденіе en gros, и мы всетаки не увидимъ, ни что за люди дѣйствовали въ обществѣ, ни какими идеями руководились они, ни на основаніи какихъ принциповъ поступали они—все это способенъ дать только писатель, обладающій крупнымъ талантомъ, для котораго невозможна ни ложь ни грубый вымыселъ, который неотступно руководится живымъ обществомъ и пропитываетъ свои образы высокою художественною правдой.

Намъ, надѣемся, не нужно больше доказывать, что у Островскаго дѣйствуютъ живые люди, а не автоматы, и что онъ никогда не грѣшитъ противъ художественной правды.

Е. Утинъ.

Художественное значеніе комедіи „Свои люди-сочтемся" *).

Въ комедіи «Свои люди—сочтемся» дѣйствіе совершенно полное и развивается стройно и до такой степени органически, что вы видите самое зарожденіе страсти; эта страсть какъ зерно дуба: при васъ оно разлагается, зрѣетъ, вырастаетъ въ могучее дерево, и падаетъ съ такимъ грохотомъ, что оглушаетъ васъ. А когда начнете вникать въ созданіе характеровъ, безъ преувеличенія можете употребить сравненіе Гёте, когда онъ говоритъ о лицахъ драмъ Шекспира. И лица комедіи Островскаго, въ особенности характеръ Подхалюзина, можно сравнить съ часами: видишь, какое время показываетъ стрѣлка, и можешь смотрѣть на дѣйствіе пружинъ, которыя приводятъ все въ дѣйствіе.

Мало будетъ, если мы скажемъ, что всѣ характеры созданы истинно художественно; болѣе всего они поражаютъ тѣмъ, что кажутся самымъ вѣрнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительныхъ лицъ. Поэтическій вымыселъ превращается въ совершенную дѣйствительность и производитъ полное очарованіе особенно потому, что дѣйствующія лица говорятъ языкомъ небывалымъ въ

---

*) Изъ публичной лекціи кіевскаго профессора Селина, помѣщенной въ „Университетскихъ Извѣстіяхъ" 1868 г. *Зелинскій*, 3. *Денисюкъ*, 3.

русской литературѣ до появленія комедіи «Свои люди— сочтемся». Этотъ языкъ совсѣмъ не то, что у многихъ нашихъ современныхъ писателей, желающихъ выражаться какъ можно ближе къ народной рѣчи; вы замѣчаете, что они не просто подслушивали, а въ областной словарь заглядывали, а потому и выходитъ, что такая народная рѣчь представляется нанизанною съ большимъ или меньшимъ искусствомъ подобранными словами. Въ комедіи Островскаго такой языкъ и стиль, и такъ органически, такъ кровно связанъ съ характеромъ, что дѣйствительныя лица изображаемой среды, каждое изъ нихъ сказало бы: «это— кость отъ костей моихъ и плоть отъ плоти моей».

Островскій въ литературѣ нашей можетъ быть названъ Христофоромъ Колумбомъ купеческаго міра: никто не изображалъ его въ такой полнотѣ, въ такомъ разнообразіи и съ такою художественною правдой. Авторъ отворяетъ читателю всѣ двери, и онъ можетъ слѣдить за этими лицами на всѣхъ путяхъ: за ихъ дѣйствіями въ средѣ общественной, за ихъ жизнью въ кругу семейномъ, наконецъ, можетъ свободно входить въ ихъ личный, внутренній міръ, полный разнообразныхъ интересовъ, желаній, стремленій и плановъ. Прежде мы войдемъ въ семейный міръ людей этого сословнаго круга, а потомъ познакомимся съ ними какъ съ дѣятелями общественными.

Большовъ весь проникнутъ сознаніемъ силы, важности и значенія капитала. Объявляя свою волю отдать дочь въ замужество, онъ говоритъ: «и въ разсужденіи приданаго тоже можемъ надѣяться, что она не осрамитъ нашего капитала»; ясно, что въ глазахъ Большова денежная сила имѣетъ значеніе важнаго званія и чина. Только поэтому Самсонъ Силычъ обращается съ подавляющимъ презрѣніемъ съ бѣднымъ чиновникомъ, даже тогда, когда нуждается въ немъ: «а

что, Сысой Псоичъ, чай, ты съ этимъ крючкотворствомъ на своемъ вѣку много чернилъ извелъ?» Стряпчій замѣчаетъ, что онъ пришелъ понавѣдаться. «То-то вотъ, вы, подлый народъ такой, кровопійцы какіе-то: только бъ вамъ пронюхать что-нибудь эдакое, такъ ужъ вы и вьетесь тутъ съ вашимъ дьявольскимъ наущеніемъ». Устинья Наумовна, неподражаемый типъ московской свахи, женщина бывалая, бойкая, разбитная, сама сидитъ на четырнадцатомъ классѣ, а и та преклоняется передъ Самсономъ Силычемъ: «съ богатымъ мужикомъ, что съ чортомъ, не сообразишь». Она соблазняется приманкою золота и соболей за то, чтобы только разстроить свадьбу, но страхъ какъ боится Большова: «ну, ты самъ разсуди, съ какимъ я рыломъ покажусь самому-то? Вѣдь ты знаешь, каково у насъ чадочко Самсонъ-то Силычъ: вѣдь онъ, не ровенъ часъ, и чепчикъ помнетъ». Большовъ устроилъ помолвку дочери съ приказчикомъ, но и къ будущему зятю обращается съ недосягаемой высоты; онъ хочетъ соединить ихъ руки, но и въ эту торжественную минуту не измѣняетъ своего высокомѣрнаго тона: «ну, теперь ты, Лазарь, ползи!» О дочери своей Большовъ говоритъ не какъ отецъ, а какъ денежный вельможа: «понимаемъ, что отецъ, что пристали, отстаньте, гусь свиньѣ не товарищъ». Потонувшій въ довольствѣ и богатствѣ, Большовъ запамятовалъ и о Богѣ; если и вспомнитъ Его, то пріемлетъ имя Его всуе, обращается къ Нему съ видомъ кощунства; сбудется зато на немъ пословица: громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится». Рѣшаясь на дѣло безчестное—не платить довѣрителямъ, онъ не убоялся закончить свой замыселъ неподобными словами: «тамъ послѣ суди Владыка на второмъ пришествіи». Въ немъ даже проглядываетъ какой-то грубый матеріализмъ, правда, темный; но вы видите, что у этого зазнавшагося богача и религіозные помыслы потемнѣли

отъ жира: «вотъ она жизнь-то; истинно сказано: суета суетъ и всяческая суета. Чортъ знаетъ, и самъ не разберешь, чего хочется. Вотъ бы и закусилъ что-нибудь, да обѣдъ испортишь; а и такъ-то сидѣть, одурь возьметъ. Али, чайкомъ бы что ли побаловать. Вотъ такъ-то и все: жилъ, жилъ человѣкъ, да вдругъ и померъ—такъ все прахомъ и пойдетъ». И больше машинально, по памяти и привычкѣ, прибавляетъ: «Охъ, Господи, Господи!»

Вторая сила Большова—власть отца. Родительская власть древней патріархальной Руси у Большова выродилась въ тотъ грубый деспотизмъ, который такъ мѣтко названъ самодурствомъ. Жена не смѣетъ передъ нимъ пикнуть; заплачетъ она, онъ ей скажетъ: «сама не знаешь, о чемъ разрюмилась», и она плачетъ и подтверждаетъ: «не знаю, батюшка, охъ, не знаю».—То-то вотъ, сдуру. Слезы у васъ дешевы.—«Охъ, дешевы, батюшка, дешевы». Дочь боится его, хотя тайно въ душѣ презираетъ; мать она презираетъ открыто и нагло грубитъ ей, и та грозитъ ей только отцомъ: «пойду къ отцу, такъ въ ноги и брякнусь, житья, скажу, нѣтъ отъ дочери, Самсонушка». На дочь и на будущность ея онъ смотритъ, какъ на вещь, которую можетъ помѣстить куда заблагоразсудитъ, гдѣ для него лучше и удобнѣе, и жениха ей выбираетъ не по ней, а по себѣ. Онъ, пожалуй, не прочь благороднаго, но когда это ему мѣшаетъ, такъ онъ прямо говоритъ: «а ну его! По моимъ дѣламъ теперь не такого нужно». Когда дочь, воспользовавшись тѣмъ, что онъ былъ въ духѣ, рѣшилась высказать передъ нимъ завѣтное желаніе свое—выйти замужъ за военнаго, мать чуть не пришла въ ужасъ: «акстись, безумная, Христосъ съ тобою!» Но Большовъ даже не разсердился, а посмотрѣлъ на это какъ на извинительное ребячество, какъ на игру въ мыльные пузыри, и скорѣе снисходительно разсмѣялся: «Экъ,

вѣдь, что вывезла!» Приказчикъ глубоко понялъ, какъ важенъ для него этотъ грубый видъ родительскаго авторитета: онъ очень хорошо знаетъ, какъ и когда надо пользоваться такимъ самодурствомъ, и потому съ большимъ искусствомъ ударяетъ въ эту слабую струну и ударяетъ съ тѣмъ, чтобы Самсонъ Силычъ самъ взялъ его въ зятья: «Алимпіяда-то Самсоновна, можетъ-быть, и глядѣть-то на меня не захотятъ-съ?»

— Важное дѣло! Не плясать же мнѣ по ея дудочкѣ на старости лѣтъ: за кого велю, за того и пойдетъ! Мое дѣтище: «хочу—съ кашей ѣмъ, хочу—масло пахтаю». Онъ обѣщалъ Лазарю подшутить надъ семьей шутку, и, дѣйствительно, собравши всѣхъ, и своихъ и чужихъ, совершенно неожиданно объявляетъ Лазаря и Липочку женихомъ и невѣстой. Всѣ до единаго остолбенѣли: и жена, и дочь, и ключница, и сваха; никто ничего понять не можетъ. Мать затмилась, словно чуланъ какой: «Господи, да что же это такое?» Дочь и въ испугѣ и въ негодованіи вскрикиваетъ, какъ могли выдумать подобный вздоръ, не пойдетъ она за такого противнаго. Ошеломленная Ѳоминична восклицаетъ: «съ нами крестная сила!» И сваха стала втупикъ: «вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день!» Этой минутой всеобщаго возбужденія какъ нельзя лучше пользуется Подхалюзинъ, и еще сильнѣе ударяетъ въ слабую струну самодура: «Тятенька! Видно, не бывать-съ по вашему желанію!»

— Какъ же не бывать, коли я того хочу? На что жъ я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что ли я ее кормилъ?

— Гдѣ это видано, чтобы воспитанныя барышни выходили за своихъ работниковъ?

— Молчи лучше. Велю, такъ и за дворника выйдешь.

Наконецъ мать не вытерпѣла, кровь заговорила:—Да за что жъ вы это, душегубцы, дѣвку-то опозорили?

— Да очень мнѣ нужно слушать вашу фанаберію.

Захотѣлъ выдать дочь за приказчика, и поставлю на своемъ, и разговаривать не смѣй; я и знать никого не хочу.

Таковъ Самсонъ Силычъ Большовъ, какъ денежная власть и какъ домовладыка. Мы еще встрѣтимся съ нимъ на другомъ поприщѣ.

Аграфена Кондратьевна—женщина допетровской Руси. Въ старину русская нація по понятіямъ и воззрѣнію на міръ точно такъ же, какъ и по языку, была какъ одинъ человѣкъ; поэтому и ключница Ѳоминична можетъ быть названа продолженіемъ Аграфены Кондратьевны; обѣ онѣ—какъ бы одно тѣло, одинъ духъ; съ дочерью у Большовой несравненно менѣе родственнаго, нежели съ ключницей; вся разница въ томъ, что одна приказываетъ, а другая слушаетъ, исполняетъ. Вопреки мужу, Аграфена Кондратьевна отличается набожностью, даже не ѣстъ мясного по понедѣльникамъ; вотъ отчего она вышла изъ себя, когда увидала, что дочь, ни свѣтъ ни заря, не поѣвши хлѣба божьяго, грѣховодничаетъ, принялась за пляску. Богатство не измѣнило ея прежнихъ привычекъ и обычаевъ; занятыхъ у русскихъ— французовъ она не знаетъ. Женихъ проситъ позволенія поцѣловать у ней руку; она со всѣмъ патріархальнымъ простодушіемъ подаетъ ему обѣ: «цѣлуй, батюшка, обѣ чистыя». Очень естественно поэтому ея смущеніе и безпокойство въ ожиданіи благороднаго жениха: «сама ты, мать, посуди, что я буду съ благороднымъ-то зятемъ дѣлать? Я и слова-то сказать съ нимъ не умѣю, точно въ лѣсу». Она буквально послушна слову апостола: «Жена да боится своего мужа»; особенно она боится его тогда, когда онъ въ гнѣвѣ или не трезвъ; развоюется такъ, страсти, да и только. Посуду колотитъ:«у! говоритъ, такія вы и эдакія, убью сразу!» Только за дочь не смолчитъ она и подчасъ возвыситъ голосъ передъ мужемъ. Большовъ не велитъ приста-

вать съ дочерью; по его мнѣнію, нечего ей хотѣть, когда она обута, одѣта, накормлена. Совершенно справедливо возстаетъ мать противъ такого грубаго понятія о чадолюбіи и очень рѣзко, чуть не съ бранью, выговариваетъ мужу: «Да ты, Самсонъ Силычъ, очумѣлъ что ли? По христіанскому закону всякаго накормить слѣдствуетъ..., а вѣдь это родная дѣтище... Разставаться скоро приходится, а ты и слова добраго не вымолвишь... долженъ бы на пользу посовѣтовать что-нибудь такое житейское». Но когда преступникъ Большовъ, несчастный отецъ, сидитъ между двухъ коршуновъ, между зятемъ и дочерью, тогда эта ограниченная женщина дѣйствуетъ на васъ, какъ теплое дыханіе любви въ ледяной атмосферѣ эгоизма. Безсердечіе дочери, возмутительная неблагодарность зятя въ этой кроткой душѣ подняли страшную бурю. Тутъ только она высказала, что давно у ней лежало камнемъ на сердцѣ: одну дочь Богъ далъ, и ту послалъ въ наказаніе. За кровную обиду мужа, безжалостно наносимую неблагодарными дѣтьми, она снимаетъ материнское благословеніе съ зятя, и дочь, свою кровь, готова проклясть на всѣхъ соборахъ: «умрешь—не сгніешь!» восклицаетъ она въ изступленіи, отрекаясь отъ своего рожденія. Самая простая, обыденная женщина внезапно передъ вами преображается горемъ, какъ ударомъ молніи, и васъ уже невольно поражаетъ величавый образъ матери, одушевленной праведнымъ гнѣвомъ и вооруженной проклятіемъ на дѣтей за нечестье къ родителямъ. Совершенно чуждая вамъ по своимъ понятіямъ и интересамъ, она становится близкимъ, родственнымъ вамъ существомъ, какъ человѣкъ, какъ женщина, облагороженная состраданіемъ, любовью и праведнымъ негодованіемъ за поруганіе святѣйшихъ правъ человѣческихъ.

Липочка—отвратительна и глубоко возмущаетъ нравственное чувство. Подхалюзину, какъ приказчику и

какъ влюбленному, она представляется совершенствомъ недосягаемымъ; онъ такъ ее опредѣляетъ: «Алимпіяда Самсоновна—барышня образованная, какихъ въ свѣтѣ нѣтъ»; прозаичнѣе и вѣрнѣе смотритъ на нее сваха: «воспитанія не Богъ знаетъ какого; пишетъ какъ слонъ брюхомъ ползетъ; по-французскому али на фортепьянахъ тоже сямъ, тямъ, да и нѣтъ ничего». Но главное сдѣлано: учили всему сказанному и танцовать. Какъ же поэтому она, такая образованная барышня, можетъ жить съ подобными родителями? Липочка въ глаза говоритъ матери, что она сама для нея не очень значительна; что отъ словъ матери ей даже краснѣть приходится. Правда, родили ее, она была дитя безъ понятія; а какъ выросла да посмотрѣла на свѣтскій тонъ, такъ и увидѣла, что она образованнѣе другихъ, и потому напрямикъ говоритъ своей родительницѣ, что не намѣрена потакать ея глупостямъ: «Вамъ съ тятенькой только кляузы строить да тиранничать... Ужъ молчали бы лучше, когда не такъ воспитаны». Липочка питаетъ полное презрѣніе къ отцу и матери—къ этой открытое, но отца и презираетъ и боится. Идеалъ Олимпіады Самсоновны долженъ быть не какой-нибудь приказный и даже не студентъ; штатскій въ глазахъ ея—такъ, какой-то неодушевленный. Ее плѣняютъ усы, и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками; ей даже досадно, что они въ танцахъ отвязываютъ саблю, не понимаютъ, какъ блеснуть очаровательнѣе. Если уже не это, такъ женихъ ея долженъ быть по крайней мѣрѣ благородный, а не купчишка какой-нибудь, и притомъ, чтобы непремѣнно былъ брюнетъ и одѣтъ по-журнальному... И вдругъ она падаетъ, какъ съ облаковъ: отецъ, вмѣсто взлелѣяннаго ею идеала, подводитъ къ ней приказчика, работника!—Обругавши своего жениха дуракомъ необразованнымъ, образованная Олимпіада Самсоновна слышитъ отъ него вещи стран-

ныя, неимовѣрныя: у этого дурака и денегъ-то больше, чѣмъ у иного благороднаго; домъ и лавки уже не отцовскія, а его собственныя; наконецъ, узнаетъ, что ея отецъ несостоятельный должникъ, банкротъ. Пораженная окончательно, дочь, вмѣсто жалости къ родителямъ, имъ же въ лицо бросаетъ несчастіемъ и позоромъ: «Что же это такое со мною дѣлаютъ? Воспитывали, воспитывали, и потомъ обанкрутились!»—По этой страшной нотѣ вы чувствуете, что въ этой дѣвушкѣ спитъ и уже пробуждается чудовище. Въ душѣ она уже рѣшила выйти за этого, какъ она говоритъ, работника; ей теперь надо только сохранить приличіе, не показать сразу, что она продаетъ себя за деньги. Она раздумываетъ, а Подхалюзинъ въ это время рисуетъ ей купеческій эдемъ: дома она будетъ ходить въ шелковыхъ платьяхъ, въ гости и въ театръ, окромя бархатныхъ, и надѣвать не станетъ. «Шляпы, салопы, прочь всѣ дворянскія приличія, надѣнемъ какую чуднѣй: нешто въ этомъ домѣ будемъ жить? На потолкахъ райскихъ птицъ нарисуемъ, сиреновъ, капидоновъ разныхъ...»

— Нынче ужъ капидоновъ-то не рисуютъ.

— Ну такъ мы пукетами пустимъ.

И Олимпіада тонко, съ бездушнымъ расчетомъ, спускается съ тона на тонъ, сходитъ съ высоты своего идеала осторожно, какъ съ крутой лѣстницы, все ниже и ниже, чтобы сгладить по возможности рѣзкость перехода. Прежде она возражаетъ какъ будто общимъ мѣстомъ: «да вы всѣ передъ свадьбой такъ говорите, а тамъ и обманете»; потомъ обращается, и уже гораздо мягче, къ нему лично: «для чего вы, Лазарь Елизарычъ (замѣтьте, уже не дуракъ необразованный), для чего вы по-французски не говорите?—Жилетка у васъ скверная. Дайте подумать.—Увезите меня потихоньку».—Перебравши столько нотъ, чтобы не сразу, не краснѣя спуститься до уровня съ приказчикомъ, она нашла, нако-

нецъ, приличнымъ изъявить свое согласіе: «ну, а коли не хотите увезти—такъ ужъ, пожалуй, и такъ». Тотъ было опрометью бросился къ родителямъ—объявить имъ радость; но невѣстѣ, благовидно сторговавшейся, нечему особенно радоваться; она удерживаетъ жениха не ради сердечныхъ изліяній, а для того, чтобы повѣрить ему всѣ свои чувства къ отцу и матери: «ахъ, если бъ вы знали, Лазарь Елизарычъ, какое мнѣ житье здѣсь! У маменьки семь пятницъ на недѣлѣ; тятенька, какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибьетъ того и гляди. Каково это терпѣть образованной барышнѣ! Вотъ кабы я вышла за благороднаго, такъ я бы и уѣхала изъ дому и забыла бы обо всемъ этомъ».—И они уже въ заговорѣ... перейдутъ въ свой домъ, будутъ жить сами по себѣ, заведутъ все по модѣ, а тѣ какъ хотятъ.

Лазарь больше походитъ на человѣка, нежели эта противоестественная дочь; и въ немъ при видѣ тестя, убитаго горемъ и стыдомъ, даже въ немъ забрезжитъ лучъ человѣческаго чувства. Но дочь униженному, опозоренному, темничнику-отцу отказываетъ въ выкупѣ его же собственнаго добра; изъ захваченныхъ ея мужемъ денегъ она не можетъ дать своему родителю больше десяти копеекъ за рубль... съ чѣмъ же они сами останутся, вѣдь, они не мѣщане какіе-нибудь; до двадцати лѣтъ она свѣта не видѣла; неужели ей отдать за отца деньги, а самой въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?..

Лазарю и тому стало жаль отца своей жены: «эхъ, Алимпіада Самсоновна-съ, не ловко-съ!» Онъ хочетъ самъ ѣхать къ кредиторамъ, спрашиваетъ ея совѣта... а она молчитъ, молчитъ тогда, когда бездушная статуя поднялась бы, кажется, съ своего пьедестала и пошла бы человѣческими шагами! Не выдержалъ Лазарь, самъ, наконецъ, сказалъ: «ѣду». Скажетъ ли она хоть какое доброе слово... поощренія, одобренія, хоть

бы согласія?—Она поднялась и уходя проговорила: «какъ хотите, такъ и дѣлайте,—ваше дѣло». И гнусныя твари, говоритъ король Лиръ, кажутся сносными, когда другіе еще гнуснѣе: не быть подлѣйшимъ уже есть заслуга.—Неблагодарный злодѣй, ограбившій своего благодѣтеля, безчестный Подхалюзинъ, и тотъ лучше Олимпіады, этого неженоподобнаго творенія.

Вызовемъ теперь эти лица, какъ общественныхъ дѣятелей, а это связано съ замысломъ траги-комедіи и съ развитіемъ дѣйствія.

Прочитавши «Свои люди—сочтемся», съ перваго раза вы придете въ большое недоумѣніе и невольно спросите: чего ради почтенный купецъ, которому сорокъ лѣтъ всѣ кланялись въ поясъ, на старости лѣтъ задумалъ дѣло преступное—злостное банкротство? Еще въ большее недоумѣніе повергаетъ васъ то, что онъ не самъ воспользовался чужою собственностью, а отдалъ ее вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ другимъ, зятю и дочери, и себѣ ничего не оставилъ. И при самомъ чтеніи рождается въ васъ и не разъ возникаетъ это возраженіе, такъ что отъ него трудно отвязаться, и вы готовы повторить слова Подхалюзина: «Самсонъ Силычъ—купецъ богатѣйшій, и теперича все это дѣло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затѣялъ». Спеціалистамъ очень хорошо извѣстны подобныя явленія въ исторіи поэзіи, этотъ камень претыканія для эстетической критики. Почти такимъ же образомъ, только въ дѣлѣ правомъ и совершенно чистомъ, у Шекспира поступилъ король Лиръ, въ сценѣ раздѣла царства, которую Гёте не убоялся назвать нелѣпою. Но лучшая современная критика старается оправдать Шекспира и если не уничтожить совсѣмъ, то, по крайней мѣрѣ, какъ можно болѣе, ослабить строгій приговоръ нѣмецкаго поэта. Въ оправданіе она говоритъ, что такъ

разсказываетъ преданіе, потомъ указываетъ и на психическія причины: бремя величія, постоянное зрѣлище раболѣпства, пышныя торжества и шумныя пиршества утомили царственнаго старца; а закоренѣлая привычка повелѣвать заставила его *такъ*, а *не иначе* раздѣлить королевство. Лиръ хочетъ потѣшить старческое сердце, слушая покорныя признанія дочерей; наконецъ, можно думать, что старецъ-король, ожидавшій отъ Корделіи самыхъ нѣжныхъ изліяній, хотѣлъ оправдать себя передъ старшими дочерьми, отдавая ей большую и лучшую часть, и, безъ сомнѣнія, хотѣлъ у ней провести послѣдніе дни жизни и умереть на рукахъ любимѣйшей изъ дочерей. По мнѣнію нашему, этимъ далеко не все сказано; самое главное оправданіе такихъ видимыхъ несообразностей—а ихъ не мало у Шекспира—состоитъ въ томъ, что у этого геніальнаго драматурга *событія, характеры лицъ, ихъ мысли и дѣйствія*, несмотря ни на преданія ни на исторію, созидались въ мірѣ воображаемаго, т.-е. возможнаго порядка вещей. Но Островскій взялъ содержаніе своей траги-комедіи изъ современнаго дѣйствительнаго міра, изъ извѣстной дѣйствительной среды, и потому величайшая, повидимому, несообразность поражаетъ еще болѣе: похищеніе чужого и въ то же время отреченіе не только отъ похищеннаго, но и отъ своего собственнаго. Человѣкъ въ одно и то же время поступаетъ грабительски и самоотверженно. Признаемся, и мы желали бы лучшей, болѣе прочной закладки въ художественномъ зданіи Островскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ беремся и оправдывать автора. Во-первыхъ, въ самой комедіи есть оправданіе противъ этого обвиненія: на кого же Большовъ записалъ бы имущество, готовясь объявить себя несостоятельнымъ должникомъ? И не естественнѣе ли всего ввѣриться Лазарю, облагодѣтельствованному имъ съ дѣтства. Увѣренность свою Большовъ думалъ

несокрушимо утвердить родственнымъ союзомъ; а что онъ положился на совѣсть и на благодарность приказчика, имъ обогащеннаго и возвеличеннаго до зятя, такъ это не только возможно, но и говоритъ весьма сильно въ пользу Большова, не совсѣмъ еще испорченнаго нравственно. Во-вторыхъ, этотъ человѣкъ съ необыкновенно упорнымъ характеромъ, а Подхалюзинъ глубоко изучилъ его, и съ этой стороны знаетъ его вдоль и поперекъ: «у нихъ такое заведеніе, коли имъ что попало въ голову, ужъ ничѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно какъ въ четвертомъ году захотѣли бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали,—нѣтъ, говоритъ, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили». Въ-третьихъ, есть и психическія причины: Большовъ зараженъ болѣзнью стяжанія, его томитъ жажда золота; онъ чувствуетъ страхъ и боль при одной мысли, что долженъ своими руками отдать это золото кредиторамъ: «вотъ теперь приходится много денегъ платить, говоритъ онъ стряпчему, и не то, чтобы у меня ихъ не было, а признаться тебѣ сказать, не хочется. Пожалуй, расплатиться можно, да себѣ-то, глядишь, ничего и не останется. Вотъ какъ теперь деньги-то всѣ въ рукахъ, такъ отдавать-то и жалко. Ты этого и понять-то не можешь, потому что ты такихъ денегъ сроду не видывалъ. Какъ вспомню, что отдавать надобно, такъ вотъ за сердце схватитъ,—инда нездоровъ сдѣлался. Тьфу, вы окаянныя! (съ волненіемъ въ голосѣ). Кажется, вотъ... ну вотъ... задушилъ бы кого-нибудь». Въ силу этого опаснаго недуга, въ глазахъ Большова замужество дочери, нераздѣльное съ приданымъ, становится весьма важною побудительною причиною—не покидать замысла, не останавливаться на половинѣ дороги. Итакъ, въ-четвертыхъ, еще причина—замужество дочери: «тамъ что хошь говори, а у меня дочь невѣста, хоть сейчасъ

изъ полы въ полу, да съ двора долой». Въ-пятыхъ, есть побужденія, въ немъ самомъ лежащія: и его утомила тяжелая, неугомонная торговая дѣятельность, отяжелѣлъ Большовъ, какъ маршалы Наполеона, и захотѣлъ погрузиться въ покойное довольство: «да и самому отдохнуть пора, проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ чорту». А можетъ-быть, его устыдитъ окружающая среда? Не поддержитъ ли кто падающаго человѣка? Не отведетъ ли благодѣтельная, невидимая рука тучу искушеній, повисшую надъ головой еще не преступнаго Большова? Хоть бы самъ онъ крикнулъ, какъ богатырь русской сказки: «есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?» Но кругомъ его пусто и глухо, даже, напротивъ, все наталкиваетъ на соблазнъ и преступленіе, и Большовъ, къ несчастью, видитъ это очень ясно: «и другіе дѣлаютъ. Да еще какъ дѣлаютъ-то: безъ стыда, безъ совѣсти! На лежачихъ лесорахъ ѣздятъ, въ трехъэтажныхъ домахъ живутъ; другой такой бельведеръ съ колонами выведетъ, что ему съ своей образиной и войти-то туда совѣстно; а тамъ и капутъ, и взять съ него нечего. Коляски эти разъѣдутся неизвѣстно куда, дома всѣ заложены, останется ль кредиторамъ-то старыхъ сапоговъ пары три. Вотъ тебѣ вся недолга. Да еще и обманетъ-то кого: такъ бѣдняковъ какихъ-нибудь пуститъ въ одной рубашкѣ по міру. А у меня кредиторы всѣ люди богатые, что имъ сдѣлается!» Итакъ, еще причина, и притомъ одна изъ самыхъ важныхъ: въ самомъ обществѣ, вмѣсто поддержки отъ паденія, Большовъ нашелъ не только извиненіе, но и оправданіе беззаконнаго дѣла, почти поощреніе къ нему. Лазарь доказываетъ хозяину, что сидѣльцы знаютъ сноровку: «покупатель что ли тумакъ подвернулся, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, взялъ, говорю, да и накинулъ рубль или два на аршинъ». Большовъ, при этомъ случаѣ, не преминулъ указать и на

нѣмцевъ: «чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ». Лазарь насквозь видитъ своего хозяина, и очень хорошо понимаетъ, къ чему клонятся эти рѣчи; онъ втайнѣ радуется такому настроенію, и въ отвѣтахъ даетъ понять, что онъ ничуть не прочь отъ участія въ мошенничествѣ, и потому продолжаетъ: «и мѣрять-то, говорю, надо поестественнѣе... а зазѣвается, такъ кто виноватъ, можно и просто черезъ руку лишній аршинъ шмыгнуть». Большовъ снова обращается къ примѣру: «все единственно,—вѣдь, портной украдетъ же. А? Украдетъ, вѣдь?» И Ризположенскій, пришедшій, какъ онъ выразился, понавѣдаться, поспѣшилъ также подтвердить: «украдетъ, Самсонъ Силычъ, безпремѣнно, мошенникъ, украдетъ; ужъ я этихъ портныхъ знаю». Стряпчій, для залога дома, совѣтуетъ искать такого человѣка, чтобы совѣсть зналъ. «А гдѣ ты его найдешь нынче, возражаетъ Большовъ, нынче всякій норовитъ, какъ тебя за воротъ схватить, а ты совѣсть захотѣлъ»! Какая же нравственная опора можетъ быть въ такой средѣ для совѣсти шаткой, и гдѣ же тутъ искать поддержки человѣку, настроенному и готовому на преступленіе? Ко всему этому присоединяется новое обстоятельство, еще болѣе подстрекающее Большова и наносящее новый сильный ударъ его совѣсти: приказчикъ принесъ газеты, а въ нихъ цѣлый рядъ знакомыхъ, купцы первой и второй гильдій, и ихъ такъ много, что Большову не перечитать и до завтрашняго дня; всѣ они объявляются несостоятельными должниками.

Наконецъ, Большовъ самъ себѣ накликалъ двухъ демоновъ-искусителей, которые съ радостью готовы увлечь его на путь беззаконія. Одинъ—демонъ бѣдности, стряпчій Ризположенскій; онъ ищетъ поживы, готовъ изъ-за нея на всяческія услуги, и, хлопоча собственно для

себя, соблазняетъ Большова своимъ мастерствомъ устраивать подобныя дѣла, и ему обѣщаетъ такую механику подсмолить, что оглядокъ уже не будетъ. Другой искуситель еще обаятельнѣе и потому еще болѣе опасный—приказчикъ Лазарь. Онъ давно проникъ въ умыселъ хозяина, издалека, совершенно незамѣтно, увлекаетъ его, но дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ. Глухо ведутъ они разговоръ, какъ будто боятся еще произнести или обнаружить, что замышляютъ злостное банкротство. Эта сцена замѣчательна какъ по художественности своей, такъ и по психической вѣрности. Вслѣдъ за разговоромъ начинается рядъ обмановъ, вѣроломствъ и предательствъ. Большовъ обѣщалъ стряпчему за всю механику тысячу рублей и енотовую шубу. Подхалюзинъ тайкомъ отъ хозяина обѣщаетъ тому же Ризположенскому двѣ тысячи, чтобы укрѣпить за собою домъ и лавки; свахѣ тоже двѣ тысячи и соболью шубу только за то, чтобы разстроить свадьбу, и все это обѣщано съ тѣмъ, чтобы воспользоваться всѣмъ и вѣроломно обмануть и хозяина, и стряпчаго, и сваху.

Несмотря на то, что Лазарь достаточно уже опуталъ свою жертву, получилъ закладную на домъ и лавки, ему все еще кажется, что онъ только расшаталъ Большова. Чтобы добить его окончательно, онъ ловкой рукой ударяетъ снова въ двѣ чувствительныя струны, раздражаетъ корыстолюбіе и упорство своего хозяина; приступаетъ къ нему съ видомъ жалобы на стряпчаго, какъ будто съ негодованіемъ говоритъ, что эта чернильная душа даетъ дурной совѣтъ—объявиться несостоятельнымъ.

— Что жъ, объявиться, такъ объявиться—одинъ конецъ.

— Ахъ, Самсонъ Силычъ, что это вы изволите говорить.

— Что жъ, деньги заплатить? Да съ чего же ты это

взялъ? Да я лучше все огнемъ сожгу, а ужъ имъ ни копейки не дамъ. Перевози товаръ, продавай векселя, пусть тащутъ, воруютъ, кто хочетъ, а ужъ я имъ не плательщикъ.

Мы старались въ самомъ произведеніи отыскать все, что только можетъ служить оправданіемъ автора, и указали на всѣ, кажется, причины, которыя можно привести на возраженія критики противъ возможности замысла, какъ главной основы драматическаго дѣйствія; тѣмъ не менѣе не можемъ не повторить, что желали бы болѣе прочной, непоколебимой закладки для этого великолѣпнаго литературнаго зданія.

Подхалюзинъ, съ неподражаемымъ искусствомъ играющій на душѣ Большова, перебралъ на всѣ лады этотъ послушный ему инструментъ и теперь приступаетъ къ самой отдаленной, послѣдней своей цѣли. Для этого онъ подходитъ къ Большову съ противоположной стороны, начинаетъ его пугать несчастнымъ исходомъ дѣла: если, напримѣръ, придерутся, потянутъ въ судъ, да отнимутъ имѣніе; Аграфена Кондратьевна, а въ особенности Олимпіада Самсоновна, барышня образованная, останутся ни при чемъ, должны будутъ терпѣть голодъ и холодъ?.. И онъ до того увлекся созданной имъ картиной бѣдствія, что какъ будто самъ ея испугался такъ, что ударился въ слезы: Лазарь плачетъ отъ жалости къ птенцамъ беззащитнымъ. Что жъ дѣлать? Надобно, по крайней мѣрѣ, образованную барышню заранѣе пристроить за хорошаго человѣка, да чтобы она была за нимъ, какъ за каменной стѣной; а вонъ тотъ женихъ, что сватался изъ благородныхъ-то, и оглобли назадъ поворотилъ; и ужъ мы знаемъ, что за этотъ поворотъ самъ же Подхалюзинъ обѣщалъ свахѣ двѣ тысячи рублей и соболью шубу.

И бѣдная жертва до того заслушалась поющей сирены, что сама бросается въ объятія чудовища. Этимъ послѣд-

нимъ маневромъ, который сдѣлалъ бы честь любому іезуиту, Лазарь довелъ Большова до того, что тотъ собственными руками отдаетъ ему и дочь и все добро свое: самъ будетъ за него сватомъ и на него же переводитъ все свое имущество. До сихъ поръ дѣйствіе, какъ и нужно, шло медленно, ровнымъ, тяжелымъ шагомъ; теперь ходъ его видимо ускоряется. И съ внутренней стороны драма рѣзко измѣняется: изъ комедіи быстро переходитъ въ трагедію; въ трехъ первыхъ дѣйствіяхъ смѣхъ смѣнялся иногда весьма серьезнымъ лицомъ, въ послѣднемъ онъ уже переходитъ въ жалость, сострадaніе и ужасъ. Прежде всего авторъ поражаетъ васъ художественнымъ созданіемъ противоположностей: счастливые супруги блаженствуютъ въ богатомъ домѣ, а отецъ, отдавшій имъ эти палаты со всѣмъ имѣніемъ, и своимъ и чужимъ, сидитъ въ ямѣ. Онъ пресыщается стыдомъ, а дочь его, теперь уже Подхалюзина, украшенная шелковою блузою послѣдняго фасона, покоится въ роскошномъ положеніи; супругъ ея въ модномъ сюртукѣ охорашивается передъ зеркаломъ; къ полному его удовольствію, Тишка подтверждаетъ, что онъ похожъ на француза, какъ двѣ капли воды. Супруги строятъ планы: онъ выучится танцовать; зимой будутъ ѣздить въ купеческое собраніе, будутъ полькировать. Коляска сторгована за тысячу рублей, столько же стоятъ лошади, серебряная сбруя; поѣдутъ они въ паркъ, въ Сокольники, а публика пущай смотритъ.

«Что это вы меня не поцѣлуете, Лазарь Елизарычъ?»

Онъ проситъ сказать ему что-нибудь на французскомъ діалектѣ, «такъ-съ, самую малость», и узнавши, что сказанная фраза значитъ по-русски: какъ вы милы, въ совершенномъ упоеніи. Они наслаждаются на лаврахъ, безчестно пожатыхъ, и ни единаго слова о бѣдномъ отцѣ, ни дочь ни зять, поднятый изъ праха.

Но карающая Немезида уже давно подстерегаетъ эти

минуты самозабвенія; грозной тучей виситъ она надъ преступными головами и скоро разразится громомъ: надъ дѣтьми за неблагодарность и нечестіе къ родителямъ, надъ отцомъ—за тайное беззаконіе. Вся эта сцена, какъ истинное подобіе грознаго судилища, поражаетъ зрителя ужасомъ и состраданіемъ. Первый фіалъ Божьяго гнѣва преступный, несчастный отецъ долженъ принять изъ рукъ дочери и зятя, котораго онъ возвысилъ изъ ничтожества и осыпалъ благодѣяніями. Лазарь еще въ сидѣльцахъ былъ нечистъ на руку; Большовъ это замѣчалъ, и не разъ, но не ославилъ его, не прогналъ отъ себя, а сдѣлалъ главнымъ приказчикомъ, отдалъ ему все состояніе и, наконецъ, свою дочь, на которую тотъ и глядѣть едва ли бы осмѣлился. И вотъ теперь, вмѣсто того, чтобы всѣмъ пожертвовать для спасенія своего благодѣтеля и отца отъ несчастія и позора, онъ едва не издѣвается надъ нимъ, когда старикъ, убитый горемъ и безсердечіемъ, потерялъ человѣческое терпѣніе и назвалъ ихъ змѣями подколодными: «тятенька захмелѣлъ маленько». Дочь убиваетъ его окончательно, когда наотрѣзъ сказала, что больше десяти копеекъ за рубль не дадутъ ему, и нагло дала понять, чтобы отецъ отвязался, наконецъ. Кромѣ чудовищной неблагодарности дѣтей, Большовъ обреченъ на другое тяжкое наказаніе: онъ преданъ общественному позору; точно грѣшную душу дьяволы по мытарствамъ тащатъ, когда ведутъ его на поруганіе по Ильинкѣ, и эта улица кажется ему за сто верстъ. Этого мало, и совѣсть возстаетъ на виновнаго, пугая его призраками кары небесной. Какъ онъ взглянетъ на ликъ Пречистой Дѣвы, когда пойдетъ мимо Иверской? Отрезвленный полнымъ сознаніемъ преступленія, Большовъ видитъ въ себѣ Іуду: этотъ за деньги продалъ Іисуса Христа, а онъ—совѣсть свою. Наконецъ, предстаютъ предъ нимъ и земныя страшила—присутственныя мѣста, уголовная па-

лата, Сибирь... Вотъ когда онъ начинаетъ уже не требовать отъ дѣтей своей собственности, а со слезами проситъ у нихъ Христа ради. Никакъ не можете вы отказать Большову въ чувствѣ жалости, и не только какъ несчастному отцу, но и какъ преступнику. Правда, онъ попралъ нравственный и гражданскій законъ, но и возмездіе понесъ несоразмѣрно тяжкое; со всѣхъ сторонъ градомъ посыпались на него удары: неблагодарность дѣтей, общественный позоръ, угрызенія совѣсти, страхъ передъ закономъ божественнымъ и гражданскимъ,—предчувствія суда Божія и наказанія человѣческаго.

А. Селинъ.

Значеніе комедіи „Бѣдность не порокъ“ по типичной характеристикѣ лицъ и по взгляду на нихъ автора *).

Въ комедіи «Бѣдность не порокъ» мы видимъ апоѳеозу семейнаго начала, семейной жизни. Здѣсь въ тихое теченіе этой жизни вливаются могучимъ потокомъ поэзія народнаго творчества, народные обычаи и пѣсни. Представительница семейнаго начала въ комедіи—Пелагея Егоровна—устраиваетъ для дочери святочное веселье, и вотъ во второмъ актѣ пьесы поются подблюдныя пѣсни, являются на сцену и пляшутъ ряженые. А когда веселье прервано и нежданно-негаданно у Любовь Гордѣевны оказывается женихъ—Коршуновъ, дѣвушки заключаютъ актъ скорбными свадебными пѣснями, прекрасно выражающими горе насильно выдаваемой замужъ дѣвушки. Сильное впечатлѣніе на зрителей производитъ этотъ живьемъ взятый изъ дѣйствительности и перенесенный драматургомъ на сцену міръ народнаго поэтическаго творчества.

Въ этой комедіи Островскій впервые нарисовалъ типъ настоящаго самодура. Большовъ въ «Своихъ людяхъ» самодурствуетъ лишь въ нетрезвомъ видѣ,—въ обыкновенномъ его состояніи съ нимъ можно разговаривать,

*) Собраніе сочиненій А. И. Незеленова. Т. 3. Спб. 1903.

и домашніе тогда его не боятся. Иное дѣло—Гордѣй Карпычъ Торцовъ. Торцовъ—гордъ и глупъ. Пелагея Егоровна, разсказывая о его сближеніи съ Коршуновымъ и ихъ пьянствѣ, замѣчаетъ про мужа: «Спьяна-то, должно быть, у него (показывая на голову) и помутилось. Ужъ я такъ думаю, что это врагъ его смущаетъ! Какъ-таки разсудку не имѣть!»

А Любимъ Торцовъ выражается еще опредѣленнѣе: «у него вотъ эта кость очень толста (говоритъ онъ про лобную кость брата). Ему, дураку, наука нужна.» По нелѣпому тщеславію Гордѣй Карпычъ вдругъ, неожиданно для домашнихъ и для самого себя, вообразилъ, что для него низко жить въ окружающей его средѣ. «Мнѣ, говоритъ (разсказываетъ про него жена), здѣсь не съ кѣмъ компанію водить, все, говоритъ, сволочь, все, видишь ты, мужики, и живутъ-то по-мужицки.»

Онъ глупо стыдится родни, ея низкаго происхожденія. «Куда я тебя дѣну? (говоритъ онъ брату Любиму, пришедшему къ нему за помощью). Ко мнѣ гости хорошіе ѣздятъ, купцы богатые, дворяне; ты... съ меня голову снимешь. По моимъ чувствамъ и понятіямъ мнѣ бы совсѣмъ... не въ этомъ роду родиться. Я, видишь... какъ живу: кто можетъ замѣтить, что у насъ тятенька мужикъ былъ? Съ меня... и этого стыда довольно, а то еще тебя на шею навязать».

Жилъ онъ до старости спокойно, по-старинѣ, но «съѣздилъ въ отъѣздъ» (какъ выражается Пелагея Егоровна)—и перемѣнился. Увидалъ онъ роскошь, модную жизнь, внѣшній блескъ образованія,—и плѣнился ими, внезапно и глупо. «Теперь все ему русское не мило (разсказываетъ про него жена); ладитъ одно—хочу жить по-нынѣшнему, модами заниматься».

Его очаровалъ Коршуновъ, богатый фабрикантъ, московскій, и живущій «больше все въ Москвѣ»; онъ ухаживаетъ за этимъ Коршуновымъ, подражаетъ ему, изъ

всѣхъ силъ бьется, чтобы заслужить его одобреніе и блеснуть передъ нимъ. Привезя Коршунова къ себѣ въ гости, Торцовъ чрезвычайно смутился, заставъ дома русское веселье на старый ладъ; онъ грубо выгоняетъ ряженыхъ, приказываетъ женѣ гнать пѣвшихъ дѣвушекъ. «Зарѣзала ты меня!» (шепчетъ онъ Пелагеѣ Егоровнѣ) и начинаетъ извиняться и оправдываться передъ просвѣщеннымъ гостемъ: «Мнѣ только конфузно передъ тобою! Но ты не заключай изъ этого про наше необразованіе—вотъ все жена. Никакъ не могу вбить ей въ голову...» и онъ читаетъ тутъ же женѣ наставленіе: «Сколько разъ я говорилъ тебѣ: хочешь сдѣлать у себя вечеръ, позови музыкантовъ, чтобы это было по всей формѣ. Кажется, тебѣ ни въ чемъ отказу нѣтъ».

Пелагея Егоровна хочетъ попотчевать гостя мадерой,—это окончательно конфузитъ Гордѣя Карпыча: «Жена! Съ ума что ли сошла, въ самомъ дѣлѣ? Не видывалъ Африканъ Саввичъ твоей мадеры-то!» и онъ приказываетъ подать полдюжины шампанскаго, да не здѣсь, а въ гостиной, гдѣ «новая небель» поставлена; а чтобы эта «небель» была виднѣй, велитъ зажечь въ гостиной всѣ свѣчи,—«тамъ совсѣмъ другой эфектъ будетъ», говоритъ онъ.

«Вотъ какія у нихъ понятія о жизни!» (Удивляется онъ на жену).

Свои собственныя понятія о жизни и просвѣщеніи онъ очень простодушно и наивно высказываетъ, поучая приказчика Митю. Зайдя въ контору въ то время, какъ Митя, Гуслинъ и Разлюляевъ пѣли пѣсню, Гордѣй Карпычъ кричитъ на молодыхъ людей: «Что распѣлись! Горланятъ, точно мужичье! Кажется, не въ такомъ домѣ живешь, не у мужиковъ. Что за полпивная! Чтобъ у меня этого не было впередъ!»

Замѣтивъ на столѣ тетрадь, въ которую Митя переписывалъ стихи Кольцова, Торцовъ иронически гово-

ритъ: «какія нѣжности при нашей бѣдности!» А на поясненіе Мити: «собственно для образованія своего занимаюсь, чтобъ имѣть понятіе»—начинаетъ его поучать, глупо и самодурно: «Образованіе! Знаешь ли ты, что такое образованіе?.. А еще туда же разговариваетъ! Ты бы вотъ сертучишко новенькій сшилъ!.. Куда деньги-то дѣваешь?» Митя отвѣчаетъ, что посылаетъ матери. «Матери посылаешь! Ты себя-то бы образилъ прежде; матери-то не Богъ знаетъ что нужно, не въ роскоши воспитана; чай сама хлѣвы затворяла... Стихи пишетъ, образовать себя хочетъ, а самъ какъ фабричный ходитъ. Развѣ въ этомъ образованіе-то состоитъ, что дурацкія пѣсни пѣть? То-то глупо-то! Дуракъ!»

Въ концѣ комедіи, подвыпивши съ Коршуновымъ, Гордѣй Карпычъ, воображающій о себѣ, что уже достигъ вершинъ просвѣщенія, обращается къ будущему зятю своему съ рѣшительнымъ вопросомъ: «ну, зятюшка, что скажешь?.. можешь ты меня теперь понимать?» и, когда тотъ медлитъ отвѣтомъ, начинаетъ самъ произносить себѣ похвальный приговоръ: его, оказывается, не могутъ понять въ окружающей его жизни, потому что у него все какъ слѣдуетъ, «все въ порядкѣ»,—въ другомъ домѣ за столомъ прислуживаетъ «молодецъ въ поддевкѣ, либо дѣвка», а у него «фицыантъ въ нитяныхъ перчаткахъ», ученый, изъ Москвы, знающій—гдѣ кому сѣсть и что дѣлать. У другихъ людей пьютъ «наливки тамъ и вишневки разныя»... а у него шампанское. «Охъ, (заключаетъ онъ) если бы мнѣ жить въ Москвѣ, али бы въ Питербурхѣ, я бы, кажется, всякую моду подражалъ».

Замѣчательно, что въ самое это время похвальбы своимъ «образованіемъ» Гордѣй Карпычъ совершенно наивно проговаривается, что въ сущности всѣ эти моды, шампанское, фицыанты и небель—вовсе не такъ ему и нравятся; перенялъ онъ все это по глупому подражанію,

да изъ самодурнаго каприза; а ему-то самому нравится то же, что и женѣ его—простая жизнь, простое русское веселье; но только онъ считаетъ это (почему—и самъ не знаетъ) за недостойное его. «У другихъ что! (наивно разсуждаетъ онъ). Соберутся въ одну комнату, усядутся въ кружокъ, пѣсни запоютъ мужицкія. Оно, конечно, и весело, да я считаю такъ, что это низко, никакого тону нѣтъ».

Гордѣй Карпычъ и прежде былъ крутого нрава, а теперь, перенявъ «всякую моду», онъ совсѣмъ ошалѣлъ. Чтобы сблизиться съ Коршуновымъ, онъ, безъ всякаго смысла и разсужденія, не думая, что за человѣкъ Коршуновъ, и видя въ немъ только примѣръ для себя въ перениманіи моды, рѣшаетъ выдать за него дочь. На просьбы жены—одуматься, не шутить надъ материнскимъ сердцемъ, не терзать его—онъ отвѣчаетъ: «Жена, ты меня знаешь!.. Ты, Африканъ Саввичъ, не безпокойся: у меня сказано—сдѣлано».

На мольбы дочери—пожалѣть ее, не губить ея молодости—онъ глупо соблазняетъ ее модной жизнью: дура, въ Москвѣ «будешь по-барски жить... на виду»; и заканчиваетъ самодурнымъ заявленіемъ: «а другое дѣло—я такъ приказываю». Передъ Гордѣемъ Карпычемъ домашніе послѣ этого не смѣютъ и пикнуть.

Совершенно противоположна ему по характеру жена его—Пелагея Егоровна. Она безконечно и нѣжно любитъ свою дочь. Она умна и привлекаетъ къ себѣ полную нашу симпатію. Въ противоположность мужу, который разлюбилъ все русское, она любитъ родную жизнь, родные обычаи: «Модное-то ваше да нынѣшнее (говоритъ она Гордѣю Карпычу)... каждый день мѣняется, а русскій-то нашъ обычай испоконъ вѣку живетъ. Старики-то не глупѣе насъ были».

Она понимаетъ всю нелѣпость подражательныхъ затѣй Гордѣя Карпыча: «И что это съ нимъ сдѣлалось?

(бесѣдуетъ она съ Митей). Да вѣдь вдругъ, любезный, вдругъ. То все-таки разсудокъ имѣлъ. Ну, жили мы, конечно, не роскошно, а все-таки такъ, что дай Богъ всякому; а вотъ въ прошломъ году въ отъѣздъ съѣздилъ, да переняль у кого-то... Какъ-таки разсудку не имѣть!.. Ну еще кабы молоденькій: молоденькому это и нарядиться и все это лестно; а то вѣдь подъ шестьдесятъ! Миленькій, подъ шестьдесятъ!» Пелагея Егоровна сочувственно относится къ молодежи, къ ея радостямъ и веселью; и сама она живая и веселая. «Я молодая-то была первая затѣйница—и попѣть и поплясать ужъ меня взять», говоритъ она своимъ эпическимъ старушкамъ-гостьямъ. И она устраиваетъ для любимой дочки на святкахъ пѣсни и праздникъ, и сама зоветъ на этотъ праздникъ Митю, Гуслина, Разлюляева. «Я, матушка, люблю по-старому, по-старому... да, по-нашему, по-русскому... я веселая... да... чтобъ попотчевать, да чтобъ мнѣ пѣсни пѣли...» Пелагея Егоровна, опять въ противоположность мужу, чужда всякой гордости и чванства. Любя дочь гораздо больше, чѣмъ Гордѣй Карпычъ, она, однако, не думаетъ, что для нея нѣтъ ровни среди окружающихъ ихъ семейство людей; она бы съ радостью, по первому слову, отдала Любушку за приказчика Митю, потому что та его любитъ, и потому что онъ хорошій человѣкъ. Узнавъ отъ Мити, съ горя уѣзжающаго, когда просватали Любовь Гордѣевну, что онъ столковался было съ Любушкой—итти къ родителямъ просить благословенія на бракъ,—она жалѣетъ не только дочку, но и Митю, жалѣетъ какъ родная мать. «Ахъ ты, сердечный (говоритъ она). Экой ты горькій паренекъ-то, какъ я на тебя посмотрю!» Митя не ошибся, когда открылъ ей свою душу; онъ не даромъ сказалъ: «Я такую въ васъ вѣру, Пелагея Егоровна, взялъ, что все равно какъ матушкѣ своей родной откроюсь». Гордѣй Карпычъ «истомилъ» ей «всю душу» своимъ глупымъ замысломъ

отдать дочку за Коршунова. Пелагея Егоровна тяжко тоскуетъ по Любушкѣ. «Глаза-то всѣ проглядѣла, на нее глядючи! Хоть бы теперь-то наглядѣться на нее про запасъ. Точно я ее хоронить собираюсь. Какой это женихъ, какой женихъ... ахъ, ахъ, ахъ! (жалуется она). Гдѣ тутъ любви ждать!.. На богатство, что ли, она польстится?.. Она теперь дѣвушка въ самой порѣ, сердчишко, вѣдь, тоже, чай, бьется иногда. Ей бы теперь хоть бѣдненькаго, да друга милаго... Вотъ бы и житье... вотъ бы и рай...» Любовь Пелагеи Егоровны къ дочери такъ велика, что, когда Митя предлагаетъ увезти Любовь Гордѣевну и тайно обвѣнчаться, она, сначала удивившись и даже ужаснувшись его предложенію, сначала сказавъ: «что ты, безпутный, выдумалъ-то! да кто жъ это посмѣетъ такой грѣхъ на душу взять?» «да какъ же безъ отцовскаго-то благословенія! ну, какъ же, ты самъ посуди?»—потомъ почти готова согласиться съ Митей и одна благословить его на бракъ съ Любушкой.

Но при всей нѣжности своей любви къ дочери, при всей ясности своего здраваго ума, Пелагея Егоровна не обладаетъ волей, у нея нѣтъ энергіи,—и она безсильна передъ самодурствомъ мужа. «Знаю я (говоритъ она Митѣ), все знаю, да говорю жъ я тебѣ, что не моя воля. Что жъ я! (обращается она со словами состраданія и ласки къ дочери). Вотъ поплакать наше дѣло, а власти надъ дочерью никакой не имѣю! А хорошо бы! Полюбовалась бы на старости... Ужъ какъ погляжу я на тебя, дѣвушка, какъ тебѣ не грустить... да помочь-то мнѣ тебѣ, сердечная, нечѣмъ!» Недостатокъ энергіи и дѣлаетъ Пелагею Егоровну игралищемъ самодурнаго произвола мужа, и въ этомъ смыслѣ личностью забитою и приниженною.—Здѣсь, конечно, играетъ роль и законъ, въ который вѣритъ среда, воспитавшая и Гордѣя Карпыча и Пелагею Егоровну, законъ—безусловнаго и слѣпого повиновенія жены мужу. Но нельзя не замѣтить,

что этотъ законъ далеко не всегда соблюдается въ вѣрящемъ въ него бытѣ, и самое вѣрованіе въ него не безусловно крѣпко. Не только такіе люди, какъ Русаковъ, но даже и Большовы не вполнѣ ему слѣдуютъ. Другое дѣло, конечно, Гордѣи Торцовы, но и то если они не встрѣчаютъ энергическаго отпора своему неразумному произволу.

Отсутствіе этого энергическаго отпора, слабость воли имѣютъ большое значеніе и въ отношеніяхъ (въ быту Торцовыхъ) младшаго поколѣнія къ старшему.

Въ этомъ смыслѣ приниженными оказываются въ комедіи «Бѣдность не порокъ» Любовь Гордѣевна и Митя. Но это люди вовсе не забитые и не обезличенные. Внутренняя жизнь, душевный міръ этихъ людей—полны, и разносторонни, и глубоки.

Любовь Гордѣевна—очень поэтическая личность, тихая и кроткая, ласковая и задушевная. Она полюбила Митю, онъ пришелся ей по сердцу, потому что онъ тихій да сиротливый,—и она изольетъ на него весь запасъ своей душевной нѣжности. Она скромна и стыдлива, и потому таитъ свое чувство; но она въ то же время искренна, правдива. Съ затаенной радостью и съ притворной внѣшней гордостью относится она къ стихамъ Мити, посвященнымъ ей, а прочитавъ эти стихи, сама пишетъ ему въ отвѣтъ довѣрчивое признаніе въ любви, наивно-граціозно и по-дѣтски пошутивъ при этомъ: «только пальцы всѣ выпачкала; кабы знала, лучше бы не писала». Съ ласковой довѣрчивостью открываетъ она свою тайну Аннѣ Ивановнѣ, и при этомъ тоскливо высказываетъ предчувствіе грозящихъ бѣдъ: «Что наша любовь? Какъ былинка въ полѣ: не расцвѣтетъ путемъ—да и поблекнетъ». Любовь Гордѣевну нельзя соблазнить приманками роскоши: «не нужно мнѣ вашихъ денегъ», говоритъ она Коршунову, думающему поразить ее размѣрами своего капитала. Ее и обмануть нельзя,—она

умна: когда Коршуновъ пытается доказать ей, что есть много выгодъ—выйти за старика, что старикъ-то и подарочки будетъ дѣлать и ревновать-то его женѣ не придется (а ревность—страшное дѣло) и т. д., она опрокидываетъ всѣ его хитросплетенныя разсужденія простымъ вопросомъ: «а васъ та жена, покойная, любила?» Она выводитъ изъ себя Коршунова этимъ вопросомъ, и потомъ, на его злыя слова, что не любила, да и онъ ее не любилъ, потому что она того не стоила—онъ взялъ ее бѣдную-нищую,—на эти злыя слова замѣчаетъ: «любви золотомъ не купишь».

Но, кроткая и смиренная, Любовь Гордѣевна не можетъ дать никакого отпора самодурному произволу. На глупое и безсознательно жестокое намѣреніе отца выдать ее за Коршунова, она въ силахъ только отвѣтить тихой мольбою: «Тятенька! Я изъ твоей воли ни на шагъ не выйду. Пожалѣй ты меня, бѣдную, не губи мою молодость!.. Что хочешь меня заставь, только не принуждай ты меня противъ сердца замужъ итти за немилаго!..»—«Я своего слова назадъ не беру», безсердечно возражаетъ на это Гордѣй Карпычъ.—«Твоя воля, батюшка!»—произноситъ бѣдная дѣвушка, рѣшая этимъ свою судьбу, высказывая приговоръ своему счастью и своей жизни.

Но должно замѣтить, что не одинъ недостатокъ энергіи руководитъ въ данномъ случаѣ душою Любови Гордѣевны: она потому еще не противится волѣ отца, что такое противленіе считаетъ грѣхомъ, нарушеніемъ нравственнаго закона. Когда Митя предлагаетъ ей бѣжать съ нимъ и тайно обвѣнчаться, она рѣшительно и безповоротно (гораздо рѣшительнѣе матери) отвергаетъ эту мысль: «Нѣтъ, Митя, не бывать этому! Не томи себя понапрасну, перестань. Не надрывай мою душу! И такъ мое сердце все изныло во мнѣ. Поѣзжай съ Богомъ...» «Такъ, знать, тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не

хочу я супротивъ отца итти, чтобъ про меня люди не говорили, да и въ примѣръ не ставили. Хоть я, можетъ-быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза насмѣяться не смѣетъ. Прощай!»

Митя какъ будто не соглашается съ подобными мыслями Любови Гордѣевны, Митя предлагалъ ей иной образъ дѣйствій; но въ сущности онъ такой же человѣкъ, какъ и она. Онъ и Любовь Гордѣевна—натуры родственныя, и удивительно гармоническое впечатлѣніе производитъ взаимная любовь этихъ близкихъ другъ къ другу по душѣ людей.

Митя—человѣкъ съ добрымъ и нѣжнымъ сердцемъ, кроткій нравомъ и одаренный поэтическими инстинктами и стремленіями. Въ немъ пробуждены умственные интересы, онъ стремится къ образованію; но болѣе всего его занимаетъ поэзія; читая и переписывая Кольцова, онъ и самъ, по примѣру народнаго поэта-самоучки, начинаетъ писать стихи, и стихи эти, согрѣтые истиннымъ и чистымъ чувствомъ, выходятъ очень недурными; таково напр. его поэтическое признаніе въ любви:

Не цвѣточекъ въ полѣ вянетъ, не былинка...

Митя чистъ душою: онъ благоговѣйно уважаетъ любимую имъ дѣвушку,—и боится и не смѣетъ повѣрить своему счастью, счастью взаимной привязанности; робко развертываетъ онъ и читаетъ письмо Любови Гордѣевны, робко допрашиваетъ онъ ее—какъ надо понимать это письмо: въ правду или въ шутку? и только затѣмъ уже, успокоенный ея отвѣтами, съ полною вѣрой, безповоротно, навѣки отдаетъ ей свою душу.

Но, умѣя любить безпредѣльно, онъ не умѣетъ и не можетъ защитить любимое существо. Когда Любовь Гордѣевну просватали, онъ рѣшается уѣхать изъ дома Торцовыхъ къ матери, не сдѣлавъ ни малѣйшей попытки спасти безконечно имъ любимую дѣвушку.

Правда, онъ въ минуту прощанія вдругъ надумываетъ смѣлое дѣло—увезти Любушку. Но какъ быстро явилось въ душѣ это намѣреніе, такъ быстро и безслѣдно оно и исчезаетъ. Намѣреніе это—не твердое и обдуманное рѣшеніе энергическаго человѣка, а мгновенный и поверхностный порывъ мечтательной натуры, порывъ, не могущій поэтому и привести къ какому-нибудь практическому результату. Объ его неосновательности свидѣтельствуютъ и самыя выраженія, въ которыхъ Митя высказываетъ свою мысль: «Пусть выйдетъ потихоньку (говоритъ онъ, обращаясь къ Пелагеѣ Егоровнѣ); посажу я ее въ саночки-самокаточки—да и былъ таковъ! Не видать тогда ее старому, какъ ушей своихъ, а моей головѣ заодно ужъ погибать! Увезу ее къ матушкѣ—да и повѣнчаемся. Эхъ! дайте душѣ просторъ—разгуляться хочетъ! Покрайности, коли придется въ отвѣтъ итти, такъ ужъ то буду знать, что потѣшился». Твердое и энергическое рѣшеніе не выражается такъ экзальтированно,—оно проще и спокойнѣе. И въ самомъ дѣлѣ, Митя сейчасъ же отступается отъ своей мысли: «Ну, знать не судьба!» говоритъ онъ Любови Гордѣевнѣ. Мгновенный порывъ мгновенно же и исчезъ.

Итакъ, передъ нами въ комедіи съ одной стороны—хорошіе, умные, сердечные, но лишенные энергіи люди: Пелагея Егоровна, Любовь Гордѣевна, Митя; съ другой стороны—крѣпколобый самодуръ Торцовъ, руководящійся единственнымъ понятнымъ ему правиломъ жизни: «я такъ хочу». И передъ этими людьми стоятъ два нравственныхъ закона быта: жена должна повиноваться мужу, дѣти—родителямъ. Самодуръ объясняетъ эти законы въ томъ смыслѣ, что все, что ему взбредетъ на умъ, хотя бы съпьяну, должно быть безпрекословно исполняемо домашними; эти же послѣдніе понимаютъ дѣло такъ, что ихъ долгъ—слѣпо повиноваться своему вла-

дыкѣ. Комедія была бы не комедіей, а страшной драмой, если бы разыгралась только между четырьмя поименованными лицами. Но явился энергическій человѣкъ—и все измѣнилось, и погибавшіе спасены отъ погибели, и самодуръ остановленъ на краю нравственной пропасти.

Любимъ Торцовъ тоже признаетъ эти законы, объ отношеніяхъ членовъ семьи другъ къ другу, обязательными для всякаго человѣка. Но онъ силенъ волею, онъ можетъ дѣйствовать энергично,—и жизнь направлена имъ по надлежащему руслу.

Любимъ Торцовъ былъ истинный братъ Гордѣя Карпыча. Получивъ свою долю наслѣдства отца, онъ тотчасъ же, какъ и братъ, самодурно пожелалъ «всякую моду подражать», потому что (поясняетъ онъ) «въ головѣ-то, какъ въ пустомъ чердакѣ, вѣтеръ такъ и ходилъ». Человѣкъ даровитый, болѣе отзывчивый и чуткій на все, чѣмъ Гордѣй Карпычъ, онъ не захотѣлъ ограничиться поставленіемъ «небели» въ гостиной, да наемомъ «фицыанта» въ нитяныхъ перчаткахъ,—а самъ отправился въ Москву «людей посмотрѣть, себя показать, высокаго тону набраться». «Опять же я (*разсказываетъ онъ про себя Митѣ*) такой прекрасный молодой человѣкъ, а еще свѣту не видывалъ, въ частномъ домѣ не ночевывалъ. Надо до всего дойти». И вотъ онъ одѣлся франтомъ, завелъ себѣ пріятелей и друзей, «хоть прудъ пруди»,—и загулялъ съ ними по трактирамъ.

Правда, и въ это время уже сказалась, безсознательно конечно, одна благородная черта въ его характерѣ—любовь къ театру: «Я все трагедіи ходилъ смотрѣть (говоритъ онъ),—очень любилъ». Только ничего изъ этого не могло выйти: «не видалъ ничего путемъ (поясняетъ самъ Любимъ Карпычъ), и не помню ничего, потому что больше все пьяный».

Прогулялъ онъ такимъ образомъ все состояніе—и пришлось ему бѣдствовать: и голодалъ онъ и шута изъ себя представлялъ на потѣху купцамъ. Но здѣсь и граница его самодурствованію: несчастье его отрезвило и физически и нравственно. Простудившись на морозѣ, попалъ онъ въ больницу—и тамъ очнулся. «Какъ сталъ я выздоравливать (*разсказываетъ онъ*) да въ разсудокъ входить, хмелю-то нѣтъ въ головѣ—страхъ на меня напалъ, ужасть на меня нашла!.. Какъ я жилъ? Что я за дѣла дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что, кажется, умереть лучше».

Любимъ Карпычъ заболѣлъ благородною тоскою, тоскою по роднымъ идеаламъ,—по честномъ трудѣ, по забытому имъ семейному началу, по семейной жизни. Онъ отправился къ брату, надѣясь пристроиться у того въ какой-нибудь должности, хоть въ дворникахъ. Разочарованіе въ братѣ и въ первой попыткѣ возвращенія на прямой путь пошатнуло нѣсколько Любима Карпыча: «я опять сталъ зашибаться немного» (*говоритъ онъ*); но воскресшая въ душѣ правда уже не умирала, тѣмъ болѣе, что Любимъ Карпычъ глубоко смирился: «Что за злоба (*говоритъ онъ Коршунову*). Я тебѣ давно простилъ. Я человѣкъ маленькій, червякъ ползущій, ничтожество изъ ничтожествъ! Ты другимъ-то не дѣлай зла».

Любимъ Карпычъ задумываетъ спасти племянницу отъ Коршунова, устроить счастье ея и Мити и образумить ошалѣвшаго брата. Умно и энергично принимается онъ за дѣло. Съ благородной прямотой въ глаза обличаетъ онъ Коршунова и правильно разсчитываетъ на взрывъ самодурства Гордѣя Карпыча, когда невладѣющій собою Коршуновъ задѣнетъ того за живое. Такъ и случается. Взбѣшенный Коршуновъ отказывается отъ невѣсты: «Ты теперь приди-ка ко мнѣ да покланяйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ... Тебѣ нужно свадьбу сдѣлать: хоть въ петлю лѣзть, да только бы весь городъ

удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое» (*говоритъ онъ Гордѣю*).—«Я къ тебѣ пойду кланяться?» кричитъ Гордѣй Карпычъ. Да я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ!.. Вотъ за Митьку отдамъ!.. Да такую свадьбу задамъ, что ты не видывалъ: изъ Москвы музыкантовъ выпишу, одинъ въ четырехъ каретахъ поѣду». Съ Коршуновымъ кончено. Надо устроить теперь дѣло Мити и Любови Гордѣевны. И здѣсь Любимъ Карпычъ перемѣняетъ способъ дѣйствія: онъ вѣритъ, что въ душѣ брата есть еще благородныя чувства, что у него не умерли сердце и совѣсть. «Человѣкъ ты или звѣрь? (говоритъ онъ Гордѣю Карпычу, становясь передъ нимъ на колѣни). Пожалѣй ты и Любима Торцова! Братъ, отдай Любушку за Митю—онъ мнѣ уголъ дастъ. Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть подъ старость-то да честно пожить. Вѣдь я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ работишку дадутъ: у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда-то я Бога возблагодарю. Братъ! и моя слеза до неба дойдетъ. Что онъ бѣденъ-то! Эхъ, кабы я бѣденъ былъ, я бы человѣкъ былъ. Бѣдность не порокъ». Отъ сердца сказанное слово и дошло до сердца: Гордѣй Карпычъ очнулся.—«Гордѣй Карпычъ, неужели въ тебѣ чувства нѣтъ?» (поддержала Любима Пелагея Егоровна).

«А вы и въ самомъ дѣлѣ думали, что нѣтъ?! (*говоритъ Гордѣй Карпычъ*). Ну, братъ, спасибо, что на умъ наставилъ, а то было свихнулся совсѣмъ. Не знаю, какъ и въ голову вошла такая гнилая фантазія... Ну, дѣти, скажите спасибо дядѣ, Любиму Карпычу, да живите счастливо». Радостное окончаніе пьесы поясняетъ намъ ея внутренній смыслъ, показываетъ намъ и взглядъ поэта на изображенный имъ міръ и его отношенія къ своимъ героямъ.

Жизнь запуталась, вслѣдствіе глупаго увлеченія внѣшнимъ лоскомъ образованія ограниченнаго самодура Торцова; желаніе его «всякую моду подражать» чуть не сдѣлало его «извергомъ» (по его собственному выраженію) и чуть не погубило всю семью. Но Торцовъ не злодѣй: въ душѣ его есть добро, и не очерствѣло окончательно его сердце. Когда явился человѣкъ энергическій и умный—все дѣло оказалось поправленнымъ. Любимъ Торцовъ образумилъ брата и спасъ племянницу и Митю, создалъ для нихъ возможность тихой и радостной семейной жизни, жизни, въ которой и ему найдется уголокъ.

А. Незеленовъ.

Классическія красоты драмы „Гроза“ *).

Не опасаясь обвиненія въ преувеличеніи, могу сказать по совѣсти, что подобнаго произведенія, какъ драмы «Гроза», въ нашей литературѣ не было. Она безспорно занимаетъ и, вѣроятно, долго будетъ занимать первое мѣсто по высокимъ классическимъ красотамъ. Съ какой бы стороны она ни была взята,—со стороны ли плана созданія, или драматическаго движенія, или, наконецъ, характеровъ,—всюду запечатлѣна она силою творчества, тонкостью наблюдательности и изяществомъ отдѣлки.

Прежде всего она поражаетъ смѣлостью созданія плана: увлеченіе нервной страстной женщины и борьба съ долгомъ, паденіе, раскаяніе и тяжкое искупленіе вины,—все это исполнено живѣйшаго драматическаго интереса и ведено съ необычайнымъ искусствомъ и знаніемъ сердца. Рядомъ съ этимъ авторъ создалъ другое типическое лицо, дѣвушку, падающую сознательно и безъ борьбы, на которую тупая строгость и абсолютный деспотизмъ того семейнаго и общественнаго быта, среди котораго она родилась и выросла, подѣйствовали, какъ и ожидать слѣдуетъ, превратно, т.-е. повели ее веселымъ путемъ порока, съ единственнымъ, извлеченнымъ

---

*) Изъ отзыва Гончарова о драмѣ Островскаго, даннаго Ак. Наукъ въ 1860 году. *Зелинскій*, 2. *Денисюкъ*, 2.

изъ даннаго воспитанія, правиломъ: лишь бы все было шито да крыто. Мастерское сопоставленіе этихъ двухъ главныхъ лицъ въ драмѣ, развитіе ихъ натуръ, законченность характеровъ,—одни давали бы произведенію Островскаго первое мѣсто въ драматической литературѣ.

Но сила таланта повела автора дальше. Въ той же драмѣ улеглась широкая картина національнаго быта и нравовъ, съ безпримѣрною художественною полнотою и вѣрностью. Всякое лицо въ драмѣ есть типическій характеръ, выхваченный прямо изъ среды народной жизни, облитый яркимъ колоритомъ поэзіи и художественной отдѣлки, начиная съ богатой вдовы Кабановой, въ которой воплощенъ слѣпой, завѣщанный преданіемъ деспотизмъ, уродливое пониманіе долга и отсутствіе всякой человѣчности,—до ханжи Ѳеклуши. Авторъ далъ цѣлый, разнообразный міръ живыхъ, существующихъ на каждомъ шагу личностей.

Языкъ дѣйствующихъ лицъ, какъ въ этой драмѣ, такъ и во всѣхъ произведеніяхъ Островскаго, давно всѣми оцѣненъ по достоинству, какъ языкъ художественно-вѣрный, взятый изъ дѣйствительности, какъ и самыя лица, имъ говорящія.

И. Гончаровъ.

Историко-общественное значение „Грозы“ *).

У Островскаго на первомъ планѣ является всегда общая, независящая ни отъ кого изъ дѣйствующихъ лицъ, обстановка жизни. Онъ не караетъ ни злодѣя ни жертву; оба они жалки вамъ, нерѣдко оба смѣшны, но не на нихъ непосредственно обращается чувство, возбуждаемое въ васъ пьесою. Вы видите, что ихъ положеніе господствуетъ надъ ними, и вы вините ихъ только въ томъ, что они не выказываютъ достаточно энергіи для того, чтобы выйти изъ этого положенія. Сами самодуры, противъ которыхъ естественно должно возмущаться ваше чувство, по внимательномъ разсмотрѣніи, оказываются болѣе достойны сожалѣнія, нежели вашей злости: они и добродѣтельны и даже умны по-своему, въ предѣлахъ, предписанныхъ имъ рутиною и поддерживаемыхъ ихъ положеніемъ; но положеніе это таково, что въ немъ невозможно полное, здоровое человѣческое развитіе.

Такимъ образомъ борьба, требуемая теоріею отъ драмы, совершается въ пьесахъ Островскаго не въ монологахъ дѣйствующихъ лицъ, а въ фактахъ, господствующихъ надъ ними. Часто сами персонажи комедіи не имѣютъ яснаго или вовсе никакого сознанія о смыслѣ своего положенія и своей борьбы; но зато борьба весьма от-

*) Сочиненія *Добролюбова.* Т. 3. Изд. 6. Стр. 443—457, 460—464, 482—484.

четливо и сознательно совершается въ душѣ зрителя, который невольно возмущается противъ положенія, порождающаго такіе факты. И вотъ почему мы никакъ не рѣшаемся считать ненужными и лишними тѣ лица пьесъ Островскаго, которыя не участвуютъ прямо въ интригѣ. Съ нашей точки зрѣнія, эти лица столько же необходимы для пьесы, какъ и главныя: они показываютъ намъ ту обстановку, въ которой совершается дѣйствіе, рисуютъ положеніе, которымъ опредѣляется смыслъ дѣятельности главныхъ персонажей пьесы. Чтобы хорошо узнать свойства жизни растенія, надо изучать его на той почвѣ, на которой оно растетъ; оторвавши его отъ почвы, вы будете имѣть форму растенія, но не узнаете вполнѣ его жизни. Точно такъ не узнаете вы жизни общества, если вы будете разсматривать ее только въ непосредственныхъ отношеніяхъ нѣсколькихъ лицъ, пришедшихъ почему-нибудь въ столкновеніе другъ съ другомъ: тутъ будетъ только дѣловая, официальная сторона жизни, между тѣмъ какъ намъ нужна будничная ея обстановка. Посторонніе, недѣятельные участники жизненной драмы,—повидимому занятые только своимъ дѣломъ каждый,—имѣютъ часто однимъ своимъ существованіемъ такое вліяніе на ходъ дѣла, что его ничѣмъ и отразить нельзя. Сколько горячихъ идей, сколько обширныхъ плановъ, сколько восторженныхъ порывовъ рушится при одномъ взглядѣ на равнодушную, прозаическую толпу, съ презрительнымъ индиферентизмомъ проходящую мимо насъ! Сколько чистыхъ и добрыхъ чувствъ замираетъ въ насъ, изъ боязни, чтобы не быть осмѣяннымъ и поруганнымъ этой толпой! А съ другой стороны, и сколько преступленій, сколько порывовъ произвола и насилія останавливается предъ рѣшеніемъ этой толпы, всегда какъ будто равнодушной и податливой, но въ сущности весьма неуступчивой въ томъ, что разъ ею признано. Поэтому чрезвычайно важно

для насъ знать, каковы понятія этой толпы о добрѣ и злѣ, что у ней считается за истину и что за ложь. Этимъ опредѣляется нашъ взглядъ на положеніе, въ какомъ находятся главныя лица пьесы, а слѣдовательно, и степень нашего участія къ нимъ.

Въ «Грозѣ» особенно видна необходимость такъ называемыхъ «ненужныхъ» лицъ: безъ нихъ мы не можемъ понять лица героини и легко можемъ исказить смыслъ всей пьесы, что и случилось съ большей частью критиковъ. Можетъ-быть, намъ скажутъ, что все-таки авторъ виноватъ, если его такъ легко не понять; но мы замѣтимъ на это, что авторъ пишетъ для публики, а публика если не сразу овладѣваетъ вполнѣ сущностью его пьесъ, то и не искажаетъ ихъ смысла. Что же касается до того, что нѣкоторыя подробности могли быть отдѣланы лучше,—мы за это не стоимъ. Безъ сомнѣнія, могильщики въ «Гамлетѣ» болѣе кстати и ближе связаны съ ходомъ дѣйствія, нежели, напримѣръ, полусумасшедшая барыня въ «Грозѣ»; но мы вѣдь не то толкуемъ, что нашъ авторъ—Шекспиръ, а только то, что его постороннія лица имѣютъ резонъ своего появленія и оказываются даже необходимыми для полноты пьесы, разсматриваемой, какъ она есть, а не въ смыслѣ абсолютнаго совершенства.

«Гроза» представляетъ намъ идиллію «темнаго царства», которое мало-по-малу освѣщаетъ намъ Островскій своимъ талантомъ. Люди, которыхъ вы здѣсь видите, живутъ въ благословенныхъ мѣстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами; лѣтній благодатный день такъ и манитъ на берегъ, на воздухъ, подъ открытое небо, подъ этотъ вѣтерокъ, освѣжительно вѣющій съ Волги... И жители точно гуляютъ иногда по бульвару надъ рѣкой, хоть ужъ и приглядѣлись къ красотамъ волжскихъ видовъ; вече-

ромъ сидятъ на заваленкахъ у воротъ и занимаются благочестивыми разговорами; но больше проводятъ время у себя дома, занимаются хозяйствомъ, кушаютъ, спятъ,—спать ложатся очень рано, такъ что непривычному человѣку трудно и выдержать такую сонную ночь, какую они задаютъ себѣ. Но что же имъ дѣлать, какъ не спать, когда они сыты? Ихъ жизнь течетъ такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожатъ, потому что не доходятъ до нихъ; царства могутъ рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можетъ измѣняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ,—обитатели городка Калинова будутъ себѣ существовать попрежнему въ полнѣйшемъ невѣдѣніи объ остальномъ мірѣ. Изрѣдка забѣжитъ къ нимъ неопредѣленный слухъ, что Наполеонъ съ двадесятью языкъ опять подымается, или что антихристъ народился; но и это они принимаютъ болѣе какъ курьезную штуку, въ родѣ вѣсти о томъ, что есть страны, гдѣ всѣ люди съ песьими головами: покачаютъ головой, выразятъ удивленіе къ чудесамъ природы, и пойдутъ себѣ закусить... Смолоду еще показываютъ нѣкоторую любознательность, но пищи взять ей неоткуда: свѣдѣнія заходятъ къ нимъ, точно въ древней Руси временъ Даніила Паломника, только отъ странницъ, да и тѣхъ ужъ нынче немного настоящихъ-то, приходится довольствоваться такими, которыя «сами, по немощи своей, далеко не ходили, а слыхать много слыхивали», какъ Ѳеклуша въ «Грозѣ». Отъ нихъ только и узнаютъ жители Калинова о томъ, что на свѣтѣ дѣлается; иначе они думали бы, что весь свѣтъ таковъ же, какъ и ихъ Калиновъ, и что иначе жить, чѣмъ они, совершенно невозможно. Но и свѣдѣнія, сообщаемыя Ѳеклушами, таковы, что неспособны внушить большого желанія промѣнять свою жизнь на иную. Ѳеклуша принадлежитъ къ партіи патріотической и въ высшей степени кон-

сервативной; ей хорошо среди благочестивыхъ и наивныхъ калиновцевъ: ее и почитаютъ, и угощаютъ, и снабжаютъ всѣмъ нужнымъ; она пресерьезно можетъ увѣрять, что самые грѣшки ея происходятъ отъ того, что она выше прочихъ смертныхъ: «простыхъ людей,— говоритъ,—каждаго одинъ врагъ смущаетъ, а къ намъ, страннымъ людямъ, къ кому шесть, къ кому двѣнадцать приставлено, вотъ и надо ихъ всѣхъ побороть». И ей вѣрятъ. Ясно, что простой инстинктъ самосохраненія долженъ заставить ее не сказать хорошаго слова о томъ, что въ другихъ земляхъ дѣлается. И въ самомъ дѣлѣ, прислушайтесь къ разговорамъ купечества, мѣщанства, мелкаго чиновничества въ уѣздной глуши,—сколько удивительныхъ свѣдѣній о невѣрныхъ и поганыхъ царствахъ, сколько разсказовъ о тѣхъ временахъ, когда людей жгли и мучили, когда разбойники города грабили и т. п.,—и какъ мало свѣдѣній объ европейской жизни, о лучшемъ устройствѣ быта! Даже въ такъ называемомъ образованномъ обществѣ, въ объевропеившихся людяхъ, на множество энтузіастовъ, восхищающихся новыми парижскими улицами и мобилемъ, развѣ вы не найдете почти такое же множество солидныхъ цѣнителей, которые запугиваютъ своихъ слушателей тѣмъ, что нигдѣ, кромѣ Австріи, во всей Европѣ порядка нѣтъ, и никакой управы найти нельзя!.. Все это и ведетъ къ тому, что Ѳеклуша высказываетъ такъ положительно: «бла-алѣпіе, милая, бла-алѣпіе, красота дивная! Да что ужъ и говорить,—въ обѣтованной землѣ живете!» Оно несомнѣнно такъ и выходитъ, какъ сообразить, что въ другихъ-то земляхъ дѣлается. Послушайте-ка Ѳеклушу:

«Говорятъ, такія страны есть, милая дѣвушка, гдѣ и царей-то нѣтъ православныхъ, а салтаны землей правятъ. Въ одной землѣ сидитъ на тронѣ салтанъ Махнутъ турецкій, а въ другой—салтанъ Махнутъ персидскій; и судъ творятъ они,

милая дѣвушка, надъ всѣми людьми, и что ни судятъ они, все неправильно. И не могутъ они, милая дѣвушка, ни одного дѣла разсудить праведно,—такой ужъ имъ предѣлъ положенъ. У насъ законъ праведный, а у нихъ, милая, неправедный; что по нашему закону такъ выходитъ, а по ихнему все напротивъ. И всѣ судьи у нихъ, въ ихнихъ странахъ, тоже все неправедные; такъ имъ, милая дѣвушка, и въ просьбахъ пишутъ: «суди меня, судья неправедный!» А то есть еще земля, гдѣ всѣ люди съ песьими головами.»—«За что же такъ съ песьими?» спрашиваетъ Глаша.—«За невѣрность», коротко отвѣчаетъ Ѳеклуша, считая всякія дальнѣйшія объясненія излишними.

Но Глаша и тому рада: въ томительномъ однообразіи ея жизни и мысли, ей пріятно услышать сколько-нибудь новое и оригинальное. Въ ея душѣ смутно пробуждается уже мысль, «что вотъ, однако же, живутъ люди и не такъ, какъ мы; оно, конечно, у насъ лучше, а, впрочемъ, кто ихъ знаетъ! Вѣдь и у насъ нехорошо; а про тѣ земли-то мы еще и не знаемъ хорошенько; кое-что только услышишь отъ добрыхъ людей...» И желаніе знать побольше да поосновательнѣе закрадывается въ душу. Это для насъ ясно изъ словъ Глаши, по уходѣ странницы: «вотъ еще какія земли есть! Какихъ-то, какихъ-то чудесъ на свѣтѣ нѣтъ! А мы тутъ сидимъ, ничего не знаемъ. Еще хорошо, что добрые люди есть: нѣтъ, нѣтъ, да и услышишь, что на бѣломъ свѣтѣ дѣлается; а то бы такъ дураками и померли». Какъ видите, неправедность и невѣрность чужихъ земель не возбуждаетъ въ Глашѣ ужаса и негодованія; ее занимаетъ только новое свѣдѣніе, которое представляется ей чѣмъ-то загадочнымъ,—«чудесами», какъ она выражается. Вы видите, что она не довольствуется объясненіями Ѳеклуши, которыя возбуждаютъ въ ней только сожалѣніе о своемъ невѣжествѣ. Она, очевидно, на полдорогѣ къ скептицизму. Но гдѣ же ей сохранить свое недовѣріе, когда оно безпрестанно подрывается разсказами, подобными Ѳеклушинымъ? Какъ ей дойти до пра-

вильныхъ понятій, даже просто до разумныхъ вопросовъ, когда ея любознательность заперта въ такомъ кругѣ, который очерченъ около нея въ городѣ Калиновѣ? Да еще мало того, какъ бы она осмѣлилась не вѣрить да допытываться, когда старшіе и лучшіе люди такъ положительно успокаиваются въ убѣжденіи, что принятыя ими понятія и образъ жизни—наилучшіе въ мірѣ, и что все новое происходитъ отъ нечистой силы? Страшна и тяжела для каждаго новичка попытка итти наперекоръ требованіямъ и убѣжденіямъ этой темной массы, ужасной въ своей наивности и искренности. Вѣдь она проклянетъ насъ, будетъ бѣгать, какъ зачумленныхъ,— не по злобѣ, не по расчетамъ, а по глубокому убѣжденію въ томъ, что мы сродни антихристу; хорошо еще, если только полоумнымъ сочтетъ и будетъ подсмѣиваться... Она ищетъ знанія, любитъ разсуждать, но только въ извѣстныхъ предѣлахъ, предписанныхъ ей основными понятіями, въ которыхъ путается разсудокъ. Вы можете сообщить калиновскимъ жителямъ нѣкоторыя географическія знанія; но не касайтесь того, что земля на трехъ китахъ стоитъ, и что въ Іерусалимѣ есть пупъ земли—этого они вамъ не уступятъ, хотя о пупѣ земли имѣютъ такое же ясное понятіе, какъ о Литвѣ, въ «Грозѣ».

«Это, братецъ ты мой, что такое?» спрашиваетъ одинъ мирный гражданинъ у другого, показывая на картину.— «А это литовское разореніе», отвѣчаетъ тотъ. «Битва! видишь! Какъ наши съ Литвой бились.»—«Что жъ это такое Литва?»—«Такъ она Литва и есть», отвѣчаетъ объясняющій.— «А говорятъ, братецъ ты мой, она на насъ съ неба упала», продолжаетъ первый; но собесѣднику его мало до того нужды: «ну съ неба, такъ съ неба», отвѣчаетъ онъ... Тутъ женщина вмѣшивается въ разговоръ: «толкуй еще! Всѣ знаютъ, что съ неба; и гдѣ былъ какой бой съ ней, тамъ для памяти курганы насыпаны.»—«А что, братецъ ты мой! Вѣдь это такъ точно!» восклицаетъ вопрошатель, вполнѣ удовлетворенный.

И послѣ этого спросите его, что онъ думаетъ о Литвѣ! Подобный исходъ имѣютъ всѣ вопросы, задаваемые здѣсь людямъ естественной любознательностью. И это вовсе не оттого, чтобы люди эти были глупѣе, безтолковѣе многихъ другихъ, которыхъ мы встрѣчаемъ въ академіяхъ и ученыхъ обществахъ. Нѣтъ, все дѣло въ томъ, что они своимъ положеніемъ, своею жизнью подъ гнетомъ произвола всѣ пріучены уже видѣть безотчетность и безсмысленность, и потому находятъ неловкимъ и даже дерзкимъ настойчиво доискиваться разумныхъ основаній въ чемъ бы то ни было. Задать вопросъ,—на это ихъ еще станетъ; но если отвѣтъ будетъ таковъ, что «пушка сама по себѣ, а мортира сама по себѣ», то они уже не смѣютъ пытать дальше и смиренно довольствуются даннымъ объясненіемъ. Секретъ подобнаго равнодушія къ логикѣ заключается прежде всего въ отсутствіи всякой логичности въ жизненныхъ отношеніяхъ. Ключъ этой тайны даетъ намъ, напр., слѣдующая реплика Дикõго въ «Грозѣ». Кулигинъ, въ отвѣтъ на его грубости, говоритъ: «за что, сударь, Савелъ Прокофьичъ, честнаго человѣка обижать изволите?» Дикóй отвѣчаетъ вотъ что:

«Отчетъ что ли я стану тебѣ давать? Я и поважнѣе тебя никому отчета не даю. Хочу такъ думать о тебѣ, такъ и думаю. Для другихъ ты честный человѣкъ, а я думаю, что ты разбойникъ, вотъ и все. Хотѣлось тебѣ это слышать отъ меня? Такъ вотъ слушай. Говорю, что разбойникъ, и конецъ! Что жъ ты судиться, что ли, со мной хочешь? Такъ ты знай, что ты червякъ. Захочу—помилую, захочу—раздавлю».

Какое теоретическое разсужденіе можетъ устоять тамъ, гдѣ жизнь основана на такихъ началахъ. Отсутствіе всякаго закона, всякой логики—вотъ законъ и логика этой жизни. Это не анархія, но нѣчто еще гораздо худшее (хотя воображеніе образованнаго европейца и не умѣетъ представить себѣ ничего хуже анархіи). Въ

анархіи такъ ужъ и нѣтъ никакого начала: всякій молодецъ на свой образецъ, никто никому не указъ, всякій на приказанія другого можетъ отвѣчать, что я, молъ, тебя знать не хочу, и такимъ образомъ всѣ озорничаютъ и ни въ чемъ согласиться не могутъ. Положеніе общества, подверженнаго такой анархіи (если только она возможна), дѣйствительно ужасно. Но вообразите, что это самое анархическое общество раздѣлилось на двѣ части:—одна оставила за собою право озорничать и не знать никакого закона, а другая принуждена признавать закономъ всякую претензію первой и безропотно сносить всѣ ея капризы, всѣ безобразія... Не правда ли, что это было бы еще ужаснѣе? Анархія осталась бы та же, потому что въ обществѣ все-таки разумныхъ началъ не было бы, озорничества продолжались бы попрежнему; но половина людей принуждена была бы страдать отъ нихъ и постоянно питать ихъ собою, своимъ смиреніемъ и угодливостью. Ясно, что при такихъ условіяхъ озорничество и беззаконіе приняли бы такіе размѣры, какихъ никогда не могли бы они имѣть при всеобщей анархіи. Въ самомъ дѣлѣ, что ни говорите, а человѣкъ одинъ, предоставленный самому себѣ, не много надуритъ въ обществѣ и очень скоро почувствуетъ необходимость согласиться и сговориться съ другими въ видахъ общей пользы. Но никогда этой необходимости не почувствуетъ человѣкъ, если онъ во множествѣ подобныхъ себѣ находитъ обширное поле для упражненія своихъ капризовъ и если въ ихъ зависимомъ, униженномъ положеніи видитъ постоянное подкрѣпленіе своего самодурства. Такимъ образомъ, имѣя общимъ съ анархіею отсутствіе всякаго закона и права, обязательнаго для всѣхъ, самодурство въ сущности несравненно ужаснѣе анархіи, потому что даетъ озорничеству больше средствъ и простора и заставляетъ страдать большее число людей,—и опаснѣе ея еще въ томъ

отношеніи, что можетъ держаться гораздо дольше. Анархія (повторимъ, если только она возможна вообще) можетъ служить только переходнымъ моментомъ, который самъ себя съ каждымъ шагомъ долженъ образумливать и приводить къ чему-нибудь болѣе здравому; самодурство, напротивъ, стремится узаконить себя и установить, какъ незыблемую систему. Оттого оно, вмѣстѣ съ такимъ широкимъ понятіемъ о своей собственной свободѣ, старается, однако же, принять всѣ возможныя мѣры, чтобы оставить эту свободу навсегда только за собой, чтобы оградить себя отъ всякихъ дерзкихъ попытокъ. Для достиженія этой цѣли оно признаетъ какъ будто нѣкоторыя высшія требованія, и хотя само противъ нихъ тоже проступается, но предъ другими стоитъ за нихъ твердо. Нѣсколько минутъ спустя послѣ реплики, въ которой Дикой такъ рѣшительно отвергалъ, въ пользу собственнаго каприза, всѣ нравственныя и логическія основанія для сужденія о человѣкѣ,—этотъ же самый Дикой напускается на Кулигина, когда тотъ, для объясненія грозы, выговорилъ слово электричество. «Ну, какъ же ты не разбойникъ,—кричитъ онъ:—гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочешь шестами да рожнами какими-то, прости Господи, оборониться. Что ты, татаринъ, что ли? Татаринъ ты? А, говори: татаринъ?» И ужъ тутъ Кулигинъ не смѣетъ отвѣтить ему: «хочу такъ думать, и думаю, и никто мнѣ не указъ». Куда тебѣ,—онъ и объясненій-то своихъ представить не можетъ: принимаютъ съ ругательствами, да и говорить-то не даютъ. Поневолѣ тутъ резонировать перестанешь, когда на всякій резонъ кулакъ отвѣчаетъ, и всегда въ концѣ концовъ кулакъ остается правымъ...

Но—чудное дѣло!—въ самомъ непререкаемомъ, безотвѣтственномъ темномъ владычествѣ, давая полную свободу своимъ прихотямъ, ставя ни во что всякіе законъ

и логику, самодуры русской жизни начинають, однако же, ощущать какое-то недовольство и страхъ, сами не зная, передъ чѣмъ и почему. Все, кажется, попрежнему, все хорошо: Дикой ругаетъ, кого хочетъ; когда ему говорятъ: «какъ это на тебя никто въ цѣломъ домѣ угодить не можетъ!»—онъ самодовольно отвѣчаетъ: «вотъ поди жъ ты!» Кабанова держитъ попрежнему въ страхѣ своихъ дѣтей, заставляетъ невѣстку соблюдать всѣ этикеты старины, ѣстъ ее, какъ ржа желѣзо, считаетъ себя вполнѣ непогрѣшимой и ублажается разными Ѳеклушами. А все какъ-то неспокойно, нехорошо имъ. Помимо ихъ, не спросясь ихъ, выросла другая жизнь, съ другими началами, и хоть далеко она, еще и не видна хорошенько, но уже даетъ себя предчувствовать и посылаетъ нехорошія видѣнія темному произволу самодуровъ. Они ожесточенно ищутъ своего врага, готовы напуститься на самаго невиннаго, на какого-нибудь Кулигина; но нѣтъ ни врага ни виновнаго, котораго могли бы они уничтожить: законъ времени, законъ природы и исторіи беретъ свое, и тяжело дышатъ старые Кабановы, чувствуя, что есть сила выше ихъ, которой они одолѣть не могутъ, къ которой даже и подступить не знаютъ какъ. Они не хотятъ уступать (да никто покамѣстъ и не требуетъ отъ нихъ уступокъ), но съеживаются, сокращаются; прежде они хотѣли утвердить свою систему жизни навѣки нерушимую, а теперь тоже стараются проповѣдывать; но уже надежда измѣняетъ имъ, и они въ сущности хлопочутъ только о томъ, какъ бы на ихъ вѣкъ стало... Кабанова разсуждаетъ о томъ, что «послѣднія времена приходятъ», и когда Ѳеклуша разсказываетъ ей о разныхъ ужасахъ настоящаго времени—о желѣзныхъ дорогахъ и т. п.,—она пророчески замѣчаетъ: «и хуже, милая, будетъ».—Намъ бы только не дожить до этого,—со вздохомъ отвѣчаетъ Ѳеклуша.— «Можетъ и доживемъ», фаталистически говоритъ опять

Кабанова, обнаруживая свои сомнѣнія и неувѣренность. А отчего она тревожится? Народъ по желѣзнымъ дорогамъ ѣздитъ,—да ей-то что отъ этого? А вотъ видите ли: она, «хоть ты ее всю золотомъ осыпь», не поѣдетъ по дьявольскому изобрѣтенію; а народъ ѣздитъ все больше и больше, не обращая вниманія на ея проклятія; развѣ это не грустно, развѣ не служитъ свидѣтельствомъ ея безсилія? Объ электричествѣ провѣдали люди,—кажется, что тутъ обиднаго для Дикихъ и Кабановыхъ? Но видите ли, Дикой говоритъ, что «гроза въ наказанье намъ посылается, чтобъ мы чувствовали», а Кулигинъ не чувствуетъ, или чувствуетъ совсѣмъ не то, и толкуетъ объ электричествѣ. Развѣ это не своеволіе, не пренебреженіе власти и значенія Дикого? Не хотятъ вѣрить тому, чему онъ вѣритъ,—значитъ, и ему не вѣрятъ, считаютъ себя умнѣе его; разсудите, къ чему же это поведетъ? Не даромъ Кабанова замѣчаетъ о Кулигинѣ: «вотъ времена-то пришли, какіе учители проявились! Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужъ отъ молодыхъ-то требовать!» и Кабанова очень серьезно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она вѣкъ изжила. Она предвидитъ конецъ ихъ, старается поддержать ихъ значеніе, но уже чувствуетъ, что нѣтъ къ нимъ прежняго почтенія, что ихъ сохраняютъ уже неохотно, только поневолѣ, и что при первой возможности ихъ бросятъ. Она уже и сама какъ-то потеряла часть своего рыцарскаго жара; уже не съ прежней энергіей заботится она о соблюденіи старыхъ обычаевъ, во многихъ случаяхъ она ужъ махнула рукой, поникла предъ невозможностью остановить потокъ, и только съ отчаяніемъ смотритъ, какъ онъ затопляетъ мало-по-малу пестрые цвѣтники ея прихотливыхъ суевѣрій. Точно послѣдніе язычники предъ силою христіанства, такъ поникаютъ и стираются порожденія самодуровъ, застигнутыя ходомъ новой жизни. Даже рѣшимости вступить

на прямую открытую борьбу въ нихъ нѣтъ; они только стараются какъ-нибудь обмануть время, да разливаются въ безплодныхъ жалобахъ на новое движеніе. Жалобы эти всегда слышались отъ стариковъ, потому что всегда новыя поколѣнія вносили въ жизнь что-нибудь новое, противное прежнимъ порядкамъ; но теперь жалобы самодуровъ принимаютъ какой-то особенно мрачный, похоронный тонъ. Кабанова только тѣмъ и утѣшается, что еще какъ-нибудь, съ ея помощью, проскрипятъ старые порядки до ея смерти; а тамъ пусть будетъ, какъ угодно,—она ужъ не увидитъ. Провожая сына въ дорогу, она замѣчаетъ, что все дѣлается не такъ, какъ нужно по ея: сынъ ей и въ ноги не кланяется,—надо этого именно требовать отъ него, а самъ не догадался; и женѣ своей онъ не «приказываетъ», какъ жить безъ него, да и не умѣетъ приказать, и при прощаньи не требуетъ отъ нея земного поклона; и невѣстка, проводивши мужа, не воетъ и не лежитъ на крыльцѣ, чтобы показать свою любовь. По возможности, Кабанова старается водворить порядокъ, но уже чувствуетъ, что невозможно вести дѣло совершенно постаринѣ; напримѣръ, относительно вытья на крыльцѣ она только замѣчаетъ невѣсткѣ въ видѣ совѣта, но не рѣшается настоятельно требовать... Зато проводы сына внушаютъ ей такія грустныя размышленія:

«Молодость-то что значитъ! Смѣшно смотрѣть-то даже на нихъ. Кабы не свои, насмѣялась бы досыта. Ничего-то не знаютъ, никакого порядка! Проститься путемъ не умѣютъ. Хорошо еще у кого въ домѣ старшіе есть,—ими домъ-то и держится, пока живы. А вѣдь тоже, глупые, на свою волю хотятъ: а выйдутъ на волю-то, такъ и путаются на позоръ, на смѣхъ добрымъ людямъ. Конечно, кто и пожалѣетъ, а больше всего смѣются. Да не смѣяться-то нельзя: гостей позовутъ—посадить не умѣютъ, да еще, гляди, позабудутъ кого изъ родныхъ. Смѣхъ да и только! Такъ-то вотъ старина-то и выводится. Въ другой домъ и взойти-то не хочется. А и взойдешь-то, такъ

плюнешь, да вонъ скорѣе. Что будетъ, какъ старики-то перемрутъ, какъ будетъ свѣтъ стоять, ужъ я и не знаю. Ну, да ужъ то хорошо, что не увижу ничего.

Пока старики перемрутъ, до тѣхъ поръ молодые успѣютъ состарѣться,—на этотъ счетъ старуха могла бы и не безпокоиться. Но ей, видите ли, важно не то собственно, чтобы всегда было кому смотрѣть за порядкомъ и научить неопытныхъ; ей нужно, чтобы всегда нерушимо сохранялись именно тѣ порядки, остались неприкосновенными именно тѣ понятія, которыя она признаетъ хорошими. Въ узости и грубости своего эгоизма, она не можетъ возвыситься даже до того, чтобы помириться на торжествѣ принципа, хотя бы и съ пожертвованіемъ существующихъ формъ; да и нельзя отъ нея ожидать этого, такъ какъ у нея собственно нѣтъ никакого принципа, нѣтъ никакого общаго убѣжденія, которое бы управляло ея жизнью. Она въ этомъ случаѣ гораздо ниже того сорта людей, которыхъ принято называть просвѣщенными консерваторами. Тѣ расширили нѣсколько свой эгоизмъ, сливши съ ними требованіе порядка общаго, такъ что для сохраненія порядка они способны даже жертвовать нѣкоторыми личными вкусами и выгодами. На мѣстѣ Кабановой они бы, напримѣръ, не стали предъявлять уродливыхъ и унизительныхъ требованій земныхъ поклоновъ и оскорбительныхъ «наказовъ» отъ мужа женѣ, а озаботились бы только о сохраненіи общей идеи: это—жена должна бояться своего мужа и покорствовать свекрови. Невѣстка не испытывала бы такихъ тяжелыхъ сценъ, хотя и была бы точно такъ же въ полной зависимости отъ старухи. И результатъ былъ бы тотъ, что какъ бы ни плохо было молодой женщинѣ, но терпѣніе ея продолжалось бы несравненно дольше, будучи испытываемо медленнымъ и ровнымъ гнетомъ, нежели когда оно раздражалось рѣз-

кими и жестокими выходками. Отсюда ясно, разумѣется, что для самой Кабановой и для той старины, которую она защищаетъ, гораздо выгоднѣе было бы отказаться отъ нѣкоторыхъ пустыхъ формъ и сдѣлать частныя уступки, чтобы удержать сущность дѣла. Но порода Кабановыхъ не понимаетъ этого: они не дошли даже до того, чтобы представлять или защищать какой-нибудь принципъ внѣ себя,—они сами принципъ, и потому все, касающееся ихъ, они признаютъ абсолютно важнымъ. Имъ нужно не только, чтобы ихъ уважали, но чтобъ уваженіе это выражалось именно въ извѣстныхъ формахъ: вотъ еще на какой степени стоятъ они! Оттого, разумѣется, внѣшній видъ всего, на что простирается ихъ вліяніе, болѣе сохраняетъ въ себѣ старины и кажется болѣе неподвижнымъ, чѣмъ тамъ, гдѣ люди, отказавшись отъ самодурства, стараются уже только о сохраненіи сущности своихъ интересовъ и значенія; но въ самомъ-то дѣлѣ внутреннее значеніе самодуровъ гораздо ближе къ своему концу, нежели вліяніе людей, умѣющихъ поддерживать себя и свой принципъ внѣшними уступками. Оттого-то такъ и печальна Кабанова, оттого-то такъ и бѣшенъ Дикой: они до послѣдняго момента не хотѣли укоротить своихъ широкихъ замашекъ и теперь находятся въ положеніи богатаго купца наканунѣ банкротства. Все у него попрежнему, и праздникъ онъ задаетъ сегодня, и милліонный оборотъ порѣшилъ поутру, и кредитъ еще не подорванъ: но уже ходятъ какіе-то темные слухи, что у него нѣтъ наличнаго капитала, что его аферы не надежны, и завтра нѣсколько кредиторовъ намѣрены предъявить свои требованія; денегъ нѣтъ, отсрочки не будетъ, и все зданіе шарлатанскаго призрака богатства будетъ завтра опрокинуто. Дѣло плохо... Разумѣется, въ подобныхъ случаяхъ, купецъ устремляетъ всю свою заботу на то, чтобы надуть своихъ кредиторовъ и заставить ихъ вѣрить въ его бо-

гатство: такъ точно Кабановы и Дикіе хлопочутъ теперь о томъ, чтобы только продолжалась вѣра въ ихъ силу. Поправить свои дѣла они ужъ и не разсчитываютъ; но они знаютъ, что ихъ своевольство еще будетъ имѣть довольно простора до тѣхъ поръ, пока всѣ будутъ робѣть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомѣрны, такъ грозны даже въ послѣднія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чѣмъ менѣе чувствуютъ они дѣйствительной силы, чѣмъ сильнѣе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разумной опоры, тѣмъ наглѣе и безумнѣе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволъ на ихъ мѣсто. Наивность, съ которой Дикой говоритъ Кулигину: «хочу считать тебя мошенникомъ, такъ и считаю; и дѣла мнѣ нѣтъ до того, что ты честный человѣкъ, и отчета никому не даю, почему такъ думаю»,—эта наивность не могла высказаться во всей своей самодурной нелѣпости, если бы Кулигинъ не вызвалъ ее скромнымъ запросомъ: «да за что же вы обижаете честнаго человѣка?..» Дикой хочетъ, видите, съ перваго же раза оборвать всякую попытку требовать отъ него отчета, хочетъ показать, что онъ выше не только отчетности, но и обыкновенной логики человѣческой. Ему кажется, что если онъ признаетъ надъ собою законы здраваго смысла, общаго всѣмъ людямъ, то его важность сильно пострадаетъ отъ этого. И вѣдь въ большей части случаевъ такъ дѣйствительно и выходитъ,—потому что его претензіи бываютъ противны здравому смыслу. Отсюда и развиваются въ немъ вѣчное недовольство и раздражительность. Онъ самъ объясняетъ свое положеніе, когда говоритъ о томъ, какъ ему тяжело деньги выдавать:

«Что ты мнѣ прикажешь дѣлать, когда у меня сердце такое! Вѣдь ужъ знаю, что надо отдать, а все добромъ не могу.

Другъ ты мнѣ, и я тебѣ долженъ отдать, а приди ты у меня просить—обругаю. Я отдать—отдамъ, а обругаю. Потому, только заикнись мнѣ о деньгахъ, у меня всю нутренную разжигать станетъ; всю нутренную разжигаетъ, да и только... Ну, и втѣпоры ни за что обругаю человѣка».

Отдача денегъ, какъ фактъ матеріальный и наглядный, даже въ сознаніи самого Дикого пробуждаетъ нѣкоторое размышленіе: онъ сознаетъ, какъ онъ нелѣпъ, и сваливаетъ вину на то, «что сердце у него такое». Въ другихъ случаяхъ онъ даже и не сознаетъ хорошенько своей нелѣпости; но, по сущности своего характера, непремѣнно долженъ при всякомъ торжествѣ здраваго смысла чувствовать такое же раздраженіе, какъ и тогда, когда приходитъ необходимость выдавать деньги. Ему тяжело расплачиваться вотъ почему: по естественному эгоизму онъ желаетъ, чтобы ему было хорошо; все окружающее его убѣждаетъ, что это хорошее достается деньгами; отсюда прямая привязанность къ деньгамъ. Но тутъ его развитіе останавливается, эгоизмъ его остается въ предѣлахъ отдѣльной личности и знать не хочетъ ея отношеній къ обществу, къ своимъ ближнимъ. Ему надо побольше денегъ,—это онъ знаетъ, и потому желалъ бы ихъ только получать, а не отдавать. Когда же, по естественному ходу дѣлъ, доходитъ до отдачи, то онъ сердится и ругается: онъ принимаетъ это какъ несчастіе, наказаніе, въ родѣ пожара, наводненія, штрафа, а не какъ должную, законную расплату за то, что для него дѣлаютъ другіе. Такъ и во всемъ: по желанію себѣ добра, онъ хочетъ простора, независимости; но знать не хочетъ закона, опредѣляющаго пріобрѣтеніе и пользованіе всякими правами въ обществѣ. Онъ только хочетъ больше, какъ можно больше правъ для себя; когда же нужно признать ихъ и за другими, онъ считаетъ это посягательствомъ на его личное достоинство, и сердится, и старается всячески оттянуть дѣло

и воспрепятствовать ему. Даже когда онъ и знаетъ, что ужъ непремѣнно надо уступить, и уступитъ потомъ, а все-таки прежде постарается напакостить. «Я отдать—отдамъ, а обругаю!» И надо полагать, что чѣмъ значительнѣе выдача денегъ и чѣмъ настоятельнѣе необходимость ея, тѣмъ сильнѣе ругается Дикой... Изъ этого слѣдуетъ,—что, во-первыхъ, ругательство и все бѣшенство его хотя и непріятны, но не особенно страшны; и кто, убоявшись ихъ, отступился бы отъ денегъ и подумалъ, что ихъ ужъ и получить нельзя, тотъ поступилъ бы очень глупо; во-вторыхъ, что напрасно было бы надѣяться на исправленіе Дикого посредствомъ какихъ-нибудь вразумленій: привычка дурить въ немъ ужъ такъ сильна, что онъ подчиняется ей вопреки голосу собственнаго здраваго смысла. Ясно, что его никакія разумныя убѣжденія не остановятъ до тѣхъ поръ, пока съ ними не соединяется обязательная для него внѣшняя сила: Кулигина онъ ругаетъ, не внимая никакимъ резонамъ; а когда его самого однажды на перевозѣ, на Волгѣ, гусаръ обругалъ, такъ онъ съ гусаромъ не посмѣлъ связаться, а опять-таки выместилъ свою обиду дома: двѣ недѣли послѣ этого всѣ прятались отъ него по чердакамъ да по чуланамъ...

Всѣ подобныя отношенія даютъ вамъ чувствовать, что положеніе Дикихъ, Кабановыхъ и всѣхъ подобныхъ имъ самодуровъ далеко уже не такъ спокойно и твердо, какъ было нѣкогда, въ блаженныя времена патріархальныхъ нравовъ... Тогда, если вѣрить сказаніямъ старыхъ людей, Дикой могъ держаться въ своей высокомѣрной прихотливости не силою, а всеобщимъ согласіемъ. Онъ дурилъ, не думая встрѣтить противодѣйствія, и не встрѣчалъ его: все окружающее было проникнуто одной мыслью, однимъ желаніемъ—угодить ему; никто не представлялъ другой цѣли своего существованія, кромѣ исполненія его прихотей. Чѣмъ больше сумасброд-

ствовалъ какой-нибудь дармоѣдъ, чѣмъ наглѣе попиралъ онъ права человѣчества, тѣмъ довольнѣе были тѣ, которые своимъ трудомъ кормили его, и которыхъ онъ дѣлалъ жертвами своихъ фантазій. Благоговѣйные разсказы старыхъ лакеевъ о томъ, какъ ихъ вельможные бары травили мелкихъ помѣщиковъ, надругались надъ чужими женами и невинными дѣвушками, сѣкли на конюшнѣ присланныхъ къ нимъ чиновниковъ, и т. п.,— разсказы военныхъ историковъ о величіи какого-нибудь Наполеона, безстрашно жертвовавшаго сотнями тысячъ людей для забавы своего генія, воспоминанія галантныхъ стариковъ о какомъ-нибудь Донъ-Жуанѣ ихъ времени, который «никому спуску не давалъ» и умѣлъ опозорить всякую дѣвушку и перессорить всякое семейство,—всѣ подобные разсказы доказываютъ, что еще и не очень далеко отъ насъ это патріархальное время. Но,—къ великому огорченію самодурныхъ дармоѣдовъ,— оно быстро отъ насъ удаляется, и теперь положеніе Диканхъ и Кабановыхъ далеко не такъ пріятно: они должны заботиться о томъ, чтобы укрѣпить и оградить себя, потому что отовсюду возникаютъ требованія, враждебныя ихъ произволу и грозящія имъ борьбою съ пробуждающимся здравымъ смысломъ огромнаго большинства человѣчества. Отсюда возникаетъ постоянная подозрительность, щепетильность и придирчивость самодуровъ: сознавая внутренно, что ихъ не за что уважать. но не признаваясь въ этомъ даже самимъ себѣ, они обнаруживаютъ недостатокъ увѣренности въ себѣ мелочностью своихъ требованій и постоянными, кстати и некстати, напоминаніями и внушеніями о томъ, что ихъ должно уважать. Эта черта чрезвычайно выразительно проявляется въ «Грозѣ», въ сценѣ Кабановой съ дѣтьми, когда она, въ отвѣтъ на покорное замѣчаніе сына: «могу ли я, маменька, васъ ослушаться», возражаетъ: «не очень-то нынче старшихъ-то уважаютъ!»—и затѣмъ на-

чинаетъ пилить сына и невѣстку, такъ что душу вытягиваетъ у посторонняго зрителя.

Кабановъ. Я, кажется, маменька, изъ вашей воли ни на шагъ.

Кабанова. Повѣрила бы я тебѣ, мой другъ, кабы своими глазами не видала да своими ушами не слыхала, каково теперь стало почтеніе родителямъ отъ дѣтей-то! Хоть бы то-то помнили, сколько матери болѣзней отъ дѣтей переносятъ.

Кабановъ. Я, маменька...

Кабанова. Если родительница когда и обидное, по вашей гордости, скажетъ, такъ, я думаю, можно бы перенести!—А,—какъ ты думаешь?

Кабановъ. Да когда же я, маменька, не переносилъ отъ васъ?

Кабанова. Мать стара, глупа; ну, а вы, молодые люди, умные, не должны съ насъ, дураковъ, и взыскивать.

Кабановъ. (вздыхая,—въ сторону). Ахъ ты, Господи! (Матери). Да смѣемъ ли мы, маменька, подумать!

Кабанова. Вѣдь отъ любви родители и строги-то къ вамъ бываютъ, отъ любви васъ и бранятъ-то, все думаютъ добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдутъ дѣтки-то по людямъ славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даетъ, со свѣту сживаетъ... А, сохрани Господи, какимъ-нибудь словомъ снохѣ не угодить,—ну, и пошелъ разговоръ, что свекровь заѣла совсѣмъ.

Кабановъ. Нешто, маменька, кто говоритъ про васъ?

Кабанова. Не слыхала, мой другъ, не слыхала, лгать не хочу. Ужъ кабы я слышала, я бы съ тобой, мой милый, тогда не такъ заговорила.»

И послѣ этого сознанія старуха все-таки продолжаетъ на цѣлыхъ двухъ страницахъ пилить сына. Она не имѣетъ на это никакихъ резоновъ, но у ней сердце неспокойно: сердце у нея вѣщунъ, оно даетъ ей чувствовать, что что-то неладно, что внутренняя, живая связь между нею и младшими членами семьи давно рушилась, и теперь они только механически связаны съ нею и рады были бы всякому случаю развязаться.

Мы очень долго останавливались на господствующихъ

лицахъ «Грозы», потому что, по нашему мнѣнію, исторія, разыгравшаяся съ Катериною, рѣшительно зависитъ отъ того положенія, какое неизбѣжно выпадаетъ на ея долю между этими лицами, въ томъ бытѣ, который установился подъ ихъ вліяніемъ. «Гроза» есть, безъ сомнѣнія, самое рѣшительное произведеніе Островскаго; взаимныя отношенія самодурства и безгласности доведены въ ней до самыхъ трагическихъ послѣдствій; и при всемъ томъ большая часть читавшихъ и видѣвшихъ эту пьесу соглашается, что она производитъ впечатлѣніе менѣе тяжкое и грустное, нежели другія пьесы Островскаго (не говоря, разумѣется, объ его этюдахъ чисто-комическаго характера). Въ «Грозѣ» есть даже что-то освѣжающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнѣнію, фонъ пьесы, указанный нами и обнаруживающій шаткость и близкій конецъ самодурства. Затѣмъ, самый характеръ Катерины, рисующійся на этомъ фонѣ, тоже вѣетъ на насъ новою жизнью, которая открывается намъ въ самой ея гибели.

Дѣло въ томъ, что характеръ Катерины, какъ онъ исполненъ въ «Грозѣ», составляетъ шагъ впередъ, не только въ драматической дѣятельности Островскаго, но и во всей нашей литературѣ. Онъ соотвѣтствуетъ новой фазѣ нашей народной жизни, онъ давно требовалъ своего осуществленія въ литературѣ, около него вертѣлись наши лучшіе писатели; но они умѣли только понять его надобность и не могли уразумѣть и почувствовать его сущности: это сумѣлъ сдѣлать Островскій. Ни одна изъ критикъ на «Грозу» не хотѣла или не умѣла представить надлежащей оцѣнки этого характера; поэтому мы рѣшаемся еще продлить нашу статью, чтобы съ нѣкоторою обстоятельностью изложить, какъ мы понимаемъ характеръ Катерины, и почему созданіе его считаемъ такъ важнымъ для нашей литературы.

Русская жизнь дошла, наконецъ, до того, что добро-

дѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безразличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непремѣнно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь и въ дѣятельность. Но чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми, и т. п.; для преодолѣнія препятствій нужны характеры предпріимчивые, рѣшительные, настойчивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее требованіе правды и права, которое, наконецъ, прорывается въ людяхъ сквозь всѣ преграды, поставленныя Дикими-самодурами. Теперь большая задача представлялась въ томъ, какъ же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни. Задачу эту пытались разрѣшать наши писатели, но всегда болѣе или менѣе неудачно. Намъ кажется, что всѣ ихъ неудачи происходили отъ того, что они просто логическимъ процессомъ доходили до убѣжденія, что такого характера ищетъ русская жизнь, и затѣмъ кроили его сообразно съ своими понятіями о требованіяхъ доблести вообще и русской въ особенности. Такимъ образомъ и явился, напримѣръ, Калиновичъ, чуть не таскающій купца за бороду, чтобъ тотъ пожертвовалъ десять тысячъ на пользу общества, и истязающій въ тюрьмѣ стараго князя, на любовницѣ котораго женился, чтобы составить себѣ карьеру. Такъ явился и Штольцъ, отлично управляющій имѣніями и умѣющій живо уничтожать фальшивые векселя, при помощи благодѣтельнаго начальства. Явился

Инсаровъ, бросающій нѣмца въ воду, не соглашающійся жить даромъ въ гостяхъ на дачѣ у пріятеля и даже рѣшающійся жениться на любимой дѣвушкѣ. Явилась и княжна Зинаида, нѣчто среднее между Печоринымъ и Ноздревымъ въ юбкѣ... Все это были претензіи на сильные, цѣльные характеры...

Перебирая разнообразные типы, являвшіеся въ нашей жизни и воспроизведенные литературою, мы постоянно приходили къ убѣжденію, что они не могутъ служить представителями того общественнаго движенія, которое чувствуется у насъ теперь. Видя это, мы спрашивали себя: какъ же, однако, опредѣлятся новыя стремленія въ отдѣльной личности? какими чертами долженъ отличаться характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ съ старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни? Въ дѣйствительной жизни пробуждающагося общества мы видѣли лишь намеки на рѣшеніе нашихъ вопросовъ, въ литературѣ—слабое повтореніе этихъ намековъ; но въ «Грозѣ» составлено изъ нихъ цѣлое, уже съ довольно ясными очертаніями; здѣсь является передъ нами лицо, взятое прямо изъ жизни, но выясненное въ сознаніи художника и поставленное въ такія положенія, которыя даютъ ему обнаруживаться полнѣе и рѣшительнѣе, нежели какъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ обыкновенной жизни. Такимъ образомъ здѣсь нѣтъ дагеротипной точности, въ которой нѣкоторые критики обвиняли Островскаго; но есть именно художественное соединеніе однородныхъ чертъ, проявлявшихся въ разныхъ положеніяхъ русской жизни, но служащихъ выраженіемъ одной идеи.

Рѣшительный, цѣльный русскій характеръ, дѣйствующій въ средѣ Дикихъ и Кабановыхъ, является у Островскаго въ женскомъ типѣ, и это не лишено своего серьезнаго значенія. Извѣстно, что крайности отражаются крайностями, и что самый сильный протестъ бываетъ

тотъ, который поднимается, наконецъ, изъ груди самыхъ слабыхъ и терпѣливыхъ. Поприще, на которомъ Островскій наблюдаетъ и показываетъ намъ русскую жизнь, не касается отношеній чисто общественныхъ и государственныхъ, а ограничивается семействомъ; въ семействѣ же кто болѣе всего выдерживаетъ на себѣ весь гнетъ самодурства, какъ не женщина? Какой приказчикъ, работникъ, слуга Дикого можетъ быть столько загнанъ, забитъ, отрѣшенъ отъ своей личности, какъ его жена? У кого можетъ накипѣть столько горя и негодованія противъ нелѣпыхъ фантазій самодура? И, въ то же время, кто менѣе ея имѣетъ возможности высказать свой ропотъ, отказаться отъ исполненія того, что ей противно? Слуги и приказчики связаны только матеріально, людскимъ образомъ; они могутъ оставить самодура тотчасъ, какъ найдутъ себѣ другое мѣсто. Жена, по господствующимъ понятіямъ, связана съ нимъ неразрывно, духовно, посредствомъ таинства; что бы мужъ ни дѣлалъ, она должна ему повиноваться и раздѣлять съ нимъ безсмысленную жизнь. Да если бы, наконецъ, она и могла уйти, то куда она дѣнется, за что примется? Кудряшъ говоритъ: «я нуженъ Дикому, поэтому я не боюсь его и вольничать ему надъ собой не дамъ». Легко человѣку, который пришелъ къ сознанію того, что онъ дѣйствительно нуженъ для другихъ; но женщина, жена? Къ чему нужна она? Не сама ли она, напротивъ, все беретъ отъ мужа? Мужъ ей даетъ жилище, поитъ, кормитъ, одѣваетъ, защищаетъ ее, даетъ ей положеніе въ обществѣ... Не считается ли она, обыкновенно, обремененіемъ для мужчины? Не говорятъ ли благоразумные люди, удерживая молодыхъ людей отъ женитьбы: «жена-то вѣдь не лапоть, съ ноги не сбросишь!» И въ общемъ мнѣніи самая главная разница жены отъ лаптя въ томъ и состоитъ, что она приноситъ съ собою цѣлую обузу заботъ, отъ которыхъ мужъ не можетъ из-

бавиться, тогда какъ лапоть даетъ только удобство, а если неудобенъ будетъ, то легко можетъ быть сброшенъ... Находясь въ подобномъ положеніи, женщина, разумѣется, должна позабыть, что и она такой же человѣкъ, съ такими же самыми правами, какъ и мужчина. Она можетъ только деморализоваться, и если личность въ ней сильна, то получитъ наклонность къ тому же самодурству, отъ котораго она столько страдала. Это мы и видимъ, напр., въ Кабанихѣ...

Ясно изъ этого, что если ужъ женщина захочетъ высвободиться изъ подобнаго положенія, то ея дѣло будетъ серьезно и рѣшительно. Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоитъ поругаться съ Дикимъ; оба они нужны другъ другу, и, стало быть, со стороны Кудряша не нужно особеннаго героизма для предъявленія своихъ требованій. Зато его выходка и не поведетъ ни къ чему серьезному: поругается онъ, Дикой погрозитъ отдать его въ солдаты, да не отдастъ; Кудряшъ будетъ доволенъ тѣмъ, что отгрызся, а дѣла опять пойдутъ попрежнему. Не то съ женщиной: она должна имѣть много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои требованія. При первой же попыткѣ ей дадутъ почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могутъ. Она знаетъ, что это дѣйствительно такъ, и должна смириться; иначе надъ нею исполнятъ угрозу—прибьютъ, запрутъ, оставятъ на покаяніи, на хлѣбѣ и на водѣ, лишатъ свѣта дневного, испытаютъ всѣ домашнія исправительныя средства добраго стараго времени, и приведутъ таки къ покорности. Женщина, которая хочетъ итти до конца въ своемъ возстаніи противъ угнетенія и произвола старшихъ въ русской семьѣ, должна быть исполнена героическаго самоотверженія, должна на все рѣшиться и ко всему быть готова. Какимъ образомъ можетъ она выдержать себя? Гдѣ взять ей столько характера? На это только и можно отвѣчать

тѣмъ, что естественныхъ стремленій человѣческой природы совсѣмъ уничтожить нельзя. Можно ихъ наклонять въ сторону, давить, сжимать, но все это только до извѣстной степени. Торжество ложныхъ положеній показываетъ только, до какой степени можетъ доходить упругость человѣческой натуры; но чѣмъ положеніе неестественнѣе, тѣмъ ближе и необходимѣе выходъ изъ него. И значитъ, ужъ оно очень неестественно, когда его не выдерживаютъ даже самыя гибкія натуры, наиболѣе подчинявшіяся вліянію силы, производившей такія положенія. Если ужъ и гибкое тѣло дитяти не поддается какому-нибудь гимнастическому фокусу, то очевидно, что онъ невозможенъ для взрослыхъ, которыхъ члены болѣе тверды. Взрослые, конечно, и не допустятъ съ собою такого фокуса; но надъ дитятею легко могутъ его попробовать. Гдѣ беретъ дитя характеръ для того, чтобы ему воспротивиться всѣми силами, хотя бы за сопротивленіе обѣщано было самое страшное наказаніе? Отвѣтъ одинъ: въ невозможности выдержать то, къ чему его принуждаютъ... То же самое надо сказать и о слабой женщинѣ, рѣшающейся на борьбу за свои права: дѣло дошло до того, что ей ужъ невозможно дальше выдерживать свое униженіе, вотъ она и рвется изъ него, ужъ не по соображенію того, что лучше и что хуже, а только по инстинктивному стремленію къ тому, что выносимо и возможно. Натура замѣняетъ здѣсь и соображенія разсудка и требованія чувства и воображенія: все это сливается въ общемъ чувствѣ организма, требующаго себѣ воздуха, пищи, свободы. Здѣсь-то и заключается тайна цѣльности характеровъ, появляющихся въ обстоятельствахъ, подобныхъ тѣмъ, какія мы видѣли въ «Грозѣ», въ обстановкѣ, окружающей Катерину.

Такимъ образомъ, возникновеніе женскаго энергическаго характера вполнѣ соотвѣтствуетъ тому положенію, до какого доведено самодурство въ драмѣ Островскаго.

Опо дошло до крайности, до отрицанія всякаго здраваго смысла; оно болѣе, чѣмъ когда-нибудь, враждебно естественнымъ требованіямъ человѣчества и ожесточеннѣе прежняго силится остановить ихъ развитіе, потому что въ торжествѣ ихъ видитъ приближеніе своей неминуемой гибели. Черезъ это оно еще болѣе вызываетъ ропотъ и протестъ даже въ существахъ самыхъ слабыхъ. А вмѣстѣ съ тѣмъ самодурство, какъ мы видѣли, потеряло свою самоувѣренность, лишилось и твердости въ дѣйствіяхъ, утратило и значительную долю той силы, которая заключалась для него въ наведеніи страха на всѣхъ. Поэтому протестъ противъ него не заглушается уже въ самомъ началѣ, а можетъ превратиться въ упорную борьбу. Тѣ, которымъ еще сносно жить, не хотятъ теперь рисковать на подобную борьбу, въ надеждѣ, что и такъ недолго прожить самодурству. Мужъ Катерины, молодой Кабановъ, хоть и много терпитъ отъ старой Кабанихи, но все же онъ свободнѣе: онъ можетъ и къ Савелу Прокофьичу выпить сбѣгать, онъ и въ Москву съѣздитъ отъ матери и тамъ развернется на волѣ, а коли плохо ему ужъ очень придется отъ старухи, такъ есть на комъ вылить свое сердце—онъ на жену вскинется... Такъ и живетъ себѣ, и воспитываетъ свой характеръ, ни на что негодный, все въ тайной надеждѣ, что вырвется какъ-нибудь на волю. Женѣ его нѣтъ никакой надежды, никакой отрады, передышаться ей нельзя; если можетъ, то пусть живетъ безъ дыханія, забудетъ, что есть вольный воздухъ на свѣтѣ, пусть отречется отъ своей природы и сольется съ капризнымъ деспотизмомъ старой Кабанихи. Но вольный воздухъ и свѣтъ, вопреки всѣмъ предосторожностямъ погибающаго самодурства, врываются въ келью Катерины; она чувствуетъ возможность удовлетворить естественной жаждѣ своей души, и не можетъ долѣе оставаться неподвижною: она рвется къ новой жизни, хотя бы пришлось умереть въ этомъ по-

рывѣ. Что ей смерть? Все равно—она не считаетъ жизнью и то прозябаніе, которое выпало ей на долю въ семьѣ Кабановыхъ.

Такова основа всѣхъ дѣйствій характера, изображеннаго въ «Грозѣ». Основа эта надежнѣе всѣхъ возможныхъ теорій и паѳосовъ, потому что она лежитъ въ самой сущности даннаго положенія, влечетъ человѣка къ дѣлу неотразимо, не зависитъ отъ той или иной способности или впечатлѣнія въ частности, а опирается на всей сложности требованій организма, на выработкѣ всей натуры человѣка...

Напомнимъ здѣсь о значеніи матеріальной зависимости, какъ главной основѣ всей силы самодуровъ въ «темномъ царствѣ», чтобы указать рѣшительную необходимость того фатальнаго конца, какой имѣетъ Катерина въ «Грозѣ», и, слѣдовательно, рѣшительную необходимость характера, который бы, при данномъ положеніи, готовъ былъ къ такому концу.

Мы уже сказали, что конецъ этотъ кажется намъ отраднымъ; легко понять, почему: въ немъ данъ страшный вызовъ самодурной силѣ, онъ говоритъ ей, что уже нельзя итти дальше, нельзя долѣе жить съ ея насильственными, мертвящими началами. Въ Катеринѣ видимъ мы протестъ противъ кабановскихъ понятій и нравственности, протестъ, доведенный до конца, провозглашенный и подъ домашней пыткой и надъ бездной, въ которую бросилась бѣдная женщина. Она не хочетъ мириться, не хочетъ пользоваться жалкимъ прозябаніемъ, которое ей даютъ въ обмѣнъ за ея живую душу. Ея погибель—это осуществленная пѣсня плѣна вавилонскаго: играйте и пойте намъ пѣсни сіонскія,—говорили іудеямъ ихъ побѣдители; но печальный пророкъ отозвался, что не въ рабствѣ можно пѣть священныя пѣсни родины, что лучше пусть языкъ ихъ прилипнетъ къ гортани и руки отсохнутъ, нежели примутся они за гусли и за-

поютъ сіонскія пѣсни на потѣху владыкъ своихъ. Несмотря на все свое отчаяніе, эта пѣснь производитъ высоко-отрадное, мужественное впечатлѣніе: чувствуешь, что не погибъ бы народъ еврейскій, если бы весь и всегда одушевленъ былъ такими чувствами...

Но и безъ всякихъ возвышенныхъ соображеній, просто по человѣчеству, намъ отрадно видѣть избавленіе Катерины—хоть черезъ смерть, коли нельзя иначе. На этотъ счетъ мы имѣемъ въ самой драмѣ страшное свидѣтельство, говорящее намъ, что жить въ «темномъ царствѣ» хуже смерти. Тихонъ, бросаясь на трупъ своей жены, вытащенной изъ воды, кричитъ въ самозабвеніи: «хорошо тебѣ, Катя! А я-то зачѣмъ остался жить на свѣтѣ да мучиться!» Этимъ восклицаніемъ заканчивается пьеса, и намъ кажется, что ничего нельзя было придумать сильнѣе и правдивѣе такого окончанія. Слова Тихона даютъ ключъ къ уразумѣнію пьесы для тѣхъ, кто бы даже и не понялъ ея сущности ранѣе; они заставляютъ зрителя подумать обо всей этой жизни, гдѣ живые завидуютъ умершимъ, да еще какимъ—самоубійцамъ. Собственно говоря, восклицаніе Тихона глупо: Волга близко, кто же мѣшаетъ и ему броситься, если жить тошно? Но въ томъ-то и горе его, то-то ему и тяжко, что онъ пичего, рѣшительно ничего сдѣлать не можетъ, даже и того, въ чемъ признаетъ свое благо и спасеніе. Это нравственное растлѣніе, это уничтоженіе человѣка дѣйствуетъ на насъ тяжелѣе всякаго, самаго трагическаго происшествія: тамъ видишь гибель одновременную, конецъ страданій, часто избавленіе отъ необходимости служить жалкимъ орудіемъ какихъ-нибудь гнусностей; а здѣсь—постоянную, гнетущую боль, разслабленіе, полутрупъ, въ теченіе многихъ лѣтъ согнивающій заживо... И думать, что этотъ живой трупъ—не одинъ, не исключеніе, а цѣлая масса людей, подверженныхъ тлетворному вліянію Дикихъ и Кабановыхъ!

И не чаять для нихъ избавленія—это, согласитесь, ужасно! Зато какою же отрадною, свѣжею жизнью вѣетъ на насъ здоровая личность, находящая въ себѣ рѣшимость покончить съ этой гнилою жизнью, во что бы то ни стало!..

Литературные судьи останутся нами недовольны: мѣра художественнаго достоинства пьесы недостаточно опредѣлена и выяснена, лучшія мѣста не указаны, характеры второстепенные и главные не отдѣлены строго, а всего пуще—искусство опять сдѣлано орудіемъ какой-то посторонней идеи... Все это мы знаемъ, и имѣемъ только одинъ отвѣтъ: ежели наши читатели, сообразивъ наши замѣтки, найдутъ, что точно русская жизнь и русская сила вызваны художникомъ въ «Грозѣ» на рѣшительное дѣло, и если они почувствуютъ законность и важность этого дѣла, тогда мы довольны, что бы ни говорили наши ученые и литературные судьи.

Н. Добролюбовъ.

„Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ"—по силѣ художественнаго творчества*).

Какъ въ «Грозѣ» погибаетъ энергическая женская личность, задыхаясь безъ нравственнаго свѣта и воздуха, такъ въ драмѣ «Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ» обречена гибели сильная мужская личность. Женщина принижена и безвольна въ мірѣ Дикихъ и Кабановыхъ; но недостатокъ свѣта и воздуха направляетъ на ложный путь и самобытнаго, свободнаго Льва Краснова.

«Грѣхъ да бѣда» по силѣ художественнаго творчества — одно изъ высшихъ созданій Островскаго. Съ удивительнымъ искусствомъ сгруппировалъ поэтъ вокругъ своего героя представителей двухъ міровъ: барско-чиновничьяго съ одной стороны, народнаго купеческаго— съ другой.

Трудно сказать, кто хуже: легковѣсный юноша помѣщикъ Бабаевъ или тяжелый самодуръ лавочникъ Курицынъ.

Сынъ богатой помѣщицы, весело и безпечно, безъ думы и книги, прожившій жизнь, Валентинъ Павлычъ Бабаевъ, воспитанъ былъ въ легкомысленной атмосферѣ, выросъ среди дворовыхъ дѣвушекъ, съ ранней юности привыкъ къ пошлымъ интрижкамъ. Онъ человѣкъ не

---

*) Собраніе сочиненій *А. И. Незеленова*. Т. 3.

злой,— на вопросъ Зайчихи: «а что, хорошъ ли онъ для людей-то?» крѣпостной слуга Карпъ говоритъ: «ничего; хорошъ». Но уважать достоинство человѣка, достоинство и честь женщины, серьезно смотрѣть на жизнь онъ не можетъ. Застрявши въ маленькомъ городкѣ на нѣсколько дней, онъ скучаетъ и мечтаетъ о легкой интрижкѣ. «Повадился больно! Все у него интрижки на умѣ! (*говоритъ Карпъ*)... Живу я теперича съ нимъ въ Петербургѣ, какихъ только я дѣловъ навидѣлся. Грѣхъ одинъ!»

Встрѣча съ Таней Красновой, за которой, еще дѣвушкой, онъ ухаживалъ нѣкогда въ домѣ матери, очень его радуетъ. Ему нѣсколько неловко, что у Тани есть мужъ; но Лукерья Даниловна Жмигулина, прекрасно знающая его нравъ и привычки и вошедшая во вкусъ этихъ милыхъ привычекъ, сейчасъ же его успокаиваетъ: «Скажите, пожалуйста! Вы, кажется, были прежде совсѣмъ другихъ правиловъ насчетъ этого. Не очень на мужей-то смотрѣли, что имъ нравится, что нѣтъ».

И Бабаевъ начинаетъ волочиться за Таней. «Я опять ее увижу (*весело мечтаетъ онъ*)... Такая была она миленькая, нѣжненькая. Другіе говорили, что она немножко простенькая. Развѣ это порокъ въ женщинахъ?»

Таня, обрадовавшаяся тоже встрѣчѣ съ нѣкогда нравившимся ей человѣкомъ, проситъ его, чтобы отношенія между ними остались дружески-чистыми. Онъ, не придавая ни ей самой ни ея словамъ никакого значенія, сейчасъ же соглашается, но потомъ преспокойно отказывается отъ своего обѣщанія.—«А уговоръ?.. вчерашній. Помните, тамъ на берегу (*напоминаетъ ему Таня въ отвѣтъ на его назойливость*).—Нужно очень помнить! (*нагло-небрежно возражаетъ онъ*). Да и не было никакого уговора... Не хочу я знать никакихъ уговоровъ».

Онъ наивно и нагло откровененъ съ Таней,— онъ доказываетъ ей любовь свою такого рода соображеніями:

«Я, вѣдь, не говорю тебѣ, что я никогда не видалъ женщинъ красивѣе тебя, умнѣе. Вотъ тогда ты мнѣ могла бы прямо въ глаза сказать, что я лгу. Нѣтъ, я видѣлъ и лучше тебя и умнѣе, только не видалъ я никогда такой миленькой, добренькой, такой простенькой женщины, какъ ты».

О судьбѣ этой «простенькой» женщины онъ нисколько не думаетъ и не хочетъ думать. «Вотъ вы лучше посовѣтуйте, какъ мнѣ всю жизнь съ мужемъ-то жить», проситъ она; а онъ отвѣчаетъ: «ну да, какъ же! нужно мнѣ очень!» Ему и въ голову не приходитъ, что предметъ его легкаго развлеченія можетъ страданьемъ и даже смертью заплатить за нѣсколько весело имъ проведенныхъ дней. Онъ философически смотритъ на интрижки и видитъ въ нихъ даже нѣчто возвышенное и прекрасное: если нельзя поправить той бѣды, что вышла замужъ, учитъ онъ Татьяну Даниловну, «такъ можно, душенька... хоть на время усладить свое существованіе, чтобы не совсѣмъ заглохнуть въ этой пошлой жизни».

Наивный эгоизмъ Бабаева, презрительно-снисходительное отношеніе къ Танѣ и къ простой русской жизни, съ высоты своего барства и европейскаго полупросвѣщенія, комически выражены поэтомъ въ сценѣ 2-ой картины I акта, гдѣ Бабаевъ ожидаетъ на берегу рѣки свиданія. Онъ говоритъ, что ужасно не любитъ дожидаться, и что женщины вообще любятъ помучить.

«Конечно (прибавляетъ онъ), это къ Танѣ не относится: она, я думаю, рада-радехонька, что я пріѣхалъ; я говорю про женщинъ намъ равныхъ. Я думаю, онѣ мучатъ для того... какъ бы это сказать... а мысль совершенно оригинальная... для того, чтобъ впередъ вознаградить себя за тѣ права, которыя онѣ потомъ теряютъ. Вотъ что значитъ быть среди хорошаго ландшафта, такъ сказать наединѣ съ природой! Какія прекрасныя мысли приходятъ въ голову! *Если* эту мысль развить, конечно, на досугѣ, въ деревнѣ,

можетъ выйти миленькая повѣсть или даже комедія въ родѣ Альфредъ Мюссе. Только вѣдь у насъ не сыграютъ. Такія вещи нужно играть тонко, очень тонко; тутъ главное—букетъ».

Очень комической представляется и самоувѣренная глуповатость Бабаева въ сценѣ разговора его съ Таней, когда онъ пришелъ къ ней въ домъ. Онъ наивно, не желая и подумать, о какой жизни говоритъ, спрашиваетъ Таню: «Веселитесь ли вы здѣсь? есть ли у васъ развлеченія?» Онъ заводитъ рѣчь о хозяйствѣ, о домашнихъ обязанностяхъ хозяйки, и снисходительно-высокомѣрно, съ легкимъ юморомъ, очень довольный собою, замѣчаетъ: «Я спрашиваю, а и самъ хорошенько не знаю, въ чемъ заключаются эти обязанности».

Вліяніе легкомысленной жизни въ домѣ помѣщицы Бабаевой сказалось въ характерахъ Татьяны Даниловны и Лукерьи Даниловны, дочерей бѣднаго приказнаго Жмигулина, семейству котораго Бабаева покровительствовала.

Особенно вошла во вкусъ легкомысленно-пошлой жизни Лукерья Даниловна. Это одинъ изъ наиболѣе ярко обрисованныхъ у Островскаго комическихъ типовъ. Лукерья Даниловна свысока смотритъ на бытъ, среди котораго приходится ей съ сестрою жить. «Мы съ простонародьемъ никогда не знались», ядовито говоритъ она зятю, намекая на его родню. Воображая, что ея коснулось образованіе, она презрительно смотритъ на все, въ чемъ, по ея мнѣнію, нѣтъ благороднаго тона. «Вамъ по благородству вашему и знать-то это низко», замѣчаетъ она Бабаеву про хозяйство и его принадлежности: тамъ употребляются «слова низкія и даже довольно грязныя, которыхъ при людяхъ воспитанныхъ никогда не говорятъ... Къ хозяйству относится кухня и всякія простонародныя вещи: сковорода, сковородникъ, ухватъ. Развѣ это не низко?» Лукерья Даниловна

очень конфузится, разсказывая Бабаеву про замужество сестры Тани. «Въ это время (*говоритъ она*) посватался за Таню... я просто даже стыжусь вамъ сказать... Вы такъ милостиво меня принимаете, интересуетесь моей сестрой, и вдругъ этакое невѣжество съ нашей стороны!» — «Что жъ дѣлать!.. чѣмъ же вы виноваты?» снисходительно ободряетъ ее къ дальнѣйшему разсказу Бабаевъ; и, скрѣпя сердце, развязная дѣвица продолжаетъ: «Но, ахъ! я право всегда такъ конфужусь этого родства, что вы себѣ представить не можете. Ну, однимъ словомъ, обстоятельства наши были такія, что она принуждена была выйти за лавочника».

Интересно, что Лукерья Даниловна въ сущности понимаетъ, что Красновъ хорошій человѣкъ; но только нравственная точка зрѣнія на людей и жизнь кажется ей низкой и несоотвѣтствующей благородному тону, котораго она набралась въ домѣ своей благодѣтельницы. «Онъ изъ ихняго круга очень хорошій человѣкъ (*разсказываетъ она Бабаеву про зятя*) и очень любитъ сестру; только все, знаете, закоренѣлость какая-то въ ихнемъ званіи. Какъ хотите судите, а все-таки онъ отъ мужика недалеко ушелъ. А ужъ этой черты характера, хоть семь лѣтъ въ котлѣ вари, все не вываришь. Впрочемъ, надо правду сказать, онъ для дома хозяинъ отличный: ни дня ни ночи себѣ покою не знаетъ, все хлопочетъ да бѣгаетъ. И для сестры теперь все, что только бы ей ни пожелалось, даже послѣднюю копейку, готовъ отдать, только бы ей угодить... только одно: обращеніе его тяжело, да вотъ еще разговоръ его насъ очень конфузитъ. Совсѣмъ, совсѣмъ не такого я Танѣ счастья ожидала». Все простое, честное, искреннее, сердечное кажется Лукерьѣ Даниловнѣ невѣжествомъ и неблагородствомъ: «Это вы очень горячи къ любви-то, а мы совсѣмъ другого воспитанія», язвитъ она зятя. «Онъ будь тѣмъ доволенъ, что ты за него замужъ-то пошла

(*учитъ она сестру*); а то еще задумалъ надъ поведеніемъ наблюдать».

Вообще нравственныя понятія и чувства у Лукерьи Даниловны не въ уваженіи. Она спокойно и самоувѣренно учитъ сестру обманывать мужа. «Нашей сестрѣ безъ хитрости никакъ жить нельзя (*говоритъ она*), потому мы слабый полъ, со всѣхъ сторонъ обиженный». Ты переломи себя (*продолжаетъ она*), «принеси ему покорность: мужики это любятъ»; притворись, что влюблена въ него,— онъ уши-то и развѣситъ.— «Я должна буду противъ сердца говорить (*возражаетъ Краснова*).— Такъ что жъ за бѣда! Почемъ онъ знаетъ, что у тебя на сердцѣ. Нешто ему понять, что̀ притворное обращеніе, что̀ настоящее. Ты посмотри, послѣ такихъ твоихъ деликатностей онъ такъ въ тебя ввѣрится, что ты хоть въ глазахъ у него амурничай, онъ и то не будетъ замѣчать». Лукерья Даниловна и учитъ сестру свою «амурничать»; изъ желанія поддержать благородное знакомство съ Бабаевымъ и пустить этимъ пыли въ носъ своимъ городскимъ знакомымъ, она сводитъ сестру съ скучающимъ ловеласомъ, думая къ тому же, что связь Тани будетъ дѣломъ очень благороднаго тона. Довольная собою, она начинаетъ уже и фамильярничать съ Бабаевымъ: «До свиданія! (*говоритъ она, уходя отъ него*) Покойной ночи, пріятнаго сна! Розы рвать, жасмины поливать!.. Только какой вы! Ой, ой, ой! Ну ужъ молодецъ, нечего сказать! Я только смотрѣла да удивлялась».

Татьяна Даниловна стоитъ нравственно гораздо выше сестры: мы видѣли, что она считала дурнымъ дѣломъ связь съ Бабаевымъ и просила его быть съ нею въ отношеніяхъ чистой дружбы. «Только, голубчикъ, Валентинъ Павлычъ (*умоляетъ она*), если вы не хотите моего несчастія на всю мою жизнь, чтобы намъ такъ и любить другъ друга, какъ мы теперь любимъ, чтобъ

вы ничего больше и не думали. А то лучше Богъ съ вами, отъ грѣха подальше... потому что я хочу въ законѣ жить». Мы видѣли, что Татьянѣ Даниловнѣ не хочется притворяться передъ мужемъ любящей, лгать и говорить противъ сердца.

Но она недалека, слабохарактерна, нетверда въ нравственныхъ правилахъ, и потому легко подпадаетъ подъ растлѣвающее вліяніе сестры. Она не можетъ оцѣнить мужа и его любви. Когда онъ, внѣ себя отъ восторга, повѣрилъ ея притворному чувству, она говоритъ: «Несчастная я, несчастная! Говорятъ, надо любить мужа; а какъ я могу его любить? Грубый, неотесанный, ласки медвѣжьи! Сидитъ—ломается, какъ мужикъ». Бабаева ставитъ она гораздо выше, потому что у него манеры благороднѣе,—и измѣняетъ нравственному долгу.

Справедливость требуетъ сказать, что ее все-таки тяготитъ обманъ: «что хорошаго обманывать-то? (*говоритъ она Бабаеву*). Да и противно; не такой у меня характеръ». Есть въ Татьянѣ Даниловнѣ и нѣкоторая честность: когда мужъ сказалъ ей, что повѣритъ ея слову—была она у барина или нѣтъ,—она не захотѣла солгать и тѣмъ спасти себя, она сказала правду. Но правда не такъ сильна въ ней, чтобы повести къ примиренію съ нравственнымъ закономъ. Наивно или глупо, не понимая мужа, она тутъ же прибавляетъ: «ужъ лучше вы меня оставьте, чѣмъ намъ обоимъ мучиться; лучше разойдемтесь!»

Таковъ одинъ міръ, съ которымъ соприкасается своей жизнью Левъ Красновъ, міръ барскаго и чиновничьяго полуобразованія.

Происхожденіе, родство сближаютъ Краснова съ другимъ міромъ. Передъ нами въ драмѣ типическія личности Курицыныхъ, Аѳони, дѣдушки Архипа.

Курицынъ — человѣкъ прямой и простой, въ то же

время самодуръ въ самомъ грубомъ и первобытномъ смыслѣ слова. На женщину вообще, а на жену въ отношеніи ея къ мужу въ особенности, смотритъ онъ презрительно. «Не трожь, пущай ихъ! Я люблю, когда бабы браниться свяжутся», говоритъ онъ шурину, когда жена его завела перебранку съ невѣсткой.

Жену надо учить, бить не жалѣя, по его понятію, держать въ повиновеніи. «Балуешь ты свою жену (*удивляется онъ на Льва Краснова*)... Да воля и добрую жену портитъ. А ты бы съ меня примѣръ бралъ, училъ бы ты ее уму-разуму, такъ лучше бы дѣло-то, прочнѣй было. Спроси вотъ, какъ я твою сестру школилъ, небу жарко было». И онъ разсказываетъ, какъ иногда, заспоривши съ пріятелями о томъ, у кого жена обходительнѣе, онъ приводитъ всѣхъ къ себѣ въ домъ и показываетъ результаты своей выучки, заставляя жену по первому слову: «чего моя нога хочетъ?» кланяться въ ноги.

Вздорная и сварливая, завистливая жена его, родная сестра Льва Родіоныча, вполнѣ раздѣляетъ взгляды мужа; сгоряча да сдуру она было замѣтила на его нохвальбу суровостью: «Да ужъ вы, Мануйла Калинычъ, извѣстный варваръ, кровопивецъ! Вамъ только бы надъ женой ломаться да власть показывать, въ томъ вся ваша жизнь проходитъ»; но она сейчасъ же и очувствовалась и опомнилась: «Это я такъ, къ слову только, Мануйла Калинычъ! А что, конечно, сестрица, съ нашей сестрой безъ острастки нельзя. Не даромъ говорится: жену бей, такъ щи вкуснѣй». Она говоритъ это вполнѣ искренно: она такъ дѣйствительно и думаетъ, что женѣ необходимо кулачное ученье мужа. Но она вознаграждаетъ себя за терпѣніе побоевъ своего «кровопивца» сварами да ссорами съ тѣми, отъ кого не зависитъ. Ея первое удовольствіе — обидѣть словомъ невѣстку: «Кажется, не изъ барскаго роду взята (*язвитъ она Татьяну*

Даниловну), а изъ приказнаго. Не велика дворянка. Козелъ да приказный — бѣсова родня». Она наговариваетъ брату на Татьяну Даниловну; выслѣживаетъ ее и открываетъ ея сношенія съ Бабаевымъ, — открываетъ на зло ей и брату, чтобъ отомстить за себя.

По душевной злобѣ она похожа нѣсколько на младшаго брата—Аѳоню. Но тотъ превзошелъ ее въ злобѣ.

Аѳоня и дѣдушка Архипъ напоминаютъ намъ кузнеца Еремку и старика Илью въ драмѣ «Не такъ живи какъ хочется». Но только они нарисованы поэтомъ гораздо ярче, художественнѣе, жизненнѣе, нежели тѣ. Они важны въ драмѣ по ихъ вліянію на Льва Краснова, по ихъ отношеніямъ къ нему. Обратимся прежде къ характеру самого Краснова.

Левъ Родіонычъ Красновъ—человѣкъ хорошій, хорошій даже по отзыву Лукерьи Даниловны. Онъ любилъ свою родную семью и, вѣрный тому, что считалъ нравственнымъ долгомъ, заботился о ней, работалъ на нее. «Я тридцать лѣтъ для семьи бобылемъ жилъ (*говоритъ онъ*), до кроваваго пота работалъ, да тогда только жениться-то задумалъ, когда весь домъ устроилъ. Я тридцать лѣтъ себѣ никакой радости не зналъ». Женился онъ на Татьянѣ Даниловнѣ по любви—и дѣйствительно любитъ ее, и не только любитъ, а и уважаетъ. Онъ самъ ее никогда не обидитъ и никому въ обиду не дастъ; онъ не позволитъ сказать ей неласковаго, рѣзкаго слова. Мы видѣли уже изъ словъ Лукерьи Даниловны, что Танѣ хорошо живется: мужъ сдѣлаетъ для нея все, чего бы она ни пожелала. Женившись, онъ готовъ для жены измѣнить образъ жизни своей: ей не нравится—и онъ совсѣмъ оставилъ вино; онъ считаетъ ее образованной и гораздо болѣе его благовоспитанной—и хотѣлъ бы и въ этомъ сравняться съ нею: «будь я помоложе (*говоритъ онъ*), я бы для Татьяны Даниловны во всякую науку пошелъ. Я и самъ

вижу, чего мнѣ не хватаетъ-съ, да ужъ теперь года ушли. Душа есть-съ, а воспитанія нѣть-съ. А будь я воспитанъ-съ...» Но и безъ воспитанія онъ уменъ, здраво смотритъ на вещи. Онъ очень недоволенъ самодурными замашками зятя своего Курицына и его совѣтами — какъ обращаться съ женой.

«Ничего въ этомъ нѣтъ хорошаго, одинъ куражъ», говоритъ онъ въ отвѣтъ на разсказъ Курицына о спорѣ съ пріятелями насчетъ почтительности женъ. Онъ, защищая свою Татьяну Даниловну, ссорится съ родными, выгоняетъ даже сестру и не хочетъ знаться съ нею.

Красновъ вспыльчивъ, горячъ. Выгнавши родственниковъ за обиду жены, онъ говоритъ Татьянѣ Даниловнѣ: «Вы еще не знаете моего характера, я подчасъ самъ себѣ не радъ». — Что жъ, вы сердиты, что ли, очень? (*спрашиваетъ она*).— «Не то, что сердитъ, а горячъ: себя не помню, людей не вижу въ этомъ разѣ». Но, будучи такимъ, онъ умѣетъ себя сдерживать, умѣетъ владѣть собою. Онъ не хочетъ, чтобы жена его боялась. «Страху-то мнѣ отъ васъ не больно нужно-съ (*говоритъ онъ ей*). А желательно бы узнать, когда вы меня любить-то будете?» Благородный сердцемъ, онъ довѣрчивъ; до конца, до послѣдней минуты вѣритъ онъ Татьянѣ Даниловнѣ. Съ благородной гордостью отвергаетъ онъ наговоры на нее родныхъ. Онъ не хочетъ ея знакомства съ Бабаевымъ; онъ, основательно боясь такого сближенія, не хочетъ первоначально пускать жену къ Бабаеву; но потомъ соглашается и на это, потому что вѣритъ. Человѣкъ тревожный, горячій, чуткій, онъ не можетъ быть спокоенъ въ теченіе того получаса, какъ жена у барина; но онъ сдержитъ себя и все перенесетъ. «Что жъ дѣлать (разсуждаетъ онъ), сразу круто нельзя — вовсе отъ себя оттолкнешь. Само собою, что будетъ думаться, и то и другое въ голову полѣзетъ. Ну, да вѣдь не разбойникъ же онъ какой,

въ самомъ дѣлѣ. Да и супруга моя, какъ собственно недавно... То-есть, врагъ я самъ себѣ да и только! Вѣдь ничего не можетъ быть дурного; а я думаю да всякіе вздоры прибираю!.. Татьяна Даниловна! (*вырывается изъ его сердца крикъ любви и тоски*). Сохнулъ я по тебѣ, пока не взялъ за себя; вотъ и взялъ, да все сердце не на мѣстѣ. Не загуби ты парня! Грѣхъ тебѣ будетъ!» Красновъ самъ не свой отъ горя, вслѣдствіе размолвки съ женой; ему и кусокъ въ горло нейдетъ. Но горе мгновенно переходитъ въ безумную радость, когда дѣдушка Архипъ началъ рѣчь о мирѣ. Одно слово жены—и Красновъ вѣритъ ей, вѣритъ вполнѣ, безъ оговсрокъ и сомнѣній. Горячими ласками отвѣчаетъ онъ на этотъ шагъ съ ея стороны. Но этимъ еще дѣло не оканчивается. Какъ извѣстно, тотчасъ послѣ сцены обмана и притворства Татьяна Даниловна бѣжитъ, научаемая сестрою, къ барину. Страшныя сомнѣнія закрадываются въ душу довѣрчиво любящаго человѣка, когда, вернувшись домой, онъ не застаетъ жены. А тутъ злобные наговоры родныхъ... И вотъ является она сама, виновная и смущенная. Кажется, дѣло ясно. Но сила любви Краснова такъ велика, что все одолѣваетъ. Онъ еще разъ съ вѣрой обращается къ любимой женщинѣ: «Да не мучь ты меня! Скажи ты мнѣ, какъ на тебя смотрѣть-то, какими глазами? Врутъ, что ль, они?—такъ гнать ихъ вонъ, чѣмъ ни-попадя. Аль, можетъ, правду говорятъ? Освободи ты мою душу отъ грѣха. Скажи ты мнѣ, кто изъ васъ врагъ-то мой? Была ты тамъ?» Въ отвѣтъ на сознаніе Татьяны Даниловны Красновъ теряется—отъ душевной боли, отъ стыда, отъ обиды, отъ жалости къ женѣ. Оправившись послѣ перваго мгновенія, онъ хочетъ доискаться совѣсти у виновной; онъ, съ тайной надеждой на возможность примиренія, допрашиваетъ ее: «Съ чего ты загуляла-то? Грѣхъ, что ли, тебя попу-

талъ? сама ты не гадала этого надъ собой, не чаяла? Или своей охотой, что ли, на грѣхъ пошла? Теперь-то ты что? Сокрушаешься объ дѣлахъ своихъ, аль нѣтъ?.. Совѣстно тебѣ людей-то теперь, аль весело?» Краснову страстно хочется простить жену, и онъ бы простилъ и все забылъ великодушно, если бы одно слово примиренія съ ея стороны, сознанія вины своей. Красновъ стоитъ въ эту минуту очень высоко нравственно; онъ очень далекъ въ этотъ мигъ отъ трагическаго исхода драмы... Но онъ не встрѣчаетъ сочувствія, отвѣта и поддержки ни со стороны жены ни со стороны родныхъ. Сознавая фактъ преступленія, Татьяна Даниловна не признаетъ своей виновности. А Аѳоня подталкиваетъ брата подъ руку, разжигаетъ въ немъ огонь злобы и ненависти. И благородный порывъ великодушной любви переходитъ въ порывъ вражды; съ духовной выси Красновъ падаетъ въ грязь земли: человѣкъ обращается въ звѣря,—и убійство совершено.—Какъ посмотрѣть на это дѣло? Какъ оцѣнить поступокъ и самую личность Краснова? Поэтъ даетъ въ драмѣ отвѣтъ на эти вопросы.

Тотчасъ послѣ страшнаго дѣла выступаетъ дѣдушка Архипъ и произноситъ правдивый приговоръ надъ преступникомъ. Приговоръ этотъ—голосъ народа, выраженіе народныхъ идеальныхъ воззрѣній: «Что ты сдѣлалъ? Кто тебѣ волю далъ? Нешто она передъ тобой однимъ виновата? Она прежде всего передъ Богомъ виновата; а ты, гордый, самовольный человѣкъ, ты самъ своимъ судомъ судить захотѣлъ. Не захотѣлъ ты подождать милосерднаго суда Божьяго, такъ и самъ ступай теперь на судъ человѣческій! Вяжите его!» Личность сильная, но не смогшая, въ концѣ-концовъ, сдержать своей гордости и самовольства, признана несостоятельной судомъ народной правды.

А. Незеленовъ.

„Шутники"—по силѣ и значенію таланта Островскаго *).

Что̀ бы ни толковали о «Шутникахъ» фельетонные критики, пьеса пользуется большимъ успѣхомъ на сценѣ, и успѣхъ этотъ зависитъ никакъ не отъ имени любимаго автора, а совершенно объясняется достоинствами произведенія. Герой пьесы—отставной чиновникъ Оброшеновъ, промышляющій мелкими дѣлишками, хожденіемъ по присутственнымъ мѣстамъ, писаніемъ разныхъ бумагъ; за все это, приправленное шутовствомъ, прислужничаньемъ и полной безотвѣтственностью, Оброшеновъ пользуется подаяніемъ отъ своихъ милостивцевъ, которые, конечно, относятся къ нему съ полнымъ презрѣніемъ, какъ къ «приказной строкѣ», «гороховому шуту» и т. п. Но подаянія милостивцевъ очень важны для Оброшенова: ими онъ живетъ, ими содержитъ двухъ дочерей своихъ, для которыхъ и успѣлъ запасти домикъ, приносящій нѣкоторый доходъ. Въ сущности, личность Оброшенова вовсе не новая, это та самая личность, надъ которой много потрудились наши обличители,—но взглядъ автора новъ по его глубинѣ и своеобразности; ново и свѣжо отнесся къ этой личности Островскій именно потому, что взглянулъ на Оброшенова не какъ на «крапивное сѣмя», а какъ на человѣка: въ этомъ-то

*) Изъ „Русской Сцены" 1864 г. *Зелинскій*, 2. *Денисюкъ*, 2.

и сказалась съ новой силой могучесть и широкое значеніе таланта нашего автора, его жизненность и живучесть. Онъ показалъ намъ, какъ дорого стоило Оброшенову его отреченіе отъ человѣческихъ правъ, его униженіе, его возмутительное шутовство; онъ показалъ намъ, что въ этомъ шутѣ, въ этой приказной строкѣ скрывается живая человѣческая душа, страждущая, болящая, униженная. И вышло изъ ничтожнаго приказнаго, изъ забавнаго старикашки, изъ оборваннаго побирушки высокодраматическое лицо, надъ воспроизведеніемъ котораго пришлось не мало поработать такому талантливому артисту, какъ г. Самойловъ. Зато и впечатлѣніе этого лица, благодаря соединенію двухъ большихъ талантовъ, авторскаго и сценическаго,—огромное. По нашему мнѣнію, Оброшеновъ—одно изъ лучшихъ, наиболѣе оконченныхъ, истинно драматическихъ и въ то же время чисто народныхъ созданій Островскаго. Разсказъ несчастнаго старика о прошломъ, о борьбѣ, которую претерпѣлъ онъ прежде, нежели дошелъ до жалкаго смиренія, выразившагося, какъ всегда выражается всякое смиреніе (въ большей или меньшей мѣрѣ), въ уничтоженіи своего человѣческаго достоинства, этотъ скорбный, безыскусственно трогательный разсказъ, рядомъ съ возмутительнымъ шутовствомъ и низкопоклонничаньемъ, производитъ и тяжелое и вмѣстѣ отрадное впечатлѣніе: забитый, униженный, обезображенный, а все-таки живой человѣкъ слышенъ! Но въ томъ монологѣ слышится еще только тихій ропотъ, можетъ-быть, въ первый разъ произнесенный вслухъ передъ любимой дочерью; это робкій шопотъ надорвавшейся груди, боязливая жалоба на судьбу. Потомъ эта жалоба переходитъ въ громкое, открытое требованіе человѣческихъ правъ. Явно, что это требованіе уже рвалось изъ наболѣвшей груди, просилось на открытое заявленіе, и какой бы то ни было поводъ вызвалъ бы его наружу.

Въ одномъ случаѣ оно проявилось, когда чаша оскорбленія и униженія переполнилась: одинъ изъ милостивцевъ, самодуръ-купецъ, сладострастный старикашка, предлагаетъ его дочери роль любовницы и за то— хорошее денежное вознагражденіе; смиреніе Оброшенова не выдержало, въ немъ сильно, неудержимо заговорилъ оскорбленный человѣкъ, и низкопоклонный шутникъ выгоняетъ милостивца изъ своего дома. Въ другомъ случаѣ требованіе человѣческихъ правъ вышло наружу на радости, что пора униженія и рабской покорности всякой самодурной волѣ прошла: Оброшеновъ нашелъ пакетъ, въ которомъ по надписи значилось шестьдесятъ тысячъ,—по закону, онъ въ правѣ получить третью долю находки,—и тотъ капиталъ, который навсегда оградитъ и его и дочерей отъ всякихъ оскорбленій. Но—увы!—находка оказывается фальшивою: шутники подурачились надъ простачкомъ, устроили для себя потѣху отъ скуки, подбросили ему пустой пакетъ съ заманчивой надписью.

Обращаясь отъ главнаго героя «Шутниковъ» къ лицамъ второстепеннымъ, мы находимъ, что Островскій, особенно тщательно, съ особенной любовью обрабатывая типъ Оброшенова, повидимому, мало заботился о прочихъ лицахъ пьесы, очерчивалъ ихъ наскоро, легкими штрихами. Но, можетъ-быть, это не совсѣмъ рѣзкая растушевка фона и усиливаетъ впечатлѣніе главной фигуры, оттѣняя ее передъ зрителемъ.

Эн—ковъ.

Великосвѣтское общество въ комедіи „Бѣшеныя деньги“ *).

После «Ревизора» не многія драматическія произведенія увлекали меня до такой степени—глубиною и современностью сюжета и необыкновенно мастерскимъ изложеніемъ, какъ эта комедія Островскаго. Есть, конечно, и недостатки въ концепціи, мѣстами даже утрировка, но, во-первыхъ, и на солнцѣ есть пятна, а во-вторыхъ, записываться въ цехъ литературныхъ «цѣновщиковъ» я не имѣю охоты.

Сюжетъ «Бѣшеныхъ денегъ» простъ, естественъ и немногосложенъ. Дѣйствующихъ лицъ во всѣхъ пяти дѣйствіяхъ всего на всего шесть, если не считать лакеевъ «съ рѣчами», безъ которыхъ, съ легкой руки Гоголя, не обходится ни одна комедія. Въ первомъ дѣйствіи разорившаяся великосвѣтская барыня Чебоксарова, купно съ своею 24-хлѣтнею красавицей-дочерью Лидіей, ищетъ послѣдней выгоднаго, т.-е. денежнаго, жениха. Во второмъ дѣйствіи, послѣ неудачнаго приступа на Телятева, аристократа высшаго полета, ловится въ ихъ сѣти довольно богатый провинціалъ Васильковъ. Въ третьемъ — Васильковъ, черезъ недѣлю послѣ женитьбы, объявляетъ женѣ и тещѣ, что вести такую

*) Изъ „Одесскаго Вѣстника“ 1870 г., № 75. *Зелинскій*, 4.

разорительную жизнь имъ не по средствамъ, и соглашается заплатить послѣдніе долги ихъ (о всѣхъ, конечно, и нечего думать) только въ такомъ случаѣ, если онѣ сократятъ расходы и переѣдутъ въ скромную квартиру. Лидія на время соглашается,—мы переносимся въ четвертое дѣйствіе: Лидія, добившись отъ мужа уплаты своихъ долговъ, рѣшается принять предложеніе старика Кучумова, человѣка съ большими связями, но совершенно неосновательно считаемаго богатымъ,—предложеніе быть у него на содержаніи. Мужъ ея ловитъ ихъ на поцѣлуѣ—и они расходятся. Въ послѣднемъ дѣйствіи Лидія, убѣдившись, что у Кучумова нѣтъ средствъ, предлагаетъ себя сначала Телятеву, потомъ Глумову, «молодому да изъ раннихъ». Новая неудача; Лидія въ отчаяніи, но, узнавъ, что мужъ ея своими аферами хапнулъ не мало въ послѣднее время, посылаетъ за счастливымъ «предпринимателемъ». Между супругами происходитъ примиреніе. Въ числѣ условій, которыми Васильковъ, нуждающійся въ красавицѣ-аристократкѣ женѣ для своихъ дѣлъ (по желѣзнодорожной части), постарался оградить себя, главное мѣсто занимало — не выходить изъ бюджета.

Характерная особенность такъ называемыхъ свѣтскихъ людей—отсутствіе всякаго серьезнаго интереса въ жизни, всякаго дѣла. Они живутъ какимъ-то особымъ, совершенно замкнутымъ кружкомъ, въ который, по увѣренію Кучумова, весьма трудно попасть: «много, много надо имѣть достоинствъ». Великіе больные вопросы человѣчества, волнующіе все остальное общество до самыхъ основъ его нынѣшняго строя, проходятъ мимо этого свѣтскаго кружка, нисколько его не затрогивая. Какъ живутъ, мыслятъ, дѣйствуютъ, страдаютъ, любятъ, ненавидятъ, плутуютъ или сколачиваютъ себѣ деньгу эти «мизерабли», т.-е. все, что не изъ ихнихъ,—объ этомъ свѣтскіе люди не имѣютъ ни малѣйшаго по-

нятія, да и не интересуются имъ. Надежда Антоновна (мать Лидіи) вывѣдываетъ у Василькова, чѣмъ онъ занимается. — Васильковъ. Частными предпріятіями, имѣю дѣло больше съ простымъ народомъ: съ подрядчиками, съ десятниками.—Над. Ант. (снисходительно кивая головой). Да, десятники, сотники, тысячники... я слышала одну диссертацію...—Вас. Нѣтъ, у насъ только одни десятники.—Над. Ант. Ахъ, это очень хорошо... да, да, да, я вспомнила. Это теперь въ моду вошло... и нѣкоторые даже изъ богатыхъ людей... для сближенія съ народомъ... Ну, разумѣется, вы въ красной шелковой... въ бархатномъ кафтанѣ... Но вѣдь, чтобъ такъ проводить время, нужно имѣть состояніе.—Вас. Во-первыхъ, самое это дѣло ужъ довольно доходно.— Над. Ант. То-есть весело, вы хотите сказать; поютъ пѣсни, водятъ хороводы—вѣроятно, у васъ свои гребцы на лодкахъ.

Смотря на жизнь, какъ на безпрерывную цѣпь ежеминутно смѣняющихся развлеченій, свѣтскіе люди пріурочиваютъ къ такому легкому времяпрепровожденію и понятіе о «дѣлѣ», трудѣ. Настоящій же трудъ, если только какой-нибудь даровитый популяризаторъ, въ родѣ Василькова, успѣетъ его разъяснить имъ, неизвращенное понятіе о немъ—они безапелляціонно отрицаютъ и презираютъ. «Пожалѣйте меня, пожалѣйте мою гордость»,—умоляетъ Лидія мужа, предлагающаго ей быть у него экономкой съ приличнымъ жалованьемъ.— «Я дама, дама съ головы до ногъ».

Несмотря на свое абсолютное бездѣльничанье, свѣтскіе люди вѣчно заняты; у нихъ меньше свободныхъ минутъ, чѣмъ даже у какого-нибудь поденщика. У человѣка, которому дѣлать нечего, всегда дѣлъ много, говоритъ Телятевъ; и дѣйствительно, выѣзды по баламъ, концертамъ и гостямъ, пріемы у себя, поѣздка въ магазины и пр. и пр. требуютъ для добросовѣстнаго

выполненія ихъ столько времени, сколько не найдется у озабоченнаго лѣнтяя, имѣющаго въ своемъ распоряженіи въ сутки всего только 24 свободныхъ часа.

Благоразуміе, конечно, совѣтуетъ въ такихъ случаяхъ вести въ своихъ расходахъ сколько-нибудь выдержанную экономію, требуетъ установленія и строгаго выполненія извѣстнаго бюджета; но ни благоразуміе ни бюджетъ — не про такихъ людей писаны. Деньги, проходящія черезъ ихъ руки, деньги—бѣшеныя, по мѣткому выраженію Телятева; онѣ выскальзываютъ изъ рукъ, еще не успѣвъ почти попасть въ нихъ. Но Телятевъ ошибается, объясняя такое странное свойство ихъ тѣмъ, что онѣ пріобрѣтаются легко, безъ всякаго труда,—а что, дескать, легко наживается, то, по пословицѣ, легко и проживается. Нѣтъ, не легко добываются даже и бѣшеныя деньги, хотя трудъ, прилагаемый для этого свѣтскими людьми, принадлежитъ нерѣдко къ разряду умственныхъ стараній, а не физическихъ. Во всякомъ случаѣ, если хитрость, разстановку сѣтей и проч. и совѣстно назвать именемъ труда, то все же такой путь для пріобрѣтенія денегъ далеко не усѣянъ розами. Причина лежитъ въ коренномъ руководящемъ принципѣ свѣтскаго общества, который Надежда Антоновна формулируетъ: «всѣ такъ дѣлаютъ, всѣми это принято»; Фамусовъ: «что станутъ говорить!» Этотъ принципъ—круговая порука: «всѣ такъ поступаютъ, слѣдовательно, и мы, хоть разорвись, должны не отличаться отъ другихъ, а то, подумайте, что скажутъ о насъ»—вотъ единственная статья этого нравственнаго кодекса.

Но, кромѣ круговой поруки, есть еще другая причина, такъ сказать, физическая, лежащая въ природѣ членовъ этого круга. Замѣтивъ въ своемъ бюджетѣ хроническій дефицитъ, а въ казнѣ—ужасающую пустоту, и не желая оставаться въ такомъ безотрадномъ состояніи, государство можетъ или вступить на путь строгой бе-

режливости и пр., или же съ девизомъ après moi—le dèluge! броситься, очертя голову, на систему займовъ. Но описываемому Островскимъ обществу выбора въ выходахъ не представляется; чувство самосохраненія заставляетъ его итти дальше въ лѣсъ, невзирая на возрастающее количество пней. Чтобы вступить на первый путь, нужно имѣть не то чтобы выдержку въ трудѣ, а хоть простое понятіе о немъ, а его у праздныхъ людей нѣтъ; нужно имѣть понятіе о цѣнности денегъ,— а его нѣтъ; нужно внести въ свой лексиконъ слово «бюджетъ»,—а это свыше силъ; нужно имѣть характеръ, способность, знаніе,—а этого нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Мало того, рискъ страшно великъ: сократить свои расходы для нихъ равносильно утратѣ всякаго и у всѣхъ кредита; стоитъ опуститься одной ступенькой ниже— и, подобно падучей звѣздѣ, мгновенно скатишься на самую нижнюю ступеньку высокой лѣстницы, откуда и на слѣдующую врядъ ли поднимешься. Эти люди хорошо понимаютъ возможность такой грозной перспективы, и намъ вполнѣ понятенъ слѣдующій діалогъ.—Над. Ант. «Если остаться въ Москвѣ—мы принуждены будемъ сократить свой расходъ, надо будетъ продать серебро; нѣкоторыя картины, брильянты.—Лид. Ахъ, нѣтъ, нѣтъ, сохрани Богъ! Невозможно! Невозможно!»— А почему? Не картинъ и не брильянтовъ ей жаль, а она боится потери кредита: «вся Москва узнаетъ, что мы разорены; къ намъ будутъ являться съ кислыми лицами, съ притворнымъ участіемъ, съ глупыми совѣтами. Будутъ качать головами, охать, и все это такъ искусственно, форменно—такъ оскорбительно! Повѣрьте, что никто не дастъ себѣ труда даже притвориться хорошенько».—Над. Ант. «Но что жъ намъ дѣлать?— Лид. Что дѣлать? Не терять своего достоинства. Отдѣлывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новыя ливреи людямъ, берите новую

мебель, и чѣмъ дороже, тѣмъ лучше.—Над. Ант. Гдѣ же деньги? Кто за все заплатитъ?»

Кто за все заплатитъ?—вотъ вопросъ. Мужчины на него отвѣчаютъ такъ: тотъ, кто дастъ намъ средства продолжать такую жизнь, деньгами или натурою, т.-е. кредиторы или поставщики.

«Но вѣдь надо же будетъ платить, наконецъ», замѣчаетъ Васильковъ.—Телятевъ. «А вамъ-то какая печаль? Что вы ужъ очень заботливы? Вотъ охота лишнюю думу въ головѣ имѣть. Это дѣло предоставьте кредиторамъ, пусть думаютъ и получаютъ какъ хотятъ. Что вамъ въ чужое дѣло мѣшаться: наше дѣло—умѣть занять, ихъ дѣло—умѣть получить». А «умѣнье» достать дѣло не легкое. «Я ухитрилась взять въ долгъ коляску у одного каретника», говоритъ мать Лидіи, и говоритъ, повидимому простыя слова, а между тѣмъ какими поисками и хлопотами, какими душевными муками и униженіемъ вѣетъ отъ одного только слова «ухитрилась». А денегъ нужно много, страхъ какъ много; Телятевъ, довольно молодой еще холостякъ, умудрился не только пустить въ трубу свое значительное состояніе, но и задолжалъ до 300 тысячъ. Человѣка съ 8 тыс. ежегоднаго дохода Надежда Антоновна считаетъ нищимъ (едва на перчатки хватитъ) и находитъ весьма умѣренной тратой—проживать по 50 тыс. въ зиму. Женщины же, а вмѣстѣ съ ними и Лидія, на вопросъ: «кто за все заплатитъ?»—сначала отвѣчаютъ: будущій мужъ; когда же и у мужа не хватитъ средствъ заплатить за все, или когда онъ не захочетъ «для поддержанія достоинства фамиліи» грабить казну,—берутъ любовника; истощивъ его карманы, берутъ нѣсколькихъ, и въ заключеніе чуть не открыто предлагаютъ себя тому, кто даетъ дороже.

Понятно, какой упадокъ нравственности, доходящій до цинизма, порождается такимъ положеніемъ дѣлъ.

Мужчины получаютъ самое своеобразное понятіе о чести; прочія нравственныя качества вовсе теряются; но безъ чести человѣчество никогда не обходилось, не обходилось потому, что объективное понятіе «безусловной нравственности» присуще человѣческому уму и только видоизмѣняло свой субъективный характеръ, примѣняясь къ условіямъ времени, мѣста и къ самой личности того или другого человѣка. Такъ, напр., Глумовъ, отъявленнѣйшій и сознательный негодяй, возмущается Кучумовымъ: «хорошъ Кучумовъ! Говорилъ, что 12 тыс. наканунѣ выигралъ, а тутъ 600 р. отдать не могъ. Въ первый разъ человѣка (Василькова) видитъ—и остался долженъ». Впрочемъ, указывая на совершенное извращеніе нравственныхъ убѣжденій, дѣлающее такихъ господъ простыми мошенниками, я не берусь защищать ни многоразличныхъ спекулянтовъ ни ростовщиковъ. Всѣ они—одного поля ягоды; всѣ они эксплуататоры, паразиты общественнаго организма, и притомъ Телятевъ справедливо замѣчаетъ: «совѣсть моя такъ же чиста, какъ и карманы. Кредиторы мои давно получили съ меня втрое, а взыскиваютъ—только чтобы форму соблюсти». Мотовство порождаетъ производителей и продавцовъ предметовъ роскоши, равно какъ и ростовщиковъ; всѣ они, какъ говорится, однимъ миромъ мазаны, и Лидія вполнѣ основательно причисляетъ модныхъ commis къ тѣмъ лицамъ, осужденія которыхъ надо бояться. Больше объ этомъ я не нахожу нужнымъ распространяться и перехожу къ женщинамъ. Послѣднія, подъ вліяніемъ вышеочерченныхъ условій, утрачиваютъ, сверхъ прочаго, даже свойственное ихъ полу чувство стыдливости, а цинизмъ въ женщинѣ несравненно омерзительнѣе, нежели въ мужчинѣ: гаже, напр., пьяной женщины я не могу себѣ ничего представить.

Жажда «бѣшеныхъ денегъ» побуждаетъ молодую жен-

щину искать себѣ богатаго, выгоднаго мужа; чувства любви и взаимнаго уваженія, во всѣ вѣка дѣлавшія изъ брака священное таинство, забыты; мало того: попраны. Начинается беззастѣнчивое заманиваніе жениха; товаръ выставляется лицомъ—какъ маменькою, такъ и дочерью. «Мнѣ надо выйти замужъ, пора ужъ; вы мнѣ дѣлаете предложеніе—я принимаю его; чего же вамъ еще? говоритъ Лидія Василькову: заслужить взаимную любовь и уваженіе—да вы комедію хотите играть!» и пр. Наконецъ, цѣль молодой женщины достигнута: богатый мужъ пріобрѣтенъ. Но, какъ нарочно, богатый мужъ не хочетъ платить ея долговъ—упрямится; что тутъ дѣлать?—Над. Ант. Если бы ты, Лидія, оказала мужу побольше ласки... Переломи себя.—Лид. (задумавшись). Ласки? Ласки? О, если только нужно, онъ увидитъ такую ласку, что задохнется отъ счастья. Это будетъ мнѣ практикой. Мнѣ нужно испробовать себя, насколько сильна моя ласка, и что она стоитъ на вѣсъ золота? Мнѣ это годится впередъ, мнѣ безъ золота жить нельзя.—Над. Ант. Страшныя слова говоришь ты, Лидія.—Лид. Страшнѣе бѣдности ничего нѣтъ.—Над. Ант. Есть, Лидія: порокъ.—Лид. Порокъ! Что такое порокъ? Бояться порока, когда всѣ порочны, и глупо и нерасчетливо. Самый большой порокъ—бѣдность. Нѣтъ! нѣтъ! Это будетъ мой первый женскій подвигъ. Я доселѣ была скромна, кокетлива; теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись безъ стыда.—Над. Ант. Ахъ, перестань, Лидія! Ужасно, ужасно!—Лид. Вы старуха, вамъ бѣдность не страшна; я молодая, и хочу жить. Для меня жизнь тамъ, гдѣ блескъ, раболѣпство мужчинъ—и безумная роскошь.—Над. Ант. Я не слушаю.—Итакъ, почти нѣтъ борьбы въ Лидіи, да оно и понятно: лишь первый шагъ труденъ, а далѣе—что твои ледяныя горки. А этотъ первый шагъ былъ сдѣланъ, быть-мо-

жетъ, еще въ дѣтствѣ; здѣсь же простой переходъ отъ доселѣ смутно сознаваемой порочности къ вполнѣ сознательной и логически мотивированной.

Я не буду въ этой статьѣ слѣдить за постепеннымъ паденіемъ свѣтской дамы; ограничусь приведеніемъ одной изъ сценъ женскаго цинизма. Такихъ сценъ не мало. Надежда Антоновна заманиваетъ въ сѣти Василькова; Лидія ловитъ сначала Телятева, затѣмъ Василькова; уже вышедши замужъ, она имѣетъ по нѣскольку сценъ въ этомъ жанрѣ съ каждымъ изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи «мужеска» пола. Островскаго даже весьма серьезно можно упрекнуть въ томъ, что подобныя сцены—преобладающія въ комедіи, и не даютъ мѣста болѣе обширному разъясненію другихъ сторонъ свѣтской жизни; но его оправдываетъ то вѣское соображеніе, что предметъ, взятый имъ, настолько сложенъ, что не можетъ быть исчерпанъ въ какихъ-нибудь пяти актахъ.

Во всякомъ случаѣ та сцена, гдѣ недавно вышедшая замужъ Лидія отдается 60-лѣтнему развратнику Кучумову, кажется мнѣ наиболѣе характерною. Кучумовъ, съ которымъ она уже на короткой ногѣ, совѣтуетъ ей переѣхать на старую великолѣпную квартиру.—Лид. «Но, папаша, чѣмъ же намъ жить! У maman нѣтъ ничего, у меня тоже. На кредитъ нельзя разсчитывать.— Куч. Кредитъ! Да на что вамъ кредитъ? Стыдно! Стыдно! Надо было прямо обратиться ко мнѣ. Вы, фея наша легкокрылая, вы забыли свое могущество. Вамъ стоитъ сдѣлать только одинъ жестъ, и этотъ шалашъ превратится во дворецъ.—Лид. Какой жестъ, папаша?—Куч. Вы, какъ фея и какъ женщина, должны это знать лучше, чѣмъ мы, мужчины. У фей и женщинъ въ запасѣ много жестовъ.—Лид. (бросаясь ему на шею) Такой жестъ, папаша?—Куч. Такъ, такъ, такъ... (зажмуривъ глаза, опускается на стулъ). Вскорѣ входитъ Надежда Антоновна, которой Лидія объявляетъ,

что Кучумовъ совѣтуетъ имъ переѣхать на прежнюю квартиру: «наша жизнь будетъ вполнѣ обезпечена; папашка мнѣ обѣщалъ.— Над. Ант. Папашка! Гдѣ ты научилась? Ахъ, Лидія, какъ ты говоришь! Невозможно, невыносимо слушать матери.— Лид. Скажите! Стыдно? Я теперь рѣшилась называть стыдомъ только бѣдность, все остальное для меня не стыдно. Maman, мы съ вами женщины, у насъ нѣтъ средствъ жить даже порядочно, а вы желаете жить роскошно; какъ вы можете требовать отъ меня стыда. Нѣтъ, ужъ вамъ поневолѣ придется смотрѣть кой на что сквозь пальцы. Такова участь всѣхъ матерей, которыя воспитываютъ дѣтей въ роскоши и оставляютъ ихъ безъ денегъ.— Куч. Benissimo! Я никакъ не могъ ожидать, чтобы въ такой молодой женщинѣ было столько житейской мудрости.— Лид. Maman, папашка обѣщаетъ намъ на новоселье сорокъ тысячъ.— Над. Ант. (съ радостью). Неужели? (Кучумову). Вы очень, очень добрый человѣкъ. Однакожъ, все-таки подумать надо.— Лид. О чемъ думать? Здѣсь—униженіе, тамъ—счастіе.— Над. Ант. Пойдемте въ мою комнату, обсудимте вопросъ со всѣхъ сторонъ. Главное, чтобы приличіе было сохранено.

Обрисовавъ, хотя и отрывочными чертами (въ чемъ виноватъ не столько недостатокъ матеріала, сколько мѣсто), среду, ея условія и общее направленіе, какъ ее изобразилъ Островскій, я перейду къ тому, какіе характеры созидаетъ эта среда, къ анализу каждаго дѣйствующаго лица въ отдѣльности.

Полное отсутствіе всего, сколько-нибудь похожаго на серьезный трудъ, отсутствіе мало-мальски осмысленнаго интереса въ жизни,—отсюда скука, пустота, требующая наполненія ея хоть какими-нибудь пустыми, но дорого стоящими развлеченіями—вотъ общее содержаніе той среды, которую изображаетъ Островскій. Жизнь

безсодержательная, но дорого стоящая, требуетъ денегъ, средствъ все больше и больше; средствъ не хватаетъ, кредита не хватаетъ, большинство на волоскѣ отъ полнаго разоренія,—а чувство самосохраненія и связующій принципъ круговой поруки требуютъ ни на минуту не уклоняться отъ дальнѣйшаго шествія по прежнему пути. «Въ рѣдкомъ семействѣ не найдется такой тайны», отвѣчаетъ Телятевъ Лидіи на ея признаніе въ неимѣніи средствъ; но всѣ эти семейства продолжаютъ прежнюю жизнь à tout prix: цѣною чести, стыда, убѣжденій покупается незавидная возможность отсрочить на нѣкоторое время полное и гласное паденіе. Свѣтская жизнь съ внѣшней стороны почти не измѣнилась; но внутреннія ея основы до корня расшатались: цинизмъ во всемъ, пріобрѣтенный въ поискахъ за бѣшеными деньгами, вносится и въ обыкновенныя житейскія отношенія; упадокъ нравовъ и круговая порука взаимнаго развращенія идетъ crescendo.

Такова среда, существенныя черты которой я отмѣтилъ; мнѣ остается показать, на основаніи данныхъ комедіи, какъ ея общія условія вліяютъ на образованіе характеровъ лицъ, осужденныхъ на прозябаніе въ ней, подъ какой общій знаменатель подводитъ она, какой общій колоритъ набрасываетъ она на нихъ. Островскій даетъ пять вполнѣ обособленныхъ характеровъ: три мужскихъ (Глумовъ, Кучумовъ, Телятевъ) и два женскихъ (Лидія и ея мать). Василькова я совершенно оставляю въ сторонѣ; это наименѣе выдержанный характеръ, плохо удавшійся Островскому, и притомъ къ описываемой средѣ онъ не принадлежитъ, онъ «приблудшій»—для постройки сюжета и развязки. Глумовъ— типъ, достаточно исчерпанный Островскимъ уже въ предпослѣдней его комедіи, гдѣ онъ фигурируетъ въ качествѣ героя пьесы; но такъ какъ въ лицѣ его олицетворяется новый способъ пріобрѣтенія бѣшеныхъ де-

негъ, о которомъ мнѣ не удалось поговорить въ своемъ мѣстѣ, то я остановлюсь немного на немъ. Типъ человѣка, поставившаго себѣ цѣлью жизни сдѣлать карьеру черезъ посредство женщинъ,—типъ не новый въ литературѣ и встрѣчается почти во всѣхъ слояхъ общества; но только цинизмъ описываемой Островскимъ среды въ состояніи былъ породить нарочито гнусную отрасль его—жить на счетъ богатыхъ женщинъ; только въ такой средѣ могъ онъ безпрепятственно развиться и даже занять почетное мѣсто, такъ что даже у великосвѣтскихъ дамъ онъ пользуется извѣстностью подъ приличнымъ именемъ: un secrétaire intime. Въ свѣтѣ разносится завистливый слухъ, что Глумовъ, наконецъ, разбогатѣлъ; Лидія пересуживаетъ на эту тему съ Телятевымъ, какъ въ это время является и Глумовъ, и между ними начинается беззастѣнчивый разговоръ.

«Я долго и прилежно искалъ такую женщину,—говоритъ, между прочимъ, Глумовъ: я наперечетъ ихъ всѣхъ знаю». Далѣе онъ объявляетъ, что ѣдетъ съ своей довѣрительницей въ Парижъ, гдѣ она черезъ годъ, по его соображеніямъ, ноги протянетъ: «Вы видите (это къ Лидіи), что мнѣ некогда; годъ я долженъ сердобольно ухаживать за больной, а потомъ могу пожинать плоды трудовъ своихъ» и пр.

Новыхъ характеровъ въ комедіи четыре: Надежда Антоновна и Кучумовъ—изъ отживающаго уже поколѣнія, Телятевъ и Лидія—изъ современнаго. Надежда Антоновна—типъ довольно извѣстный. Съ молодости привыкшая къ роскоши и свѣтскому far niente, вышла она замужъ за богатаго и вліятельнаго человѣка, и продолжала такую же жизнь до тѣхъ поръ, пока не было недостатка въ средствахъ. Разореніе фамильнаго достоянія на первыхъ порахъ не особенно устрашило ее; не зная никогда цѣны деньгамъ, имѣя самыя смутныя понятія о томъ, откуда онѣ берутся, она ясно сознавала

только то, что вести иную жизнь, въ болѣе скромныхъ размѣрахъ, имъ не дозволяютъ ихъ привычки и общественное положеніе,—noblesse oblige. Къ счастію, мужъ былъ почти такого же мнѣнія — и она успокоилась, возложивъ на него всѣ заботы о добываніи средствъ. Не имѣя никакихъ нравственныхъ убѣжденій, не признавая иныхъ законовъ, кромѣ законовъ свѣта, моды и приличій, она развратила своего мужа, можетъ-быть, порядочнаго отъ природы человѣка,—исторія, сплошь и рядомъ повторяющаяся повсюду. «Онъ имѣлъ видное и очень отвѣтственное мѣсто,—поучаетъ она своего зятя; черезъ его руки проходило много денегъ,—и знаете ли, онъ такъ любовалъ меня и дочь, что, когда требовалась какая-нибудь очень большая сумма для поддержанія достоинства нашей фамиліи или просто даже для нашихъ прихотей, онъ... онъ не зналъ различія между своими и казенными деньгами. Понимаете ли вы, онъ пожертвовалъ собою для святого чувства семейной любви. Онъ былъ преданъ суду и долженъ былъ уѣхать изъ Москвы». Наконецъ, когда не только средства, но и кредитъ сталъ изсякать, Надежда Антоновна начала призадумываться. Въ первый разъ въ жизни ей пришло въ голову, что жить на широкую ногу, не имѣя гроша за душою, не всегда возможно: она замышляетъ сократить расходы, продать нѣкоторыя картины, брильянты и проч. и даже уѣхать на время въ деревню. Но здѣсь сталкивается она съ дочерью,—ея alter ego, только неумудренный еще житейскимъ опытомъ: Лидія отыскиваетъ средство—«мужъ за все заплатитъ», и начинается беззастѣнчивая погоня за женихами. Наконецъ, мужъ пойманъ, но платить «за все» отказывается, отговариваясь неимѣніемъ средствъ. Тогда Надежда Антоновна, въ послѣдній разъ въ своей жизни, выступаетъ лицомъ активнымъ: «мы имѣемъ связи, мы ищемъ и непремѣнно найдемъ вамъ хорошее мѣсто и богатую опеку.

Вамъ останется только подражать моему мужу, примѣрному семьянину. (Подходитъ къ Василькову, кладетъ ему руку на плечо и говоритъ шопотомъ.) Вы не церемоньтесь... Понимаете? (Показываетъ на карманъ.) Ужъ это мое дѣло, чтобы на васъ глядѣли сквозь пальцы». Васильковъ рѣшительно отказывается отъ такого предложенія, и съ этого времени Надежда Антоновна все болѣе и болѣе стушевывается. Слабо противорѣчитъ она рѣшенію, принятому Лидіей, и подъ конецъ всегда уступаетъ ей: втягивающая пропасть до того полно овладѣла ею, что вскорѣ она уже готова торговать собственною дочерью. Послѣднія черты, впрочемъ, достаточно исчерпаны въ выпискахъ, что̀ избавляетъ меня отъ необходимости далѣе останавливаться на этомъ.

Шестидесятилѣтній Кучумовъ—кровный аристократъ, съ большими связями и титулованной родней. Было у него когда-то большое состояніе, но все это давно уже прожито. Теперь онъ живетъ на женины средства; послѣдняя во̀-время догадалась умереть и еще при жизни завѣщала все свое состояніе племянницамъ, а мужу, «для поддержанія достоинства фамиліи», содержаніе выдается натурою: у него великолѣпные экипажи, гардеробъ, балы, вечера и пр. Шестидесятилѣтній младенецъ живетъ себѣ какъ у Христа за пазушкой, занимаетъ деньги, если кто дастъ, жуируетъ, волочится за молодыми женщинами,—и успѣваетъ напускать всѣмъ туману въ глаза; благодаря его родовитости, умѣнью держать себя съ достоинствомъ, умѣнью импонировать своими связями, мнимымъ богатствомъ, онъ пользуется почетомъ въ обществѣ, въ немъ заискиваютъ.

Совсѣмъ иной человѣкъ Телятевъ. Это единственная личность въ комедіи, въ которой еще сколько-нибудь сохранился человѣческій обликъ, который невольно возбуждаетъ если не симпатію, то хоть состраданіе въ читателѣ; простой здравый смыслъ «камардина» Василь-

кова нашелъ, что Телятевъ—не въ примѣръ лучше другихъ; «камардину» жалко его. Дѣйствительно, видно, что натура Телятева была когда-то цѣльная, богатая; онъ и теперь далеко не глупый и очень добрый человѣкъ, но—Боже мой—какъ испортила, именно заѣла его среда! Въ немъ воплотились всѣ громадные пороки и крошечные остатки добродѣтели всего типа; давать обстоятельную характеристику его—значило бы въ значительной мѣрѣ повторять уже сказанное. Особенность его—это какая-то апатія и своеобразная разочарованность во всемъ—не Печоринская и не Онѣгинская, а именно Телятевская разочарованность. Онъ влюбленъ и, повидимому, глубоко въ Лидію, а прочтите-ка сцены его деклараціи въ любви. Въ самыхъ, какъ говорится, патетическихъ мѣстахъ онъ считаетъ своею обязанностью сказать какое-нибудь острое, холодомъ обдающее словцо, выкинуть какой-нибудь фарсъ, даже просто попаясничать. Примѣръ: Лидія признается ему во взаимной любви, онъ порывисто обнимаетъ ее.—«Jean, ты мой?» томно спрашиваетъ красавица.—«Рабъ, рабъ, негръ, абиссинецъ...» фиглярствуетъ счастливый любовникъ. Другой примѣръ: Васильковъ, оставленный Лидіей, говоритъ «жалкія слова» о своемъ разбитомъ счастьѣ и, наконецъ, раздирающимъ душу образомъ рыдаетъ.—Телятевъ. Послушай! ты лучше замолчи! А то я самъ расплачусь; хороша будетъ у меня физіономія!» и пр. Очевидно, Телятевъ стыдится чувства,—новая черта, составляющая характерную особенность этого типа. Впрочемъ, ему, собственно говоря, и стыдиться нечего; если у него и было когда чувство, то, благодаря дрессировкѣ, давно улеглось въ форму. Это съ особенною яркостью проявляется въ его нравственномъ безсиліи сказать что-нибудь утѣшительное своему другу Василькову, убитому горемъ; ему истинно жаль его, и хочется сказать какое-нибудь ласковое, за-

душевное слово, но ихъ нѣтъ у него ни въ сердцѣ ни на языкѣ. «Поѣдемъ обѣдать; отличнымъ обѣдомъ покормлю тебя», повторяетъ онъ раза два, три; но скоро смолкаетъ и стушевывается въ виду несчастія, поразившаго его друга. Есть за Телятёвымъ еще одна особенность: онъ равнодушенъ къ деньгамъ и, пожалуй, къ комфорту. По своей безалаберности онъ способенъ промотать въ сорокъ лѣтъ до полумилліона, но онъ также весело или, вѣрнѣе, равнодушно обойдется и безъ копейки въ карманѣ; взять у кого бы то ни было денегъ (безвозвратно) онъ ни на секунду не призадумается, но точно такъ же готовъ всегда отдать первому встрѣчному послѣдній рубль: «что жалѣть чужія-то»,— вотъ его житейская философія. Подъ конецъ пьесы, кредиторы описываютъ все его имущество и сажаютъ его въ долговое отдѣленіе; но онъ весьма философично относится къ такому казусу. «Подержатъ, пока не надоѣстъ кормовыя платить, ну а тамъ и выпустятъ, и опять я свободенъ, и опять кредитъ будетъ, потому что я добрый малый, и у меня еще живы одиннадцать тетокъ и бабушекъ, и всѣмъ я наслѣдникъ... Москва такой городъ, что мы, Телятевы да Кучумовы, въ ней не погибнемъ. Долго еще каждый купчина за счастье будетъ считать, что мы ужинаемъ и пьемъ шампанское на его счетъ».

Что такое Лидія, мы уже достаточно знаемъ. Какъ выработался подобный характеръ, можно съ вѣроятностью заключить изъ общихъ условій среды, въ которой она развилась; но у Островскаго есть еще кое-какія спеціальныя свѣдѣнія, которыя я и приведу здѣсь. Отецъ и мать ничего на нее не жалѣли и воспитывали какъ куколку. «Она имѣетъ высшее образованіе, говоритъ о ней Надежда Антоновна. У насъ богатая французская библіотека. Спросите ее что-нибудь изъ миѳологіи, ну, спросите. Повѣрьте, она такъ хорошо знакома съ фран-

цузской литературой, и знаетъ то, о чемъ другимъ дѣвицамъ и не грезилось. Съ ней самый ловкій свѣтскій говорунъ не сговоритъ и не удивитъ ее ничѣмъ». При такомъ оборонительномъ образованіи, Лидія рано начала развиваться и скоро втянулась въ чарующую вначалѣ пустоту свѣтской жизни, стала порхать, какъ другія беззаботныя свѣтскія бабочки, и послѣ первыхъ двухъ зимъ окончательно сформировалась въ главныхъ чертахъ своего характера. Ее плѣняла именно эта беззаботность и безсодержательность словъ и поступковъ людей этого круга; все, что походило на мысль, возбуждало въ ней положительное отвращеніе, и понятно, серьезный и положительный Васильковъ не могъ ей нравиться. «Какіе-то онъ экономическіе законы выдумалъ! жаловалась она матери. Кому они нужны? Для насъ съ вами, надѣюсь, одни только законы и есть— законы свѣта и приличій. Если всѣ носятъ такое платье, такъ я хоть умри, а надѣвай. Тутъ некогда думать о законахъ, и надо ѣхать въ магазинъ и взять. То ли дѣло Глумовъ, Телятевъ и др. Мнѣ что за дѣло, что иные изъ нихъ хвастуны и лгутъ; по крайней мѣрѣ, съ ними весело, а онъ скученъ. Вотъ чего простить нельзя». Въ другомъ мѣстѣ она говоритъ: «я не знала, не чувствовала нужды и не хочу знать. Я знаю магазины: бѣлья, шелковыхъ матерій, ковровъ, мѣховъ, мебели; я знаю, что когда нужно что-нибудь, ѣдутъ туда, берутъ вещи, отдаютъ деньги; а если нѣтъ денегъ, велятъ commis пріѣзжать на домъ. Но откуда берутъ деньги, сколько ихъ нужно имѣть въ годъ, въ зиму, я никогда не знала и не считала нужнымъ знать. Я никогда не знала, что значитъ дорого, что дешево, я всегда считала все это жалкимъ, мѣщанскимъ, копеечнымъ расчетомъ. Я съ дрожью омерзѣнія скрывала отъ себя такія мысли. Я помню одинъ разъ, когда я ѣхала изъ магазина, мнѣ пришла мысль: не дорого ли я за-

платила за платье! Мнѣ такъ стало стыдно за себя, что я покраснѣла и не знала, куда спрятать лицо; а между тѣмъ я была одна въ каретѣ. Я вспомнила, что видѣла одну купчиху въ магазинѣ, которая торговала кусокъ матеріи; ей жаль и много денегъ-то отдать и кусокъ-то изъ рукъ выпустить. Она подержитъ его да опять положитъ, потомъ опять возьметъ, пошепчется съ какими-то двумя старухами, потомъ опять положитъ, а commis смѣются» и пр.

Изъ нея вырабатывалась страшная безсердечная эгоистка. Когда мать объявила ей (еще дѣвушкѣ) о разореніи отца, она только и нашла сказать: «Очень жаль! Но согласитесь, maman, что я, вѣдь, могла этого и не знать, что вы могли пожалѣть меня и не разсказывать о **вашемъ** (sic) разореніи. Вы найдете средство выйти изъ этого положенія, непремѣнно найдете, и ищите, думайте сами, а мнѣ-то что за печаль» и т. д. въ этомъ же родѣ. Когда мужъ ея отказался разоряться на ея прихоти и принудилъ переѣхать на болѣе скромную квартиру, она сочла себя жестоко униженной, оскорбленной—и рѣшилась отмстить ему. Это рѣшеніе, эгоизмъ, ея умственная пустота и привычка къ роскошной жизни скоро привели ее къ тому положенію, въ какомъ мы уже видѣли ее.

М. Г.

Современная жизнь въ комедіи „Волки и Овцы“ *).

Въ жизни общественной, какъ замѣчено, періодически повторяются моменты, когда общество и литература, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ причинъ, обращаются къ самоизученію, къ изученію недостатковъ въ существующихъ порядкахъ, учрежденіяхъ, вѣрованіяхъ, въ понятіяхъ о нравственности и т. д. Въ порывѣ негодованія, которымъ охвачены бываютъ обыкновенно изслѣдователи, въ виду вопіющей несправедливости однихъ членовъ общества и наглаго притѣсненія другихъ,—требовательность ихъ теряется въ безграничности, щепетильность достигаетъ апогея... Объемъ понятій о «несправедливости», «эксплоатаціи» расширяется до такой степени, что во всемъ человѣчествѣ вдругъ не оказывается ни одного члена, котораго бы нельзя было упрекнуть въ этихъ гнусныхъ стремленіяхъ. Если, сидя за столомъ съ товарищемъ, вамъ удается проглотить кусокъ, который любитъ вашъ коллега,—на васъ поспѣшатъ накинуть ярлычокъ неисправимаго эгоиста. Если наглая женщина, не чувствующая никакой привязанности, бросается къ вамъ на шею при свидѣтеляхъ,—вы обязаны жениться на ней, потому что, если вы порядочный человѣкъ, на васъ прежде всего лежитъ обязанность защиты чести женщины, сдѣлавшей необходимый шагъ вслѣд-

*) Изъ Одесскаго Вѣстника 1875 г., № 281. *Зелинскій*, 5. *Денисюкъ*, 4.

ствіе любви къ вамъ. Такая уступчивость, если хотите, дряблость, произведена отчасти оборотной стороной медали, называемой цивилизаціей. «Люди нынѣшняго времени», говоритъ одна изъ свѣтлыхъ головъ Англіи, «неспособны переносить упорный трудъ (вслѣдствіе удобствъ, представленныхъ цивилизаціей, энергія ослабла); они не могутъ сносить насмѣшку и злословіе, у нихъ нѣтъ смѣлости сказать какую-нибудь непріятность человѣку, съ которымъ они привыкли встрѣчаться, или спокойно встрѣтить (даже опираясь на народное сочувствіе) холодность небольшого кружка, въ которомъ они вращаются. Эта оцѣпенѣлость и трусость, въ смыслѣ общей характеристической принадлежности вѣка, еще недавняго происхожденія, но (видоизмѣняясь по различію темпераментовъ различныхъ націй) она составляетъ естественный результатъ прогресса цивилизаціи и будетъ развиваться, пока ей не противопоставятъ систему образованія». Нельзя сказать, чтобы требовательность, доходящая до такихъ чудовищныхъ размѣровъ, а съ другой стороны чрезвычайная мягкость характеровъ могли удовлетворить общество, въ которомъ отдѣльныя личности изнемогаютъ подъ бременемъ какъ той, такъ и другой. Требовательность рождаетъ въ такихъ случаяхъ недовѣріе, подозрительность. Справедливость, право, нравственность возбуждаютъ безконечные споры. Никто не можетъ указать ихъ границъ. Различное пониманіе дѣлаетъ спорящихъ врагами. Разрывы въ дружбѣ, любви происходятъ такъ быстро, что ихъ скорѣе можно признать сродни капризамъ, чѣмъ мотивированнымъ поступкамъ... Необходимо согласить, въ виду ассимиляціи отдѣльныхъ интересовъ, требованія отдѣльныхъ умовъ, зашедшихъ въ порывѣ негодованія и увлеченія такъ далеко, что эти требованія оказываются не по плечу современникамъ,—съ требованіями закона, съ новыми элементами, вносимыми въ

эту сферу произведенными реформами въ соціальной, экономической и правовой жизни народа. Работа эта не можетъ быть скоро окончена.

Мы переживаемъ именно такое время. Общая черта, которую представляетъ современная жизнь въ искусствѣ, въ правѣ, нравственности—это отсутствіе устойчивости въ основныхъ принципахъ, во всѣхъ этихъ сферахъ... Разбиты прежніе идолы, боги поэзіи, правды, ума; теперь мы заняты отысканіемъ атомовъ, изъ которыхъ составлялась ихъ сила, по отысканіи, новымъ способомъ соединить ихъ,—авось работа удастся.

Въ этотъ-то міръ неустановившихся взглядовъ на нравственность, порядочность и вводитъ насъ А. Н. Островскій въ своей новой комедіи.

Передадимъ вкратцѣ ея содержаніе.

Въ провинціи живетъ старая дѣва Мурзавецкая, владѣтельница большого, но разстроеннаго имѣнія. Въ уѣздѣ она пользуется значеніемъ, ей оказываютъ видимый почетъ; она слыветъ за богобоязненную, часто посѣщаетъ церковь. Но у этой женщины сильно развиты наклонности къ обиранію простачковъ. Такимъ простачкомъ является молодая вдова Купавина, ея сосѣдка по имѣнію, богатая женщина; и вотъ на нее направляется организаціонное нападеніе кровожаднаго волка. Это цѣлое предпріятіе. Прежде всего, по совѣту Мурзавецкой, Купавина беретъ себѣ въ управляющіе Чугунова, который изрядно наполняетъ свои карманы у богатой помѣщицы, а самъ, въ благодарность за то, что его пристроили къ доходному мѣсту, дѣлается послушнымъ орудіемъ въ рукахъ вліятельной Мурзавецкой. Онъ, при посредствѣ своего племянника Горецкаго, приготовляетъ подложные векселя отъ имени покойнаго мужа Купавиной сперва на 1.000 рублей, которые тотъ будто бы обѣщалъ выдать Мурзавецкой для раздачи бѣднымъ; такимъ же путемъ подготовляетъ подложное письмо на

30 тысячъ, которые-де онъ обѣщалъ брату Мурзавецкой (когда они задумали какое-то общее предпріятіе). Первые 1.000 р. Мурзавецкая дѣйствительно получила, но употребила ихъ не по указанному назначенію: 500-ми рублями она поспѣшила расплатиться съ рабочими, которые уже давно топтали ея пороги, ничего не получая за свою работу, а остальные 500 р. прячетъ въ карманъ, и подъ вліяніемъ угрызающей ее совѣсти идетъ вмѣстѣ съ своей племянницей Глафирой въ образную отмаливать свое прегрѣшеніе. Но не такъ удачно прошло приготовлявшееся второе ограбленіе 30 тыс. Планъ Мурзавецкой былъ или выманить эти 30 тыс., или если, чего добраго, заартачится, то предложить менѣе рѣзкую форму—выйти замужъ за племянника Мурзавецкой, забулдыгу, пропадающаго цѣлые дни въ трактирахъ или на охотахъ. Между тѣмъ знакомый Купавиной, Лыняевъ (мировой посредникъ), увидѣвъ у нея фальшивый вексель, по которому она уплатила 1.000 р., берется открыть поддѣлывателя. Племянница Мурзавецкой Глафира обѣщаетъ ему открыть виновника, съ однимъ только условіемъ, чтобы онъ весь тотъ вечеръ ухаживалъ за нею. Старому ожирѣвшему холостяку это не совсѣмъ съ руки, но онъ соглашается въ виду постановленной цѣли. Поддѣлыватель является въ лицѣ Горецкаго. Цѣль Лыняева достигнута. Но въ то время, когда онъ играетъ роль ухаживателя за Глафирой, она успѣваетъ ему сообщить, что она нервна, впечатлительна, что всякое прикосновеніе приводитъ ее въ дрожь... Сообщеніе Лыняеву объ этихъ чертахъ своей натуры Глафира дѣлаетъ, очевидно, не даромъ. Послѣ обѣда, когда Лыняевъ расположился отдохнуть и начинаетъ мечтать о прелестяхъ холостой жизни и даетъ себѣ слово никогда не жениться, къ нему неожиданно является Глафира, и между ними происходитъ слѣдующая сцена:

Глафира (поднося платокъ къ глазамъ). Что вы со мной сдѣлали?

Лыняевъ (протирая глаза). Я? Нѣтъ, что это вы со мной дѣлаете?

Глафира. Я не знаю... я помѣшалась... я не помню ничего. А во всемъ вы виноваты, вы...

Лыняевъ. Ни душой ни тѣломъ.

Глафира. Нѣтъ, вы, вы... я вамъ говорила.

Лыняевъ. Чѣмъ я виноватъ, чѣмъ?

Глафира. Я вамъ говорила, я васъ предупреждала, что сильная страсть можетъ вспыхнуть во мнѣ каждую минуту... Я такая нервная... Ну вотъ, ну вотъ... А вы, зная мою страстность...

Лыняевъ. Да вѣдь я по вашему приказанію.

Глафира. Я вамъ говорила... а вы сводили меня съ ума своими похвалами, цѣловали мои руки...

Лыняевъ. Да вѣдь шутка, Глафира Алексѣевна, шутка...

Глафира. Я вамъ говорила, что если ужъ я полюблю...

Лыняевъ. Да, говорили, кажется... но успокойтесь.

Глафира (съ отчаяніемъ). Вы меня погубили...

Далѣе слѣдуетъ опять: «я такая нервная», «не касайтесь» и т. д. Лыняевъ на прощаніе цѣлуетъ ей руку, а она бросается ему на шею.

Лыняевъ. Что это вы? Глафира Алексѣевна! Глафира Алексѣевна!

Глафира. Ахъ, сюда идутъ. Вы меня погубили... что подумаютъ. Куда мнѣ дѣться? другого выхода нѣтъ... Да вотъ они, идутъ... вы меня погубили...

Лыняевъ. Тише, ради Бога, тише.

Глафира. Ахъ, что вы со мной сдѣлали?

(Бросается ему на шею и закрываетъ глаза. Показываются въ дверяхъ Беркутовъ и Купавина).

Беркутовъ. Что я вижу? Другъ мой!

Купавина. Михайла Борисычъ! Михайла Борисычъ! Вотъ вы какой. Ахъ, притворщикъ!

Лыняевъ (сквозь слезы). Ну, что жъ! Ну, я женюсь!..

Упоминаемый здѣсь Беркутовъ, другъ Лыняева, живетъ обыкновенно въ Петербургѣ. Онъ на время пріѣзжаетъ въ провинцію, съ цѣлью жениться на Купавиной, въ сосѣдствѣ съ имѣніемъ которой находится и его имѣ-

ніе. Онъ узнаетъ о дѣйствіяхъ Мурзавецкой; говоритъ о юридическихъ послѣдствіяхъ поддѣлокъ, чѣмъ приводитъ въ ужасный испугъ Мурзавецкую, такъ что та «помиловать» проситъ. «Спасай меня, батюшка (говоритъ она), спасай. Въ ножки поклонюсь». Все это оканчивается помолвкой Лыняева и Глафиры, Беркутова и Купавиной. Вотъ какой разговоръ ведутъ между собой избавленные отъ наказанія за свои дѣянія Мурзавецкая и Чугуновъ.

Мурзавецкая. Вотъ золотой-то человѣкъ! Я его въ поминанье запишу. Запиши его ко мнѣ въ поминанье, да и къ себѣ запиши.

Чугуновъ. Золотой-то онъ—точно золотой; а я вамъ скажу вотъ что! За что насъ Лыняевъ волками-то называлъ? Какіе мы съ вами волки? Мы куры, голуби... по зернышку клюемъ, да никогда сыты не бываемъ. Вотъ они волки-то! Вотъ эти сразу помногу глотаютъ.

Въ другомъ мѣстѣ, когда племянникъ Мурзавецкой оплакиваетъ своего Тамерлана, котораго «близъ города, среди бѣлаго дня» съѣли волки, Чугуновъ говоритъ: «Близъ города, среди бѣлаго дня! Есть чему удивляться!.. Нѣтъ, тутъ не то, что Тамерлана, а вотъ сейчасъ передъ нашими глазами и невѣсту вашу да и съ приданымъ и Михаила Борисыча (Лыняева) съ его имѣніемъ волки съѣли, да и мы съ вашей тетенькой чуть живы остались. Вотъ это подиковеннѣе будетъ».

Чтобы сдѣлать понятными заключительныя слова Чугунова, мы должны обратиться къ отысканію овечьихъ и волчьихъ склонностей, проявляющихся у дѣйствующихъ лицъ. Кто волки и кто овцы? Въ жизни они пасутся на одномъ полѣ, живутъ бокъ-о-бокъ. Кто попроще, тотъ дѣлается овцой, кто половчѣе—волкомъ. Самая слабая овечка дѣлается въ свою очередь волкомъ, если встрѣчаетъ особь слабѣйшую себя. Точно такъ же и волкъ, передъ сильнѣйшими себя, дѣлается

овцой. Въ пьесѣ самою беззащитной овечкой является Купавина, молодая богатая вдова, добродушная, но глупая женщина. Обширнымъ хозяйствомъ своимъ она заправлять не можетъ, такъ какъ въ немъ ничего не понимаетъ. Довѣріе и слабохарактерность заставляютъ ее все дѣлать въ угоду сильнѣйшей ея въ отношеніи хищническихъ способностей—Мурзавецкой. Мурзавецкая рекомендуетъ ей въ управляющіе старую приказную крысу Чугунова. Тотъ наполняетъ слегка различными правильными и неправильными путями свои карманы; но, зная вліяніе Мурзавецкой на Купавину, держитъ себя въ отношеніи къ первой почтительно и готовъ исполнять всѣ ея приказанія. Онъ снабжаетъ ее фальшивыми векселями (предварительно на 1.000 руб., потомъ на 30 тыс.), которые должны быть уплачены за счетъ Купавиной. Какъ видите, стоя у самаго золотого руна, онъ уступаетъ свое право (такъ-сказать, право «перваго пріобрѣтателя») болѣе хищному звѣрю, который, въ противномъ случаѣ, того и смотри, проглотитъ его живьемъ. Одновременно съ этимъ, авторомъ выводится еще пара, состоящая изъ волка и овцы. Тутъ ужъ роль волка играетъ молодая племянница Мурзавецкой Глафира, а роль овцы—Лыняевъ, мировой посредникъ, старый неисправимый холостякъ. Глафира, передъ отъѣздомъ въ провинцію, жила въ Петербургѣ у одного родственника. Время это она вспоминаетъ, какъ непрерывный рядъ удовольствій. Балы, маскарады, театры, опера-буффъ, вечера, поклонники, рысаки, катанья по Невскому, великолѣпные наряды, соболя... Но въ одинъ прекрасный день имущество родственника распродается, онъ разоренъ—и Глафира препровождается въ провинцію къ Мурзавецкой. У старой ханжи, требующей абсолютной покорности, не желающей и знать потребности молодой женщины, Глафирѣ, понятно, не особенно хорошо живется; даже въ нарядахъ ей

отказываютъ. Она старается освободиться какъ-нибудь отъ этой жизни. Единственный исходъ—выйти замужъ. Но за кого? За бѣднаго—не стоитъ труда,—онъ не воротитъ ей прелестей петербургской жизни. Остается выйти за богатаго. Такимъ является Лыняевъ. Если не онъ,—другого выбора нѣтъ. Но Лыняевъ поклялся не жениться. Нужно употребить усилія, нужно таки достигнуть цѣли. Какъ сама Глафира сознается, она выучилась у своей тетки всѣмъ тонкостямъ хитрости, развила въ себѣ способность, достигая цѣли (какъ бы дурна она ни была), итти до конца, не краснѣя, не уступая голосу совѣсти; «я умѣю быть наглой», говоритъ она. Выше мы привели сцену, какъ она при посредствѣ этой наглости женитъ на себѣ человѣка, неповиннаго въ родившейся въ ея груди страсти «ни тѣломъ ни душою», по выраженію самого Лыняева.

Теперь остановимся на главномъ волкѣ пьесы Беркутовѣ, фамилія котораго уже даетъ знать о его хищническихъ способностяхъ. Этотъ Беркутовъ—сосѣдъ по имѣнію Купавиной. Ее онъ зналъ еще при жизни ея покойнаго мужа, человѣка преклонныхъ лѣтъ. Пользуясь тогда старостью благовѣрнаго Купавиной, онъ даже позволялъ себѣ за нею ухаживать. Потомъ онъ выѣхалъ въ Петербургъ служить. Прошло два года. По временамъ онъ бомбардировалъ ее оттуда своими письмами, на которыя она скоро перестала отвѣчать; но по просьбѣ Лыняева (согласившагося, вѣроятно, предварительно съ Беркутовымъ) она почти нехотя приписала въ его письмѣ къ Беркутову нѣсколько словъ, въ которыхъ приглашала посѣтить свое имѣніе. Скоро отъ Беркутова было получено письмо. Она отнеслась къ этому слишкомъ равнодушно. Вообще въ ней произошло совершенное охлажденіе къ Беркутову. По пріѣздѣ своемъ онъ, по всей вѣроятности, узналъ о такомъ настроеніи Купавиной отъ своего друга Лыняева, и потому принимаетъ свое-

образную тактику, которая, по его мнѣнію, неизбѣжно должна привести къ исполненію его желанія. Въ пьесѣ Беркутовъ является какъ deus ex machina и развязываетъ завязку. Интересно прослѣдить этотъ типъ «ловкаго» человѣка въ его дѣйствіяхъ, прослѣдить извилины его мысли, которыя, быть-можетъ, не такъ ярко выступаютъ при исполненіи. Когда Лыняевъ спрашиваетъ Беркутова, надолго ли тотъ пріѣхалъ къ нимъ, тотъ отвѣчаетъ: «я пріѣхалъ только жениться».

Лыняевъ. На комъ?
Беркутовъ. Что за вопросъ? на Евлампіи Николаевнѣ.
Лыняевъ. Развѣ у васъ уже все кончено?
Беркутовъ. Еще и не начиналось... Охъ, братъ, ужъ я давно поглядываю...
Лыняевъ. На Евлампію Николаевну?
Беркутовъ. Нѣтъ, на это имѣніе и на Евлампію Николаевну, разумѣется... Сколько удобствъ, сколько доходныхъ статей... А вонъ, налѣво у рѣки, что за уголокъ прелестный. Какъ будто сама природа создала его...
Лыняевъ. Для швейцарской хижины?
Беркутовъ. Нѣтъ, для винокуреннаго завода.

Далѣе онъ говоритъ, что имѣніе извѣстно ему какъ свои пять пальцевъ, что до четырехъ тысячъ десятинъ лѣсу Купавиной, въ виду скораго проведенія по этой мѣстности желѣзной дороги, примѣрно дадутъ слишкомъ милліонъ, и что надо поторопиться съ женитьбой, чтобы не разстроили хозяйства... Въ виду этого онъ, въ качествѣ добраго совѣтника, разсуждая съ Купавиной о положеніи ея дѣлъ, представляетъ ихъ въ такомъ мрачномъ видѣ, что безпомощная, безхарактерная, слабая женщина начинаетъ его упрашивать привести въ порядокъ ея дѣла. Беркутовъ соглашается, заранѣе зная, что никакихъ дѣлъ приводить въ порядокъ не придется. Далѣе онъ дѣлаетъ визитъ Мурзавецкой, безсовѣстно льститъ ей въ глаза, льститъ ея мелкимъ страстямъ,

и все потому, что она вліятельная женщина и можетъ услужить ему при приближающихся выборахъ въ предводители, въ предсѣдатели земской управы. Онъ называетъ ее святой женщиной, неспособной ни на что худое; говоритъ, что въ поддѣлкѣ фальшивыхъ векселей она, конечно, не принимала никакого участія, что ее самымъ гнуснымъ образомъ надуваютъ, вручая ей фальшивые векселя, вмѣсто дѣйствительныхъ, и что она довѣряется имъ только по чистосердечію и т. д. Упомянувъ въ концѣ-концовъ, для вящшей убѣдительности своей рѣчи, объ окружномъ судѣ, о скамьѣ подсудимыхъ, и напугавъ такимъ образомъ Мурзавецкую, онъ убѣждаетъ ее, что дѣло, благодаря стараніямъ его, будетъ потушено, и проситъ, взамѣнъ этого, посватать ему Купавину.

Дѣло удается.

Такъ вотъ эти волки. У однихъ волчьи склонности выражаются грубо, неумѣло, примитивно; у другихъ все дѣлается, повидимому, на чистоту, а между тѣмъ вся внутренняя махинація ихъ дѣйствій показываетъ, что это волки, ихъ маскируетъ только овечья шкура. Эти натуры все гнутъ въ свою сторону: и слухъ о проведеніи желѣзной дороги, потому что въ виду этого лѣсъ поднимается въ цѣнѣ (и, слѣдовательно, представляется значительная выгода жениться на женщинѣ, обладающей этимъ драгоцѣннымъ капиталомъ), и тупоуміе людское, и страстишки вліятельныхъ особъ, и т. д., и въ концѣ-концовъ захватываютъ въ награду за усилія громадный кусокъ отечественнаго пирога, передъ которымъ блѣднѣютъ всѣ продѣлки приказной крысы Чугунова. Вся разница между двумя категоріями этихъ волковъ въ манерѣ дѣйствій: одни глупы, ихъ образъ дѣйствій ведется путями противозаконными, и они такъ и просятся на скамью подсудимыхъ; другіе «ловки», дѣйствуютъ на законной почвѣ, хотя пускаютъ въ ходъ

и не совсѣмъ нравственныя средства... Въ обыденной жизни первые клеймятся названіемъ «плутовъ», вторые— «ловкихъ людей». Плуты не видятъ передъ собой хорошихъ примѣровъ; ловкіе люди, ведущіе свои дѣла способомъ, который гарантируетъ имъ свободу отъ юридическихъ преслѣдованій, еще не примѣръ имъ, тѣмъ болѣе, что и самый неглубокомысленный и поверхностный взглядъ способенъ усмотрѣть въ ихъ дѣйствіяхъ что-то недоброе, какую-то безнравственную точку...

— Ну, вы ужъ черезчуръ... Это люди обыкновенные, которые не совершаютъ ничего недозволеннаго закономъ.

— Конечно. Но сколько подлостей на свѣтѣ, не предусмотрѣнныхъ закономъ и не намѣченныхъ въ его параграфахъ...

Гдѣ же истинно хорошіе люди? Они явятся. Это безъ сомнѣнія. Теперь же на свѣтѣ все «волки да овцы, овцы да волки».

Б.

Значеніе „Лѣса“ по мысли, содержанію и типамъ *).

Новая комедія А. Н. Островскаго, во всякомъ случаѣ, представляетъ явленіе весьма крупное въ нашей литературѣ. Почтенный авторъ цѣлаго ряда бытовыхъ комедій въ такой степени сроднился съ жизнью русскою, въ такой степени изучилъ различные отдѣльные типы нашего общества, съ такимъ мастерствомъ и художественностью очертилъ эти типы, что получилъ полнѣйшее право считаться единственнымъ въ настоящее время русскимъ драматургомъ, художнической кистью воспроизведшимъ общественные недуги въ цѣломъ и въ частностяхъ.

Въ качествѣ строгаго сатирика, онъ съ необыкновенною силою и энергіей указываетъ на больныя мѣста извѣстной среды и съ такою же энергіей протестуетъ противъ грубаго невѣжества, парализующаго понынѣ прогрессивныя проявленія людей, стремящихся выбраться на прямую дорогу и, къ сожалѣнію, сталкивающихся на каждомъ шагу съ представителями темнаго царства, живущими своею ненормальною жизнью, наподобіе дикихъ обитателей безконечнаго дремучаго лѣса, исключительно озабоченныхъ своимъ матеріальнымъ благосо-

*) Изъ „Русскаго Міра 1871 г., № 63. *Зелинскій*, 4. *Денисюкъ*, 4.

стояніемъ и съ полнымъ равнодушіемъ относящихся ко всему живому, ко всему, что можетъ повести къ общему благу.

А. Н. Островскій протестуетъ противъ грубаго невѣжества, съ такою силою проявляющагося въ эгоизмѣ и самодурствѣ многочисленной еще на Руси среды... Въ этомъ-то заключается громадная заслуга драматурга, стоящаго выше своихъ критиковъ, придающихъ прежде всего значеніе внѣшней сторонѣ дѣла и недостаточно углубляющихся во внутренній смыслъ любой изъ комедій талантливаго и плодовитаго писателя. Глубокій, вѣрный психическій этюдъ изображаемыхъ типовъ—выше всякихъ формъ и рутинныхъ сценическихъ условій, и поэтому,—несмотря на нѣсколько утомляющую разговорную форму и, вслѣдствіе того, на отсутствіе, въ извѣстной степени, сценическаго движенія,—нельзя не причислить и новую комедію А. Н. Островскаго «Лѣсъ» къ болѣе удавшимся произведеніямъ его. Эта комедія безъ всякой примѣси носитъ на себѣ отпечатокъ чисто русскій, а съ такими произведеніями приходится, къ сожалѣнію, такъ рѣдко встрѣчаться на сценѣ, такъ называемаго, русскаго театра, находящагося подъ сильнымъ вліяніемъ эффектной, но пустѣйшей французской школы. Протестъ противъ недостатка образованія, противъ невѣжества составляетъ главную задачу комедіи «Лѣсъ».

Въ заключительномъ, энергическомъ монологѣ героя комедіи, Несчастливцева, рельефно выражена мысль, руководящая авторомъ; ясно мотивировано самое названіе комедіи. Несчастливцевъ обращается къ товарищу своему Счастливцеву съ слѣдующими словами: «Аркадій, насъ гонятъ. И въ самомъ дѣлѣ, братъ Аркадій, зачѣмъ мы зашли, какъ мы попали въ этотъ лѣсъ, въ этотъ сыръ-дремучій боръ? Зачѣмъ мы, братецъ, спугнули совъ и филиновъ? Что имъ мѣшать! Пусть ихъ жи-

вутъ, какъ имъ хочется! Тутъ все въ порядкѣ, какъ въ лѣсу быть слѣдуетъ»... и пр.

Лѣсъ — этотъ сыръ-дремучій боръ — характеризуетъ среду, въ которую попали Несчастливцевъ и его товарищъ; дѣйствующія лица комедіи и составляютъ эту среду.

Но прежде, чѣмъ вмѣстѣ съ Островскимъ резюмировать монологомъ Несчастливцева главное содержаніе комедіи, читателю необходимо познакомиться съ выведенными въ комедіи типами.

Несчастливцевъ—странствующій провинціальный актеръ-трагикъ, бѣдный горемыка-труженикъ, съ горячимъ сердцемъ, съ отчаянною головою, живущій настоящимъ. Это въ полномъ смыслѣ широкая русская натура, способная на все доброе и вмѣстѣ съ тѣмъ увлекающаяся до крайности. Это—драгоцѣнный алмазъ въ первобытной своей неотдѣланной формѣ, это—артистическая душа, навѣвающая на зрителя грустныя и вмѣстѣ отрадныя думы. Въ лицѣ его представляется типъ, выхваченный авторомъ изъ жизни, типъ, положимъ, нѣсколько исключительный по своему положенію, но въ высшей степени интересный. Не мало встрѣчаешь на Руси такихъ людей на всевозможныхъ поприщахъ; люди эти не могутъ не возбуждать къ себѣ самаго теплаго сочувствія, а между тѣмъ сердце заливается кровью при мысли, что бѣдные труженики потеряны для общества, которому могли бы служить съ такою пользою, если бы получили образованіе. Много на Руси несчастливцевъ—честныхъ натуръ, погибающихъ оттого, что имъ не протянута въ свое время дружеская рука со стороны тѣхъ, отъ которыхъ зависѣла ихъ судьба. Это жертвы всеподавляющаго эгоизма.

И странствуетъ горемыка изъ города въ городъ и разыгрываетъ трагедіи—для дневного пропитанія. Въ вѣчной борьбѣ проводитъ бѣдный труженикъ жизнь

свою, проходятъ быстро дни, мѣсяцы, годы, и разбитый горемъ несчастный отдается гибельной страсти, и незамѣченный кончаетъ свои страданія въ нищетѣ. Такова судьба людей съ горячимъ сердцемъ, съ честными стремленіями, но безсильныхъ среди нестоящихъ ихъ невѣжественныхъ и блаженствующихъ представителей темнаго царства или — если хотите — обитателей дремучаго лѣса...

Несчастливцевы разыгрываютъ комедіи на сценѣ, но съ полной откровенностью, искренностью дѣйствуютъ въ жизни, душа у нихъ нараспашку, тогда какъ большинство играетъ комедію въ жизни, съ презрѣніемъ называя Несчастливцевыхъ комедіантами. Грустный фактъ этотъ рельефно воспроизведенъ въ комедіи А. Н. Островскаго.

У Несчастливцева—богатая тетка, помѣщица Раиса Павловна Гурмыжская, дама пожилая, живущая въ нѣгѣ. Послѣ бурной жизни она поселяется въ своей усадьбѣ и разыгрываетъ роль добродѣтельной барыни, благодѣтельницы бѣдныхъ. Такой она и слыветъ въ уѣздѣ. А на дѣлѣ? Комедіантка—не болѣе. Чувственная жилка не замерла еще въ ней—и для того, чтобы удовлетворить этой жилкѣ, она готова на всѣ гадости, и подъ личиною благотворительницы ловко скрываетъ свою уродливость. Она призрѣла бѣдную дѣвушку, дальнюю родственницу, которую ласкаетъ при людяхъ, а на самомъ дѣлѣ держитъ ее въ черномъ тѣлѣ.

Аксюша—такъ зовутъ бѣдную дѣвушку—тоже одна изъ страдалицъ, вслѣдствіе неразвитости, тоже жертва невѣжества... Она чувствуетъ, любитъ, мечтаетъ, но безсильна, и при первой неудачѣ готова порѣшить сразу—утопиться. Нѣтъ силы для борьбы—она и дѣйствуетъ безсознательно, и даже горячая любовь ея къ молодому купеческому сыну, Петру, является болѣе чувствомъ инстинктивнымъ, мало мотивированнымъ... Личности въ

родѣ Аксюши не рѣдки, хотя въ общихъ чертахъ это типъ недоконченный, чего-то въ немъ недостаетъ, и, очевидно, Аксюша и возлюбленный ея Петръ въ комедіи—лица аксессуарныя.

Въ домѣ Гурмыжской живетъ и призрѣнный ею молодой человѣкъ, недоучившійся въ гимназіи Алексѣй Сергѣевичъ Булановъ... Барыня нашла, что нечего ему болѣе учиться, и въ порывѣ великодушія хочетъ пристроить его и племянницу, которую и объявляетъ его невѣстою. Въ самомъ дѣлѣ—къ чему ученье? «Воспитаніе суровое, простое, что называется, на мѣдныя деньги»—ведетъ къ цѣли, по мнѣнію Гурмыжской и ей подобныхъ... простые люди, неученые живутъ счастливѣе. Такъ разсуждаетъ помѣщица. «Я,—говоритъ она,— не противъ образованія, но и не за него. Развращеніе нравовъ на двухъ концахъ: въ невѣжествѣ и въ излишествѣ образованія; добрые нравы посрединѣ».

Такъ разсуждаетъ фразерка-благодѣтельница. Окружающіе ее въ восторгѣ. Она только и заботится о счастіи ближнихъ: все, что имѣетъ, всѣ ея деньги принадлежатъ бѣднымъ, она только конторщица у своихъ денегъ, а хозяинъ имъ всякій бѣдный, всякій «несчастный». На дѣлѣ же оказывается, что гимназиста, здороваго малаго (кровь съ молокомъ), она выписала для себя; у старушки волнуется еще кровь и, чтобы спасти приличіе, она сама выходитъ замужъ за юношу и гонитъ изъ дому бѣдную дѣвушку. Ею руководитъ чувство ревности.

Благодѣтельница отказываетъ Аксюшѣ въ небольшомъ приданомъ, котораго требуетъ отецъ Петра, для того чтобы женить его на любимой имъ дѣвушкѣ.

Послѣ пятнадцатилѣтняго странствованія, утомленный нравственно и физически, Несчастливцевъ возвращается на родину къ тетушкѣ, которую считалъ идеаломъ добродѣтели. Барыня и съ нимъ разыгрываетъ ко-

медію; но ложь скоро выходитъ наружу, маска обличена, и несчастный трагикъ убѣждается въ томъ, что попалъ въ лѣсъ; силою вынуждаетъ русскую леди Тартюфъ заплатить принадлежащую ему тысячу рублей, хранившихся у ней. На эти денежки хочетъ онъ, труженикъ, отдохнуть, приберечь ихъ на черный день, или прожить на свободѣ. Но онъ не эгоистъ. Положеніе бѣдной дѣвушки трогаетъ его; онъ уговариваетъ ее сдѣлаться актрисою; видитъ, что любовь сильнѣе будущихъ надеждъ на славу, и съ радостью отдаетъ всѣ деньги на приданое, а самъ надѣваетъ котомку и собирается въ дальній путь на работу. Какъ пришелъ пѣшкомъ, такъ и уходитъ.

Въ этомъ-то, главнымъ образомъ, заключается фабула комедіи, не запутанной мудреными интригами, простой, незатѣйливой по содержанію, но прекрасно задуманной и глубокой по мысли и морали. Весь интересъ въ подробностяхъ, въ отдѣльныхъ типахъ. Мораль комедіи ясно вытекаетъ, повторяю, изъ заключительнаго монолога Несчастливцева, вознегодовавшаго на Гурмыжскую за то, что она прозвала его и товарища комедіантами. Приведу монологъ:

«Комедіанты? Нѣтъ, мы артисты, благородные артисты, а комедіанты вы. Мы коли любимъ, такъ ужъ любимъ; коли не любимъ, такъ ссоримся или деремся; коли помогаемъ, такъ ужъ послѣднимъ трудовымъ грошомъ. А вы? Вы всю жизнь толкуете о благѣ общества, о любви къ человѣчеству. А что вы сдѣлали? Кого накормили? Кого утѣшили? Вы тѣшите только самихъ себя, самихъ себя забавляете. Вы комедіанты, шуты, а не мы. Когда у меня деньги, я кормлю на свой счетъ двухъ-трехъ такихъ мерзавцевъ, какъ Аркашка, а родная тетка потяготилась прокормить меня два дня. Дѣвушка бѣжитъ топиться; кто ее толкаетъ въ воду? Тетка. Кто спасаетъ? Актеръ Несчастливцевъ» и пр.

Вотъ содержаніе комедіи, и дальнѣйшіе комментаріи излишни. Картина вѣрная, переполненная интересными

деталями. Разсказы Несчастливцева и Счастливцева объ ихъ житьѣ-бытьѣ, объ ихъ сценическихъ подвигахъ рисуютъ вполнѣ жизнь провинціальнаго актера. Безсмысленныя рѣчи, ради краснаго словца, Милонова (лицо эпизодическое) характеризуютъ тѣхъ дѣятелей-фразеровъ, которыми полна обширная земля наша... Отецъ Петра, купецъ Восьмибратовъ и самъ Петръ—типы изъ купеческаго быта, съ которыми мы встрѣчались уже въ другихъ комедіяхъ Островскаго. Все лица живыя...

Но и второстепенныя личности типичны. Въ особенности выдается комикъ Счастливцевъ, не отличающійся твердостью правилъ, не пренебрегающій средствами для достиженія цѣли и всегда готовый поживиться на чужой счетъ, сорви-голова. Затѣмъ можно указать еще на ключницу Улиту, во всемъ подражающую, въ грубой только формѣ, своей барынѣ. Впрочемъ, и это типъ далеко не новый. Ключницы-приживалки, готовыя на всякую низость—ради подарка, ради какого-нибудь платьишка, тоже встрѣчаются въ комедіяхъ нашего драматурга.

Оригинальнѣе всѣхъ прочихъ типъ трагика (по старой рутинѣ) Несчастливцева, хотя и онъ мѣстами, въ особенности въ послѣдней сценѣ, напоминаетъ собою Любима Торцова. Во всякомъ случаѣ, на немъ сосредоточенъ главный интересъ комедіи. Онъ оживляетъ дѣйствіе, парализуемое вообще повторяющимися въ однообразной формѣ разговорными сценами, какъ, напр., въ четвертомъ дѣйствіи, въ которомъ воркующія парочки смѣняются одна другою: Улита и Счастливцевъ, Аксюша и Петръ, Гурмыжская и Булановъ. Растянуто и пятое дѣйствіе. Въ сценическомъ отношеніи весьма эффектны: встрѣча двухъ странствующихъ актеровъ, ихъ разсказы, затѣмъ вообще похожденія Несчастливцева съ купцомъ, съ теткою и др. Исполнена поэзіи сцена трагика съ Аксюшей, когда онъ, не давъ ей утопиться,

уговариваетъ поступить на сцену. Въ увлеченіи бѣднаго актера высказывается артистическая душа его.

Чуть ли не въ каждомъ словѣ новой комедіи проглядываетъ знаніе жизни, горькая иронія, ѣдко затрогивающая слабости человѣчества вообще и наши собственные недуги въ особенности. При нѣкоторыхъ недостаткахъ, при нѣкоторомъ повтореніи знакомыхъ уже типовъ, нельзя не симпатизировать отъ всей души комедіямъ съ такимъ честнымъ направленіемъ. По выдержанности «Лѣсъ» выше двухъ предшествовавшихъ ему комедій *).

М. Р.

---

*) „Горячее сердце" и „Бѣшеныя деньги".

„Не все коту масленица“—по свѣжести замысла и большой зрѣлости таланта драматурга *).

Новое произведеніе Островскаго: «Не все коту масленица», по моему мнѣнію, принадлежитъ къ числу самыхъ удачныхъ бытовыхъ сценъ знаменитаго драматурга. Сфера, въ которой вращается дѣйствіе пьесы, все тѣ же типы дикаго самодурства, съ одной стороны, и приниженныхъ личностей—съ другой. Завязка пьесы по обыкновенію анекдотическая, и ходъ дѣйствія, какъ это бываетъ почти всегда въ комедіяхъ Островскаго, довольно медленный. Однимъ словомъ, въ общемъ и въ частностяхъ пьеса, повидимому, ничѣмъ не отличается отъ другихъ пьесъ того же автора, ничего не прибавляетъ къ извѣстнымъ качествамъ его таланта и ничего не убавляетъ отъ нихъ. Но это только повидимому. Если вглядѣться попристальнѣе въ пріемы драматурга и сущность концепціи новой комедіи, то нельзя не замѣтить, во-первыхъ, свѣжести замысла и, во-вторыхъ, большой зрѣлости таланта. Подобная простота, полнота и выдержка въ драматическомъ воплощеніи основной идеи, какія мы встрѣчаемъ въ новомъ произведеніи Островскаго, подобное умѣнье сразу поставить

---

*) Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1871 г., № 274. *Зелинскій*, 4. *Денисюкъ*, 3.

типы передъ зрителями со всѣми ихъ характерными особенностями и въ наилучшемъ освѣщеніи дается только творчеству, достигшему высшаго предѣла своего развитія.

Внѣшнее содержаніе комедіи, какъ говорятъ у насъ, фабула—избитѣйшая донельзя: старый дядя хочетъ жениться на молодой дѣвушкѣ, которую любитъ его племянникъ. Дядя претерпѣваетъ крушеніе въ своихъ планахъ, племянникъ торжествуетъ. Что можетъ быть банальнѣе этой темы? И между тѣмъ въ такой-то «комедіи съ дядюшкой», какъ это ни удивительно, затронуто самодурство съ свѣжей стороны, и выяснены такіе жизненные мотивы и характеры, которые полны непреходящаго интереса. Подобное явленіе доказываетъ въ сотый разъ, что внѣшняя рамка для истиннаго художника ничего не значитъ, что, какъ бы ни была она узка и избита, истинный художникъ сумѣетъ вставить въ него живое содержаніе.

Все дѣйствіе пьесы вертится на столкновеніи двухъ противоположныхъ элементовъ—элемента дикаго самодурства, воспитавшагося на деспотизмѣ и привычкѣ къ угнетенію, на власти богатства и поклоненія ему, и элемента простой человѣческой честности, выработанной уроками трудовой жизни. Первый элементъ олицетворяется въ личности Ермила Зотыча Ахова, богатаго, стараго купца; второй—въ личностяхъ купеческой вдовы Кругловой и ея молодой дочери Агніи. Мастерскими, рельефными чертами нарисованъ типъ Ахова. Это самодуръ, дошедшій до циническаго простодушія, можно сказать, до идіотства въ своемъ самодурствѣ. Онъ самъ сознаетъ или, по крайней мѣрѣ, признается прямо, не подозрѣвая смысла своихъ признаній, что онъ—ходячая золотая мошна, которой всѣ кланяются и должны кланяться только потому, что она набита деньгами. Какихъ-либо другихъ достоинствъ онъ за

собой не подозрѣваетъ. Онъ презираетъ всѣхъ, кто бѣднѣе его, и считаетъ ихъ людьми низшими себя; но въ то же самое время онъ считаетъ себя самого выше другихъ только потому, что онъ, какъ богачъ, можетъ задавить бѣдняка, что бѣдный людъ въ его рукахъ. «Уважать насъ оченно надобно,— говоритъ онъ,— особенное намъ должно итти уваженіе супротивъ другихъ людей. А почему такъ? Я тебѣ скажу, если не знаешь, Ты богатаго человѣка, коли онъ до тебя милостивъ, блюди пуще ока своего. Потому, ты своего достатка не имѣешь; нужда али что, къ кому тебѣ кинуться? А второе: развѣ ты знаешь, развѣ тебѣ чужая душа открыта, за что богатый человѣкъ къ тебѣ милостивъ? Можетъ, онъ только себѣ отвагу даетъ, а можетъ сурьезъ!! Потому для нашего брата, ежели что захотѣлось, дорогого нѣтъ; а у васъ, нищей братіи, ничего завѣтнаго нѣтъ; все продажное». «Коли вся жизнь-то, можетъ, не одной даже сотни людей въ нашихъ рукахъ, какъ намъ собой не возноситься... А что ужъ про тѣхъ, кому и вовсе-то ѣсть нечего? Ой, задешево людей покупали, ой, задешево! Повѣришь ли: иногда даже жалко самому станетъ». Вотъ вамъ циническое profession de foi грубой силы мошны, вотъ вамъ послѣдній предѣлъ презрѣнія къ бѣдности: онъ, сознательно жалѣя бѣднаго человѣка, котораго «покупаетъ» «задешево», тѣмъ не менѣе готовъ «душить его безъ всякой милости». Дальше нельзя итти въ цинической наивности самодурства. Какъ относится такой человѣкъ къ своимъ подчиненнымъ — это очень легко сообразить. Приказчикъ, по его мнѣнію, не долженъ быть съ нимъ въ одной компаніи, не долженъ отъ него слышать ничего, кромѣ «брани» и «приказу». Въ обыкновенный разговоръ онъ не вступаетъ съ приказчикомъ, очень простодушно объясняя, что у приказчика пропадетъ «страхъ», если онъ услышитъ, что хозяинъ «такія же глупости

говоритъ, какъ и всѣ прочіе люди. Мы иногда сберемся, хозяева-то, такъ безобразничаемъ, что ни въ сказкѣ сказать ни перомъ написать. Такъ намъ и пустить себѣ въ компанію приказчиковъ, чтобъ они любовались на насъ?» Въ своей семьѣ, въ домѣ онъ таковъ: встаетъ,— разсказываетъ бѣдная родственница, живущая у него ключницей,— до заутрени и начинаетъ ходить по дому, ворчать и будить всѣхъ домашнихъ, чтобъ не спали. «Ненавистникъ! Ужъ очень онъ за свою хлѣбъ-соль обидчикъ! Его кусочкомъ-то подавишься; онъ имъ тебя разъ десять въ день-то попрекнетъ. Кричитъ: «Я васъ кормлю да жалованье плачу», а чужой работы не считаетъ. Ему, кажись, кабы можно изъ рабочаго дня-то два сдѣлать, такъ онъ былъ бы радъ-радостью. Вотъ и бродитъ спозаранку, и по двору бродитъ, и по саду бродитъ, по сараямъ, по конюшнямъ бродитъ. Потомъ на фабрику поѣдетъ, тамъ тоже только людямъ мѣшаетъ: человѣкъ за дѣломъ бѣжитъ, а онъ его остановитъ, ругать примется ни за что; говоритъ: для переду годится. А съ фабрики пріѣдетъ, съ дѣтьми стражается». Старшаго сына, человѣка кроткаго, и его жену довелъ до того, что первый «исхудалъ весь, ходитъ—да такъ всѣмъ тѣломъ и вздрагиваетъ», а вторую до того, что она «въ слезахъ встаетъ, въ слезахъ и ложится». «Все наслѣдствомъ попрекаетъ: «Смерти моей, говоритъ, желаете, денегъ дожидаетесь, воли вамъ мало? Подождите, говоритъ, подождите; я съ своими копленными не скоро разстанусь; прежде я васъ жить научу, за свое добро надъ вами покуражусь такъ, что вы и деньгамъ не обрадуетесь». Сынъ не выдержалъ отцовскаго обращенія, и бѣжалъ изъ дому. Другой спился съ кругу, безобразничаетъ до того, что спьяна занимается топленіемъ въ рѣкѣ людей, буянитъ, доходитъ до бѣлой горячки; но отецъ его терпитъ, потому что онъ «лбомъ въ полъ стучитъ». Однако же

поведеніе сына выходитъ за предѣлы, и отецъ принужденъ сослать его на фабрику, «чтобъ держали тамъ взаперти до усмиренія». И вотъ этотъ дикій, безобразный семейный деспотъ остается одинъ въ своемъ домѣ и, бродя по нему, доходитъ до изступленія одиночества. «Домъ-то у насъ,—разсказываетъ ключница,—старый, княжескій, комнатъ сорокъ—пусто таково; скажешь слово, даже гулъ идетъ; вотъ онъ и бродитъ одинъ по комнатамъ-то. Вчера пошелъ въ сумерки, да заблудился въ своемъ-то дому; кричитъ караулъ благимъ матомъ. Насилу я его нашла да ужъ вывела».

Вотъ вамъ портретъ во весь ростъ, портретъ самодура «каждый дюймъ», какъ Лиръ былъ «каждый дюймъ» король. Подъ старость онъ самъ создалъ себѣ одинокое положеніе; заколотивъ жену, прогнавъ одного сына, загубивъ другого, онъ исполняется капризнымъ старческимъ вожделѣніемъ—разогнать свою дикую скуку женитьбою на молодой дѣвушкѣ. Но и тутъ онъ остается вѣренъ своей теоріи гнета и поруганія надъ бѣдностью и безпомощностью. Онъ хочетъ жениться не по одному только влеченію чувственности, не для разсѣянія себя ласками молодого женскаго существа; нѣтъ, онъ лелѣетъ иныя варварскія надежды: «Изберу я себѣ изъ бѣдныхъ,—говоритъ онъ,—повиднѣе. Ей моего благодѣянія всю жизнь не забыть, да и я отъ ея родныхъ что поклоновъ земныхъ увижу! Дѣвка-то дѣвкой, да и поломаюсь досыта».

Вѣрный своимъ воззрѣніямъ, онъ подступаетъ къ будущей невѣстѣ и ея матери съ обычными наивно-деспотическими пріемами. Мать невѣсты, когда онъ приходитъ, говоритъ ему: «Милости просимъ!»—«Да, милости просимъ! иронизируетъ онъ вслухъ. За что насъ вездѣ любятъ? Вездѣ: «милости просимъ!»—«Ты думаешь, за богатство твое?—«Притворяйся еще! Что ни толкуй, а противъ другихъ отличка есть. Бѣдный че-

ловѣкъ пришелъ, хочешь — ты имъ занимаешься, хочешь — прогонишь, а богатый — хоша бы и невѣжество сдѣлалъ — ты его почитаешь». На замѣчаніе матери невѣсты, что они не горды, онъ грубо и прямо отвѣчаетъ: «Да чѣмъ вамъ гордиться-то? Богатый человѣкъ, ну, гордись, превозносись собой; а твое дѣло — только кланяйся. Всѣмъ кланяйся и за все кланяйся, что-нибудь и выкланяешь, да и глядѣть-то на тебя всякому пріятнѣе. Вѣрно я говорю. Ты сирота и дочь твоя сирота; кто васъ призритъ, ну и благодѣтель и отецъ родной, и кланяйся тому въ ноги».

Невѣстѣ своей онъ спѣшитъ объяснить, что «страхъ имѣть — это для человѣка всего лучше», и когда та спрашиваетъ: имѣетъ ли онъ самъ страхъ, то онъ превосходно отвѣчаетъ: «Да мнѣ передъ кѣмъ? Да и не надо, я и такъ уменъ. Мужчинѣ страхъ на пользу, коли онъ подначальный, а бабѣ всякой и всегда». Не резюмируется ли въ этой короткой фразѣ вся философія дикаго безправія?

И что же? Этотъ-то дикій самоуправецъ, этотъ цинически-грубый и тупой представитель домашняго деспотизма, ошалѣвшій отъ надеждъ на силу своей мошны, думающій, что ему должны кланяться въ ноги всѣ бѣдные и недостаточные люди, считающіе особенною милостью, что онъ желаетъ сдѣлать ихъ предметомъ своего «ломанья» и своего «кураженья» — онъ вдругъ наталкивается на личности, которыя отказываются отъ его благоволенія и богатства. Эти личности — вдова Круглова и ея дочь. Островскій сумѣлъ необыкновенно сжатыми и простыми чертами обрисовать характеръ первой и второй. Вдова Круглова — одна изъ тѣхъ непосредственныхъ, здоровыхъ женскихъ натуръ, у которыхъ врожденное разумное и правдивое отношеніе къ жизни закалилось вслѣдствіе отрицательныхъ жизнен-

ныхъ вліяній. Она узнала на горькомъ опытѣ, что значитъ деспотизмъ родительскій и супружескій, что значитъ семейная жизнь безъ счастья и любви; она видѣла не одинъ примѣръ печальной участи женщины, задавленной семейнымъ гнетомъ, и между прочими примѣръ—особенно яркій—первую жену того же самаго Ахова, которая «въ люди плакать ѣздила». На этомъ-то горькомъ опытѣ и наблюденіи она выработала глубокое отвращеніе и ненависть къ самодурству и безправію. На ироническое замѣчаніе дочери, что богатой купчихой пріятно быть, она простодушно говоритъ: «Господи меня сохрани! Видѣла я, дочка, видѣла эту пріятность-то. И теперь еще, какъ вспомню, такъ по ночамъ вздрагиваю. А какъ приснится, бывало, по началу-то, твой покойный отецъ, такъ меня сколько разъ въ истерику ударяло. Вѣришь ты, какъ я зла на нихъ, на этихъ самодуровъ проклятыхъ! И отецъ-то у меня былъ такой, и мужъ-то у меня былъ еще хуже, и пріятели-то его всѣ такіе же, всю жизнь-то они изъ меня вымотали. Да, кажется, приведись только мнѣ, такъ я бъ одному за всѣхъ выместила». Кто прошелъ такую школу гнета и сумѣлъ сохранить чувства человѣка, а не раба, тотъ способенъ стать въ человѣчныя и хорошія отношенія къ другимъ. И таковы именно отношенія Кругловой къ своей дочери. Руководя молодую дѣвушку своимъ опытомъ и разумно охраняя ее отъ увлеченій юности, она въ то же время предоставляетъ ей полную свободу и самостоятельность въ ея намѣреніяхъ, стремленіяхъ и дѣйствіяхъ.

Дочь очерчена еще рельефнѣе и искуснѣе матери. Въ мастерской постановкѣ этихъ двухъ характеровъ именно и сказывается та высшая зрѣлость таланта, присутствіе которой, какъ я сказалъ, чувствуется въ новой пьесѣ Островскаго на каждомъ шагу. Дочь Круглова, какъ и ея мать, принадлежитъ къ числу честныхъ и здоровыхъ

натуръ, со свѣтлыми инстинктивными стремленіями. Но она болѣе цѣльный и болѣе оригинальный характеръ. Въ матери Кругловой сказывается отголосокъ печальныхъ вліяній ея молодости какъ бы нѣкоторою неувѣренностью и нерѣшительностью въ иныхъ отношеніяхъ. Дочь пряма и рѣшительна во всемъ, что касается основныхъ нравственныхъ принциповъ, хотя во внѣшнихъ рѣчахъ и поступкахъ она не чужда нѣкоторой лукаво-иронической манеры соглашаться и какъ будто уступать ложнымъ требованіямъ жизни и среды. Но такія уступки она дѣлаетъ только на словахъ, только повидимому. Въ сущности же это твердая и честная душа, опредѣлившая ясно, разъ навсегда, что хорошо и что худо, и какимъ путемъ нужно слѣдовать въ жизни. Она сумѣетъ постоять за себя; она сумѣетъ удержаться отъ ложнаго шага; а если, вслѣдствіе порывовъ юной страсти, подъ вліяніемъ увлеченія, и сдѣлаетъ такой шагъ, то все-таки оправится и вынесетъ одна, безъ чужой помощи, послѣдствія своей ошибки. Ея умъ не особенно просвѣщенъ, и горизонтъ ея чувствъ и мыслей ограниченъ; но зато ея понятія исполнены здраваго смысла, и чувства направляются разумнымъ инстинктомъ молодой, здоровой жизни.

Послѣдняя сцена комедіи, въ которой самодуру Ахову приходится, совершенно противъ ожиданій, спасовать предъ этими двумя лицами, выполнена превосходно и освѣщаетъ ярко героя пьесы во всемъ его дикомъ безобразіи. Когда Круглова-мать говоритъ ему, что у ея дочери есть другой женихъ, и что предложеніе Ахова онѣ отвергаютъ, самодуръ не вѣритъ, думаетъ, что это шутка. «Сыми маску-то!» говоритъ онъ. «Тебя вѣдь давно забираетъ охота мнѣ въ ноги кланяться, а ты все ни съ мѣста. Аль ты отъ радости разумъ потеряла? Что ты какъ статуй стоишь! Головы у васъ въ домѣ нѣтъ, некому васъ пріободрить-то хорошенько, чтобъ вы поворачивались. Кабы мужъ твой былъ живъ, такъ

вы бы давно ужъ шатались по дому-то, какъ кошки угорѣлыя». Когда Круглова ему отвѣчаетъ, что она бы даже и тогда подумала отдать за него свою дочь, если бъ онъ подписку далъ, что умреть черезъ недѣлю послѣ свадьбы, онъ въ изумленіи восклицаетъ: «Что вы! Нищіе, нищіе, одумайтесь! Вѣдь мнѣ только разсердиться стоитъ да уйти отъ васъ, такъ вы послѣ слезы-то кулакомъ станете утирать. Не вводите меня въ гнѣвъ».— «Сердись ты или не сердись,— твоя воля», говоритъ Круглова. Аховъ не вѣритъ себѣ, приписываетъ отказъ чуду: «Что съ тобой? Тутъ чуда нѣтъ ли какого?» и затѣмъ только одно объясненіе и можетъ дать тому, что его предложеніе отвергается бѣдными людьми—не сдѣлались ли они такъ же богаты, какъ онъ. «Не упалъ ли тебѣ милліонъ съ неба? Нѣтъ ли у тебя жениха богаче меня? Только, вѣдь, одно». О какихъ-либо моральныхъ соображеніяхъ ему и въ голову не приходитъ. Когда его начинаютъ утѣшать, что онъ съ своими деньгами всегда найдетъ компанію, онъ вдругъ прорывается и со всею грубостью высказывается начисто: «Знаю, что найду не ей чета, и красивѣе найду. Ты думаешь, я въ самомъ дѣлѣ влюбленъ? Тьфу, одно мнѣ больно, одно обидно: непокорность ваша. Вѣдь я почетный, первостатейный, вѣдь мнѣ всѣ въ поясъ кланяются; а въ этакой лачугѣ мнѣ почету нѣтъ! Мнѣ! Отъ васъ!! Непокорность!! Курамъ на смѣхъ! Видано ль, слышано ль? Хорошо ты сдѣлала? Хорошо? Очувствуйся! Встряхни головой-то! Вѣдь это отъ глупости, а не отъ ума. Вы все одно, что въ лѣсу живете, свѣту не видите. Въ такую лачугу коли зашелъ нашъ братъ, именитый человѣкъ, такъ онъ тамъ какъ дома; а то ему и ходить не зачѣмъ; а хозяинъ-то какъ слуга: что угодно? да какъ прикажете? Вотъ какъ отъ начала міра заведено, вотъ какъ водится у всѣхъ на свѣтѣ добрыхъ людей! Это все одно, что законъ. А вы, дураки непросвѣщен*ные*, одичали тутъ живши-то». Читатель согласится,

что этотъ монологъ можетъ быть поставленъ, по глубинѣ комизма, обнажающаго самыя сокровенныя нѣдра самодурства, наравнѣ съ монологами городничаго въ «Ревизорѣ». Тутъ въ нѣсколькихъ словахъ выясненъ цѣлый строй жизненныхъ условій извѣстной среды. Гнетъ сильныхъ и униженіе слабыхъ—это «все одно, что законъ». Протестъ противъ этого гнета и попытка не подчиняться ему—это безуміе, происходящее отъ невѣжества. Можно ли ярче очертить страшную извращенность понятій среды, воспитывающихъ Аховыхъ? Гнѣвъ и внушенія отвергнутаго самодура не дѣйствуютъ на тѣхъ, къ кому они обращены, и вотъ онъ хочетъ поправить это униженіе, возстановить свое дикое достоинство внезапнымъ варварскимъ великодушіемъ. «Чтобъ этотъ разговоръ нарушить, что мнѣ вы, ничтожные люди,—обращается онъ ко вдовѣ и ея дочери,—носъ утерли, мы будемъ ладить такую статью, что я Ипполитку (племянника, жениха Кругловой-дочери) женю. Обѣдъ у меня послѣ свадьбы какой не слыхано. И Ѳомина и всѣхъ цвѣтами ограблю, по всѣмъ комнатамъ постановка будетъ. Двѣ музыки, одна въ комнатахъ, другая на балконѣ для зрителевъ. Офиціанты въ штиблетахъ. Ефектъ?» Кромѣ всего этого, обѣщаетъ онъ приданое невѣстѣ и награжденіе племяннику; но все это подъ условіемъ выполненія слѣдующей варварской шутки: «Женихъ съ невѣстой, какъ изъ церкви, вся шестерня сѣрыхъ, какъ къ воротамъ,—стой! А въ вороты—чтобъ не въѣзжать! И сейчасъ имъ дворникъ по метлѣ; и чтобъ вымели они до крыльца... Ты не бойся, чисто будетъ, еще до нихъ все выметутъ. А они чтобъ только примѣръ показали. А я съ гостями буду на балконѣ стоять. Вотъ тогда я васъ прощу и въ честь васъ произведу». И когда это варварское предложеніе, на которомъ самодуръ строитъ искупленіе своего униженнаго достоинства, отвергается бѣдными и честными людьми, онъ разражается потокомъ скорб-

ныхъ проклятій: «Ну такъ грязь грязью и останется; и будьте вы прокляты отнынѣ и до вѣка! Какъ жить? Какъ жить? Родства народъ не уважаетъ, богатству грубить смѣетъ! Дядя говоритъ: поклонись по-родственному! Не хочу. Ну, поклонись ты, нищій, хоть за деньги! Не хочу. Умереть ужъ лучше поскорѣй, загодя. Все равно, вѣдь, развѣ свѣтъ-то на такихъ порядкахъ долго простоитъ? А какъ отцы-то жили! Куда они дѣлись, тѣ порядки, старые, крѣпкіе? Развратъ, что ли, въ мірѣ пошелъ? Такъ его и прежде, пожалуй, еще больше было. Бѣсъ, что ли, какой промежду людьми ходитъ да смущаетъ ихъ? Отчего вы не лежите теперь въ ногахъ у меня по-старому; а я же стою передъ вами весь обруганный, безъ всякой моей вины?»

Этимъ безподобнымъ монологомъ, выражающимъ весь смыслъ пьесы, завершается комедія. Это душевный крикъ, вырвавшійся невольно изъ груди самодурства, впервые смутно почувствовавшаго, что его безшабашная сила проходитъ, что темные элементы безправія и безчеловѣчія начинаютъ уступать другимъ, болѣе свѣтлымъ элементамъ. Какъ жить на свѣтѣ, когда родство, т.-е. въ переводѣ дикое, необузданное самовластіе, оправдываемое обычаемъ, теряетъ свой кредитъ. Какъ жить на свѣтѣ, когда богатство, безграничная эксплуатація и гнетъ теряютъ уваженіе и силу. Такой строй жизни немыслимъ для столповъ прежнихъ «крѣпкихъ» порядковъ, при которыхъ можно было безнаказанно и свободно «куражиться» и «ломаться» надъ всѣмъ, что оказывалось слабымъ и безпомощнымъ. Теперь этому усладительному для самодуровъ «ломанью», введенному въ систему старыми порядками, достигавшему прежде такихъ прекрасныхъ результатовъ по отношенію къ смиренію, приниженію и затаптыванію въ *грязь* меньшого брата,—теперь этому ломанью прихо-

дитъ конецъ. Ему нѣтъ ходу, онъ получаетъ отпоръ. Возможно ли при такомъ явленіи самодурское существованіе, мыслимо ли оно? Нѣтъ, оно до того немыслимо для самодурства, что послѣднее лучше готово умереть «загодя», чтобъ не видѣть неминуемаго разрушенія свѣта, не могущаго стоять долго на такихъ порядкахъ. Самодурство поражено этимъ явленіемъ и не можетъ уразумѣть его естественныхъ причинъ. Это самодурство, само будучи продуктомъ дикости, невѣжества и отупѣнія жизни, кричитъ, что люди начинаютъ относиться къ нему безъ уваженія, вслѣдствіе огрубѣлости и непросвѣщенности. Возможна ли большая иронія надъ самимъ собою? Возможно ли болѣе скорбное признаніе своей одичалости, своего безсмыслія, своего жалкаго положенія въ настоящемъ, чѣмъ то, которое выливается въ этомъ послѣднемъ воплѣ Ахова: «отчего вы не лежите теперь въ ногахъ у меня по-старому; а я же стою передъ вами весь обруганный, безъ всякой моей вины?» Да, самодурству, воспитанному подъ вліяніемъ безправія, умственнаго и моральнаго гнета, никогда не догадаться, отчего сила его проходитъ, никогда не уразумѣть, въ чемъ его вина, и не понять, что совершающееся надъ нимъ поруганіе жизни послано ему въ наказаніе за эту его невольную «вину».

Надѣюсь, что изъ подробной передачи новой пьесы Островскаго читатели до нѣкоторой степени могли получить понятіе о большихъ ея достоинствахъ. Повторяю еще разъ: по моему мнѣнію, эти «сцены»—одно изъ лучшихъ произведеній автора «Своихъ людей». Заклеймивъ одного самодура въ яркомъ, комическомъ типѣ, писатель кладетъ клеймо и на лбы другихъ. А что Аховъ—одна изъ типическихъ, художественно-созданныхъ фигуръ, въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія.

В. Буренинъ.

„Богатыя невѣсты“ — по своему глубокому психологическому анализу *).

Каждая новая комедія перваго изъ нашихъ современныхъ драматурговъ, Островскаго, много лѣтъ сряду ужъ составляетъ событіе въ театральномъ мірѣ и заранѣе возбуждаетъ особенное вниманіе публики. Такой фактъ, въ справедливости котораго не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія, былъ бы, конечно, немыслимъ, если бъ талантъ этого писателя, согласно увѣреніямъ его пигмеевъ-противниковъ, клонился къ упадку и авторъ жилъ только своей прежней славой. Къ удовольствію всѣхъ интересующихся успѣхами русской сцены нельзя не отмѣтить, именно въ послѣднее время, явленія совершенно противоположнаго: исчерпавъ купеческій бытъ, долго служившій почти исключительнымъ матеріаломъ для драматическихъ его произведеній, и сдѣлавъ не совсѣмъ удачную попытку писать драматическія хроники историческаго содержанія, Островскій въ теченіе нѣкотораго времени какъ будто утомился долговременною усидчивою работой. Изъ этого многіе заключили, что онъ, не имѣя возможности быть ничѣмъ инымъ, какъ только писателемъ чисто бытовымъ, исписался и что отъ него ожидать болѣе нечего. Между тѣмъ такой пессимистическій взглядъ не подтвердился нисколько.

---

*) Изъ „Голоса“ 1875 г., № 331. *Зелинскій*, 5. *Денисюкъ*, 4.

Самымъ блистательнымъ опроверженіемъ его слѣдуетъ признать новѣйшее произведеніе этого писателя—комедію «Богатыя невѣсты». Комедія эта выставила передъ нами талантъ ея автора въ совершенно новомъ свѣтѣ: Островскій является въ ней не столько наблюдателемъ общественныхъ нравовъ, умѣющимъ схватывать въ людяхъ тѣ внѣшнія характеристическія черты, изъ которыхъ составляются типы, сколько глубокимъ психологомъ, проникающимъ въ тайники души и способнымъ мастерски анализировать внутренній міръ человѣка. Отъ пьесы его вѣетъ къ тому же такою свѣжею юношескою поэзіей, какой, повидимому, трудно было даже ожидать отъ писателя уже немолодого, долгое время разрабатывающаго преимущественно комическія или мрачныя стороны русской жизни и такъ вѣрно возсоздавшаго, по удачному выраженію покойнаго Добролюбова, наше «Темное царство», въ которомъ всякіе идеалы попираются гнетущею силой такъ называемыхъ «самодуровъ». Герой новой комедіи Островскаго, написанной отъ начала до конца въ высшей степени правдиво и жизненно,—идеалистъ въ самомъ благородномъ значеніи слова, Юрій Михайловичъ Цыплуновъ. Воспитанный своею матерью въ самыхъ строгихъ правилахъ, онъ выработалъ изъ себя человѣка нравственнаго до ригоризма, и въ тридцать лѣтъ смотритъ на жизнь чрезвычайно серьезно. При такомъ-то складѣ ума и направленіи онъ случайно встрѣчаетъ молодую сироту, Валентину Васильевну Бѣлесову, которую зналъ, за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ, почти ребенкомъ и чистый образъ которой хранилъ въ своемъ сердцѣ, хотя обстоятельства и разлучили ее съ нимъ на столь долгое время, что онъ едва ли даже могъ надѣяться когда-нибудь встрѣтиться съ нею. Дѣвушку эту принялъ къ себѣ на воспитаніе нѣкто Гнѣвышевъ, пожилой человѣкъ, хотя и женатый, но не ладившій со своей ограниченной женой, по характеру же

безсердечный сластолюбецъ, не внушившій своей воспитанницѣ никакихъ правилъ, а, напротивъ, воспользовавшійся ея невѣдѣніемъ и нравственною одичалостью, чтобъ обольстить ее и, по отъѣздѣ жены своей за границу, взять ее на содержаніе.

Въ первомъ актѣ, дѣйствіе котораго происходитъ въ подмосковной мѣстности, занятой дачами, читатель узнаетъ, что Гнѣвышевъ поселилъ тамъ на лѣто свою любовницу и старается черезъ посредство своего подчиненнаго, мелкаго чиновника Пирамидалова, пріискать для нея какое-нибудь общество, чтобъ ей не было скучно, такъ какъ самъ онъ можетъ бывать у нея только заѣздомъ, да притомъ, въ виду скораго возвращенія жены, которая получила весьма значительное наслѣдство и согласна сойтись съ нимъ только въ томъ случаѣ, если онъ разорветъ связь съ Бѣлесовой, весьма желалъ бы, какъ можно скорѣе, выдать ее замужъ, наградивъ порядочнымъ приданымъ. Жениться на фавориткѣ генерала и пріобрѣсти такимъ образомъ протекцію по службѣ былъ бы не прочь, конечно, тотъ же Пирамидаловъ, который давно уже состоитъ при Гнѣвышевѣ въ качествѣ фактотума, но Гнѣвышевъ только въ крайности согласился бы выдать Валентину за такого человѣка, который, по его мнѣнію, и по душѣ и по физіономіи не что иное, какъ лакей. Гораздо болѣе нравится благодѣтелю молодой сироты мысль сдѣлать ее женой Цыплунова, потому что онъ хорошо идетъ по службѣ, пользуется прекрасной репутаціей и вдобавокъ влюбленъ въ Бѣлесову до безумія, влюбленъ горячо и беззавѣтно, продолжая видѣть въ ней олицетвореніе всѣхъ физическихъ и нравственныхъ совершенствъ. Гнѣвышевъ, какъ сосѣдъ по дачѣ, знакомится съ матерью Цыплунова и въ разговорѣ съ нею выдаетъ Бѣлесову за свою родственницу, о которой, какъ о сиротѣ, нѣжно заботится какъ онъ, такъ и жена его, и которую имъ

весьма желательно бы пристроить за хорошаго человѣка. Бѣлесова, встрѣтившись съ молодымъ человѣкомъ, издали слѣдившимъ за нею съ какимъ-то робкимъ и нѣмымъ обожаніемъ въ теченіе нѣсколькихъ дней, смотритъ на него сначала какъ на полусумасшедшаго; ей даже неловко слышать изъ устъ Цыплунова горячія, безсвязныя рѣчи, свидѣтельствующія, что онъ заблуждается на ея счетъ и видитъ въ ней чуть не святую дѣвушку, не подозрѣвая даже самой возможности ея паденія. Вдругъ Гнѣвышевъ прямо объявляетъ ей о своемъ намѣреніи разстаться съ нею, вслѣдствіе необходимости примириться съ женою, которая одна можетъ поправить разстроенныя его денежныя обстоятельства. Бѣлесова покоряется необходимости и находится въ полной увѣренности, что онъ, обезпечивъ ее по мѣрѣ возможности, «передастъ» какому-нибудь другому старичку изъ его пріятелей; когда же она узнаетъ, что Гнѣвышевъ намѣренъ выдать ее замужъ, и притомъ за Цыплунова, Бѣлесова поражается неожиданностью; мысль эта приводитъ ее въ ужасъ. Она сначала смутно, а потомъ съ безпощадною ясностью начинаетъ сознавать, что не имѣетъ никакихъ качествъ, необходимыхъ для того, чтобъ быть хорошею женой, и человѣкъ, только что передъ тѣмъ представлявшійся ей ничтожнымъ, сумасшедшимъ, вдругъ принимаетъ въ ея глазахъ суровый, подавляющій образъ мужа, имѣющаго право требовать отъ нея отчета за ея прошедшее. При этой мысли Бѣлесова разражается горькими рыданіями; она чувствуетъ, что находится въ безпомощномъ состояніи, и что нравственное паденіе ея, къ которому она относилась до тѣхъ поръ легкомысленно, всею тяжестью своей легло на ея молодое еще чувство... Этою превосходною сценой оканчивается второй актъ комедіи Островскаго.

Въ третьемъ актѣ Цыплуновъ является уже женихомъ боготворимой имъ Валентины. Онъ не помнитъ

себя отъ блаженства, какъ вдругъ неожиданный ударъ разбиваетъ въ прахъ созданный имъ кумиръ: изъ разговора между Пирамидаловымъ и купчихой Бѣдонѣговой, также сосѣдкой по дачѣ, онъ узнаетъ, что Валентина не родственница, воспитанная Гнѣвышевымъ, а его любовница, которую онъ старается теперь повыгоднѣе сбыть съ рукъ. Такое открытіе какъ громомъ поражаетъ бѣднаго идеалиста, и онъ осыпаетъ Валентину горькими упреками, нанося ей съ болью въ сердцѣ безпощадныя оскорбленія, потому что не помнитъ себя и задыхается отъ волненія, охватившаго все его нравственное существо. Валентина уходитъ, подавленная его упреками, потрясенная ими до глубины души. Сцена эта, заканчивающая третій актъ, удалась не менѣе той, на которую мы указали выше.

Въ четвертомъ актѣ Цыплуновъ приходитъ къ Валентинѣ по настоятельному ея приглашенію и безропотно выслушиваетъ длинный рядъ упрековъ, съ которыми она обращается къ нему за невѣжливый его поступокъ съ нею. На просьбу ея извиниться передъ нею Цыплуновъ отвѣчаетъ изъявленіемъ согласія сдѣлать это, хотя бы при свидѣтеляхъ, но прибавляетъ, что ей самой отъ этого будетъ не легче, такъ какъ въ словахъ его была одна только правда, и никакое формальное извиненіе не заставитъ ее забыть эту правду. Валентина, полюбившая въ свою очередь этого «серьезнаго» человѣка, не пощадившаго ея самолюбія, чтобы заставить ее глубже заглянуть въ свою душу, умоляетъ его не покидать ее и относиться къ ней съ состраданіемъ, такъ какъ онъ сдѣлался отнынѣ единственнымъ человѣкомъ, который можетъ привязать ее къ жизни. Пьеса оканчивается тѣмъ, что Цыплуновъ убѣждаетъ мать свою принять къ себѣ въ домъ сироту Бѣлесову, какъ дочь, чтобъ нравственно перевоспитать ее; деньги же, которыя выдалъ ей на прощаніе Гнѣвышевъ, возвращаетъ ему отъ ея имени.

На эту тему Островскій написалъ пьесу, сжатую по формѣ, стройную по сценарію, чуждую всякихъ искусственныхъ эффектовъ. Въ пьесѣ всего шесть дѣйствующихъ лицъ; каждое изъ нихъ необходимо для гармоніи цѣлаго, и характеры всѣхъ обрисованы съ строгою послѣдовательностью, какъ бы выхвачены изъ жизни. Идеалистъ Цыплуновъ можетъ, конечно, показаться личностью нѣсколько исключительною, но такіе люди все-таки встрѣчаются и понынѣ, вызывая симпатію неподкупною честностью своихъ убѣжденій и взглядовъ. Особенно хорошо обрисована авторомъ Бѣлесова. Этою личностью Островскій, очевидно, занялся съ особенною любовью, мастерски заставилъ ее нравственно перерождаться, такъ сказать, воочію передъ публикой. Остальныя четыре лица, второстепенныя — Гнѣвышевъ, мать Цыплунова, чиновникъ Пирамидаловъ и купчиха Бѣдонѣгова, не потребовали для изображенія ихъ на сценѣ особенныхъ тонкостей, потому что высказываются съ первыхъ словъ совершенно ясно и опредѣленно.

По замыслу комедія Островскаго не можетъ быть названа совершенно новою: главный драматическій моментъ ея встрѣчается, между прочимъ, въ комедіи Ожье «L'Aventurière», гдѣ честный молодой человѣкъ подавляетъ вспышкой своего благороднаго гнѣва недостойную женщину, едва не сдѣлавшуюся женой его отца, и тѣмъ заставляетъ ее горячо полюбить своего оскорбителя. Но разработка Островскимъ основного мотива отличается полною самостоятельностью и принадлежитъ всецѣло даровитому автору, пьеса котораго можетъ быть названа, по справедливости, драгоцѣннымъ вкладомъ въ современный, довольно убогій, какъ извѣстно, репертуаръ. Само собою разумѣется, что при тонкости своего психологическаго развитія, пьеса не можетъ удовлетворить массу и разсчитана не на тотъ успѣхъ, которымъ могутъ пользоваться грубыя мелодрамы.

Достоинства комедіи „Послѣдняя жертва“ *).

Новая комедія Островскаго «Послѣдняя жертва» принадлежитъ къ числу лучшихъ его произведеній, писанныхъ въ послѣднее время. Она любопытна какъ картинка современныхъ замоскворѣцкихъ нравовъ и въ то же время представляетъ весьма остроумную насмѣшку надъ особымъ повѣтріемъ, господствующимъ и въ обществѣ и въ современной драматической литературѣ, и которое можно назвать пошлымъ сентиментализмомъ.

Нѣкоторые находятъ, что по части замоскворѣцкихъ нравовъ Островскій не представилъ въ комедіи ничего новаго. Это и правда и неправда. Типы, подобные выведеннымъ въ новой комедіи, мы видѣли и въ прежнихъ произведеніяхъ нашего автора, но къ нимъ прибавлены новыя краски. Мы видѣли богатаго купца-вдовца, готоваго покровительствовать хорошенькимъ сиротамъ и вдовамъ, но прежде купецъ этотъ былъ просто грубъ и неуклюжъ, шероховатъ съ женщинами. Нынѣ и за Москвой рѣкой просвѣщеніе. Купецъ, пріѣхавъ къ молодой вдовѣ, чтобъ сдѣлать ей извѣстное предложеніе, считаетъ долгомъ завести свѣтскій разговоръ о Патти; получивъ отказъ, онъ не ругается и не грозитъ, а самымъ деликатнымъ образомъ замѣчаетъ,

---

*) Изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ 1877 г., № 281. *Зелинскій*, 5. *Денисюкъ*, 4.

что Росси очень хорошій актеръ, да, къ несчастію, «говоритъ непонятно». Мы видѣли купчиковъ-кутилъ, но они также не отличались нынѣшнею образованностью. Нынче транжирить—у нихъ называется жить по-европейски, нынче они слѣдятъ за литературой, то-есть попросту читаютъ переводные романы и даже въ «ямѣ» забываютъ горе за Монте-Кристомъ, въ которомъ по характеру находятъ большое сходство съ собою; они не только не хуже любого барина умѣютъ заказать ужинъ, но и по виду настоящіе джентльмены: имъ только бы съ лордомъ Биконсфильдомъ говорить. Усердно слѣдя за политикой, они спѣшатъ сообщить знакомымъ новости о здоровьи папы. И прежде были влюбчивыя Капочки, но онѣ просто «съ жиру бѣсились», а нынче ихъ пожираютъ «африканскія страсти»; прежде онѣ только отваживались цѣловаться въ саду со своими возлюбленными, да и то выставивъ сторожей, а нынѣ являются на квартиры къ нимъ, ни дать ни взять какъ героини прогрессивныхъ комедій и повѣстей и т. д. Такихъ чертъ разсыпано въ комедіи множество.

Но главное достоинство комедіи въ осмѣяніи пошлаго сентиментализма. Какъ сказано, въ этомъ отношеніи «Послѣдняя жертва» есть весьма остроумная насмѣшка надъ нѣкоторымъ литературнымъ повѣтріемъ, отличная пародія на нѣкоторый ложный родъ драмы. Кто не видалъ комедій, пошлые герои или героини которыхъ послѣ длиннаго ряда всяческихъ пошлостей кончали болѣе или менѣе эффектнымъ самоубійствомъ? Въ такую ошибку въ развязкѣ комедіи нерѣдко впадали даже авторы несомнѣнно талантливые. Эти авторы, быть-можетъ, болѣе способные къ повѣсти, чѣмъ къ драмѣ, забывали одно важное обстоятельство, а именно, что драма основывается на возбужденіи въ зрителѣ извѣстныхъ страстей, аффектовъ или чувствъ, и что эти возбужденія связаны съ самою сущностью драматиче-

скаго искусства. Драма распадается на этомъ основаніи на два правильные рода: трагедію, имѣющую цѣлью возбудить состраданіе къ достойному состраданія, и комедію, смѣющуюся надъ людскою пошлостью. Поэтому-то трагедія изображаетъ страданія людей выше насъ или равныхъ намъ по человѣческимъ достоинствамъ, а комедія—лжестраданія людей ниже насъ и съ тѣмъ вмѣстѣ пошлость, свойственную болѣе или менѣе хорошимъ людямъ. Какъ скоро комикъ изобразитъ гибель пошлаго человѣка, такъ онъ возбудитъ въ зрителѣ смутныя и неясныя ощущенія, чѣмъ лишитъ свое произведеніе права на эпитетъ «художественнаго». Мученія даже пошлаго человѣка возбуждаютъ въ насъ, конечно, жалость, но эта жалость въ данномъ случаѣ смѣшана съ презрѣніемъ къ тому, надъ кѣмъ мы смѣялись; если мы черезчуръ расчувствуемся надъ судьбой такого героя, то впадемъ въ сентиментализмъ болѣе или менѣе пошлый. Авторы подобныхъ произведеній разсчитываютъ произвести сильное впечатлѣніе, забывая, что «есть и такая сила, что уму могила»; всякій художникъ долженъ быть взыскателенъ къ себѣ, по выраженію Пушкина, долженъ воспитать себя въ мысли о важности своего призванія, обдумывать самымъ серьезнымъ образомъ, какое впечатлѣніе можетъ произвести на зрителя его произведеніе, долженъ заботиться о возвышеніи въ зрителѣ человѣческаго достоинства и человѣчнаго сознанія, а не способствовать, хотя бы и не злоумышленно, затемненію онаго. У талантливыхъ авторовъ сказанный коренной недостатокъ вознаграждается, хотя никогда не искупается, тѣми или другими достоинствами. Но по слѣдамъ ихъ идутъ литературные промышленники, уже ни на что не разсчитывающіе, кромѣ дешеваго и гнилого успѣха, въ надеждѣ, что есть-де простаки, готовые благоговѣть передъ любымъ успѣхомъ, хотя бы то былъ успѣхъ винной

торговли. Пора было давно осмѣять эту пошлую сентиментальность, и Островскій своею новою комедіей сдѣлалъ въ этомъ отношеніи положительную услугу.

Указанное значеніе комедіи Островскаго строго соединено съ самымъ ея содержаніемъ: ея герой и героиня — люди, исполненные пошлой сентиментальности. Красивый барчукъ Дульчинъ прокутился и попалъ въ руки ростовщика восточнаго происхожденія Салай Салаича, или Салтанъ Салтаныча. Ростовщикъ вздумалъ эксплуатировать его красоту; онъ даетъ ему денегъ, рысаковъ и пр., и красавчикъ подъѣзжаетъ къ молодой купеческой вдовѣ Юліи Тугиной, дамѣ нѣжнаго сердца. Онъ соблазняетъ ее своимъ мнимымъ богатствомъ и обѣщаніемъ жениться, а затѣмъ начинаетъ обирать. Вдова, несмотря на всю страсть, не забываетъ однако брать документы на выданныя любовнику деньги. Любовникъ охотно даетъ документы, по которымъ платить все равно нечѣмъ; онъ такимъ согласіемъ еще болѣе опутываетъ ее. Но средства вдовы, наконецъ, истощаются до того, что старый селадонъ Прибытковъ считаетъ, что теперь самое время приволокнуться за ней. Нѣжная пара все время играетъ въ самыя возвышенныя чувства и постоянно старается обмануть другъ друга хорошими словами, но не только другъ друга, каждый изъ нихъ и самого себя обманываетъ тѣмъ же нехитрымъ способомъ.

У вдовы денегъ уже нѣтъ, а Дульчину приходится платить по векселю. Денегъ можно, конечно, достать у Прибыткова, но придется принести нѣкоторую жертву. Дульчинъ позволяетъ вдовѣ «пококетничать» со старикомъ, обѣщая за то скоро жениться. Нѣжная Юлія добровольно соглашается принести эту «послѣднюю жертву». Она отправляется и кокетничаетъ до того недвусмысленно, что даже стараго селадона коробитъ. Но деньги такъ или иначе получены, и вдова мечтаетъ

о будущемъ супружескомъ счастьи, не забывая въ сладостныхъ мечтахъ того главнаго обстоятельства, что послѣ свадьбы она приберетъ къ рукамъ мужнины имѣнія и станетъ богаче прежняго. Дульчинъ, конечно, не думаетъ жениться; онъ первымъ дѣломъ спускаетъ денежки въ карты, рисуясь и при этомъ не совсѣмъ удобномъ случаѣ своимъ врожденнымъ благородствомъ. А затѣмъ, по совѣту ростовщика, собирается жениться на Иринѣ, дѣвицѣ съ африканскими страстями, но съ мнимо-большимъ приданымъ, племянницѣ селадона Прибыткова. Женитьба эта не удается, ибо приданаго, вмѣсто распущеннаго милліона, всего пять тысячъ. Дульчинъ ловко спроваживаетъ пріѣхавшую къ нему барышню (сцена между ними одна изъ лучшихъ); ранѣе того онъ давалъ своему пріятелю прощалыгѣ торжественную клятву, что жениться будетъ его послѣднею подлостью. Наконецъ Дульчина ждетъ еще разочарованіе: онъ думаетъ вернуться ко вдовѣ, но Юлія выходитъ замужъ за Прибыткова, который женится «отъ племянниковъ». Юлія, понятно, не упускаетъ случая порисоваться передъ отставнымъ любовникомъ; она-де потому измѣнила ему, что онъ въ ней не пощадилъ женскаго стыда, дозволивъ «пококетничать» со старикомъ, и затѣмъ объясняетъ, что векселя на Дульчина переданы жениху въ видѣ приданаго. Дульчинъ послѣ такого казуса впадаетъ въ отчаяніе, разумѣется, въ притворное; онъ кричитъ, что застрѣлится, хватаетъ пистолетъ (вѣроятно, не заряженный) и въ тотъ моментъ, когда готовъ спустить курокъ, вдругъ вспоминаетъ, что есть еще богатая влюбленная въ него купчиха, а стало-быть, помирать не кстати. Тѣмъ и кончается комедія. Мы не станемъ входить въ дальнѣйшія подробности. Сказаннаго достаточно, чтобы понять, что сюжетъ ея заключается въ противопоставленіи претензіи на возвышенность чувствъ, увѣреній въ способности къ жало-

сти, всепрощенію, исправленію и всяческимъ доблестямъ съ поступками пошло-эгоистическими, съ чувствами, недостойными названія человѣческихъ. Изъ такого противопоставленія возникаетъ комизмъ, и смѣемъ думать, что комизмъ этотъ настоящій и здоровый. Лучшій актъ—пятый, представляющій рядъ сценъ, написанныхъ съ самою проказливою веселостью. Къ недостаткамъ комедіи относится обиліе такъ называемыхъ порожнихъ рѣчей, то-есть разговоровъ, не вызываемыхъ дѣйствіемъ; прерывчатость въ теченіи дѣйствія, особенно во 2-мъ актѣ; обиліе вводныхъ лицъ, не участвующихъ непосредственно въ дѣйствіи, особенно въ 3-мъ актѣ. Но эти недостатки, довольно обычные у нашего автора, вполнѣ искупаются указанными достоинствами и, главное, несомнѣннымъ комизмомъ основного мотива».

Д. Аверкіевъ.

Значеніе историческихъ произведеній Островскаго *).

Уже въ нѣкоторыхъ изъ своихъ прежнихъ произведеній Островскій изображалъ намъ не современность, а время за 30, за 40 лѣтъ назадъ. Въ «Не такъ живи, какъ хочется» время дѣйствія было даже перенесено имъ въ XVIII ст. Онъ пытался такимъ образомъ становиться на почву прошлаго, почву историческую. Онъ окончательно сталъ на нее въ своей драматической хроникѣ: «Мининъ» (1862 г.). Соотвѣтственно содержанію, тутъ и внѣшняя форма удаляетъ насъ отъ будничной жизни. Произведеніе это, какъ извѣстно, въ стихахъ и стихахъ прекрасныхъ, мѣстами только чередующихся съ прозаической рѣчью (какъ у Шекспира и въ «Годуновѣ» Пушкина). Нашему драматургу видимо хотѣлось отдохнуть душой, отвернуться отъ пошлости, грязи и самодурства, и перенестись на ту здоровую почву, слабые отголоски которой, однакоже, сказывались по временамъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ. Это та почва общинная, земская, которая не поглощаетъ личности, не подавляетъ ея, а только не даетъ ей уродливо развиваться, доходить до безобразнаго самовольничанья. Мининъ, какимъ, послѣ нѣкоторыхъ колебаній, рѣшил-

*) Русскіе писатели послѣ Гоголя, *О. Миллера.* Ч. III. СПБ. 1888. стр. 265, 285—293.

выставить его Островскій, самъ вполнѣ сознаетъ, ка: почва его возрастила. Онъ говоритъ:

Я къ дѣлу земскому рожденъ. Я выросъ
На площади между народныхъ сходокъ.
Я рано плакалъ о народномъ горѣ,
И, не по лѣтамъ, тяжесть земской службы
Я на плечахъ носилъ своей охотой.
Соблазну власти я не поддавался;
И, какъ насѣдка бережетъ цыплятъ,
Такъ я берегъ отъ властныхъ и богатыхъ
Молодшую обидимую братью.

[а историческую почву вступилъ Островскій и въ ей драматической хроникѣ въ двухъ частяхъ: «Дми- й Самозванецъ и Василій Шуйскій» (1867 г.). За нею лѣдовало «Тушино» (въ томъ же году). Нарисовавъ гъ конецъ нашей смутной поры въ своемъ «Мининѣ», ровскій обратился затѣмъ къ ея первой порѣ и къ ѣ ея разгара. Смуту не даромъ считаютъ особенно матической эпохою въ нашей исторіи. Съ легкой :и Пушкина, воспроизводили ея начало и ея конецъ юльникъ, Гедеоновъ, Константинъ Аксаковъ, Хомя- ъ, Чаевъ и, позже всѣхъ, уже послѣ Островскаго, Голенищевъ-Кутузовъ. Къ великой чести Островска- онъ со всею силою своего таланта далъ почувство- ь въ своихъ драмахъ изъ этой поры все значеніе той юдной стихіи, которая недостаточно выступаетъ впе- ъ у Пушкина, глубоко сознавалась, конечно, Хомя- ымъ и К. Аксаковымъ, но не вполнѣ далась имъ въ эмъ драматическомъ воспроизведеніи.

:онечно, уже Пушкинъ въ «Борисѣ Годуновѣ» далъ увствовать, что Самозванецъ оказался сильнымъ

Не войскомъ, нѣтъ, не польскою помогой,
А мнѣніемъ, да—мнѣніемъ народнымъ.

.е даромъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ говоритъ у э про народъ:

...Попробуй Самозванецъ
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,
Ну, и пойдетъ потѣха.

Глубокаго смысла, конечно, исполнено въ концѣ драмы и то «безмолвіе народа», которое сулитъ Самозванцу недоброе. Зато прямая причина гибели Годунова, коренившаяся тоже въ настроеніи народномъ, показана Пушкинымъ далеко не ясно. Что же касается геніальнаго Пушкинскаго намека на будущую гибель Самозванца, то для оправданія его нужна была цѣлая новая драма, такъ и не написанная Пушкинымъ. Съ нею-то, съ этою дальнѣйшею драмою Самозванца, и встрѣчаемся мы у Островскаго. Мы видимъ его тутъ уже на престолѣ и убѣждаемся въ искренности его прекрасныхъ правительственныхъ намѣреній. Онъ вѣдь съ истиннымъ увлеченіемъ говоритъ Басманову:

Вездѣ, во всемъ вы властвуете страхомъ:
Вы женъ своихъ любить васъ пріучали
Побоями и страхомъ; ваши дѣти
Отъ страха глазъ поднять на васъ не смѣютъ;
Отъ страха пахарь пашетъ ваше поле,
Идетъ отъ страха воинъ на войну,
Ведетъ его подъ страхомъ воевода,
Со страхомъ вашъ посолъ посольство правитъ;
Отъ страха вы молчите въ думѣ царской.
Отцы мои и дѣды, государи,
Въ ордѣ Татарской, за широкой Волгой,
По ханскимъ ставкамъ страха набирались
И страхомъ править у татаръ учились.
Другое средство лучше и надежнѣй—
Щедротами и милостью царить.

Говоря о «предкахъ», Самозванецъ, можно сказать, чистосердечно увлекается мыслью, что онъ, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ ихъ потомокъ. Ему, очевидно, втолковано, что онъ настоящій царевичъ. Соединяя въ своемъ пониманіи названаго Дмитрія ту историческую догадку, которая видитъ въ немъ орудіе извѣстной бояр-

ской партіи, уже вырастившей его въ потребныхъ для того понятіяхъ, съ тѣмъ едва ли уже не безспорнымъ историческимъ мнѣніемъ, по которому Самозванецъ является орудіемъ польско-іезуитской интриги, Островскій не рѣшился, однакоже, выставить его вполнѣ убѣжденнымъ въ своемъ царскомъ происхожденіи. Такимъ оказывается онъ, какъ извѣстно, въ неоконченной трагедіи великаго нѣмецкаго поэта, весь психологическій интересъ которой и сосредоточивается въ томъ, что, уже достигая своей цѣли, Дмитрій неожиданно разувѣряется въ томъ, во что онъ такъ твердо вѣрилъ—въ самомъ себѣ («Demetrius» Шиллера). Но и у Островскаго онъ, при своей увлекающейся натурѣ, по временамъ почти готовъ вѣрить тому, что ему издавна втолковано. Припомните его обращеніе къ Грозному:

Отецъ названый! Я себя не знаю,
Младенчества не помню. Царскимъ сыномъ
Я назвался не самъ; твои бояре
Давно меня царевичемъ назвали
И, съ торжествомъ и злобнымъ смѣхомъ, въ Польшу
На береженье отдали. Не самъ я
На Русь пошелъ; на смѣну Годунова
Давно зоветъ меня твоя столица,
Давно идетъ по всей Россіи шопотъ,
Что Дмитрій живъ...
...Какъ сонъ припоминаю,
Что въ дѣтствѣ я былъ вспыльчивъ, какъ огонь;
И здѣсь, въ Москвѣ, въ большомъ дому боярскомъ,
Шептали мнѣ, что я въ отца родился,
И радостно во мнѣ играло сердце.
Такъ кто же я? Ну, если я не Дмитрій,
То сынъ любви, иль прихоти царевой...
Я чувствую, что не простая кровь
Течетъ во мнѣ...
...Счастливый Самозванецъ
И царствъ твоихъ невольныхъ похититель,
Я не возьму тиранскихъ правъ твоихъ—
Губить и мучить. Я себѣ оставлю

Одно святое право всѣхъ владыкъ—
Прощать и миловать.

Онъ, стало быть, является у Островскаго не искателемъ приключеній, не ловцомъ рыбы въ мутной водѣ; онъ увлекается мыслію о тѣхъ благахъ, которыя онъ можетъ доставить Русской землѣ, пользуясь доставшеюся ему властью. Да, но онъ смотритъ на себя, какъ на какой-то добровольный источникъ благодѣяній, онъ составилъ себѣ, не безъ вліянія иноземцевъ, самое темное понятіе объ отечественномъ строѣ жизни, и онъ не чуетъ того народнаго воззрѣнія на власть, въ силу котораго она является службою землѣ; не чуетъ, что тиранскій образъ дѣйствій Грознаго не былъ его государевымъ правомъ, что сыну предстояло бы, просто, не мечтая о благодѣяніяхъ, загладить передъ народомъ грѣхи отца. Правда, Дмитрій вспоминаетъ о народѣ, какъ о сознательной силѣ, обращается къ его голосу, къ его суду, когда ему предстоитъ расправа съ Шуйскимъ. Но это оттого, что ему бы только свалить съ самого себя тяжелое дѣло расправы съ личными врагами. Островскій выставилъ его самоувѣренно-великодушнымъ до легкомыслія, такъ что Самозванецъ напоминаетъ у него Сарданапала въ извѣстной трагедіи Байрона. Но онъ напоминаетъ Сарданапала и въ другомъ отношеніи— тѣмъ, что, при всей своей добротѣ и великодушіи къ врагамъ, онъ, такъ сказать, слишкомъ добръ и къ самому себѣ, слишкомъ самъ себѣ потакаетъ. При этомъ онъ уже нимало не думаетъ о народномъ мнѣніи, о народномъ судѣ надъ собою, и вотъ ему приходится выслушивать отъ дьяка Осипова такія смѣлыя укоризны:

Какой ты царь! Тебѣ ль управить царствомъ,
Когда собой управить ты не въ силахъ!
Какой ты царь! Ты самъ въ оковахъ рабства.

Шуйскій, этотъ «лукавый царедворецъ», какъ его назвалъ Пушкинъ, но царедворецъ, пролагающій себѣ до-

рогу къ царству, искусно пользуется у Островскаго легкомысліемъ Самозванца и только подстрекаетъ его на то, на чемъ онъ себѣ сломитъ шею...

Шуйскому удается, воспользовавшись легкомысленными ошибками Самозванца, вызвать противъ него возстаніе.

Участь Самозванца рѣшена. Но вы чувствуете, что и Шуйскому не усидѣть на своемъ самосозданномъ престолѣ.

Бояре, ради собственныхъ выгодъ содѣйствующіе ему, чтобы взять съ него запись, ограничивающую его въ ихъ пользу, въ то же самое время и завидуютъ-то ему и презираютъ-то его глубоко. Вотъ какъ описываетъ Шуйскаго Куракинъ:

Что ни начни, все свято у него!
Завѣдомо мошенничать сберется,
Иль видимую пакость норовитъ,
А самъ, гляди, вздыхаетъ съ постной рожей
И говоритъ: «святое дѣло, братцы!»

Чисто личными побужденіями, конечно, руководствуется въ своемъ осужденіи и Голицынъ. Это не мѣшаетъ ему проговориться словомъ глубокой правды,—вѣрно указать на то, чего именно не достаетъ Шуйскому для прочности его власти. Вотъ слова Голицына, которыми и заканчивается хроника:

Крамольникъ онъ отъ головы до пятокъ!
Бояриномъ ему бъ и оставаться.
Крамольнику не слѣдъ короноваться.
Крамолой сѣлъ Борисъ, а Дмитрій силой:
Обоимъ тронъ Московскій былъ могилой.
Для Шуйскаго примѣровъ недовольно;
Онъ хочетъ сѣсть на царство самовольно—
Не царствовать ему! На тронъ свободный
Садится лишь избранникъ всенародный.

Мы снова встрѣчаемся съ Василіемъ Шуйскимъ въ новой драматической хроникѣ Островскаго: «Тушино».

Изъ собственной его рѣчи видно, что престолъ уже сильно колеблется подъ нимъ. Онъ причитаетъ жалобно:

Моя судьба—мудреная загадка.
Отъ плахи я перешагнулъ на тронъ,
На грозномъ тронѣ я сижу безъ власти!
Безъ власти царь Московскій! Это дѣло
Не слыхано! Орлу парить высоко
Безъ крылъ нельзя! А я орелъ безъ крыльевъ.
Не страшенъ врагъ! Пошли, Творецъ небесный,
Мнѣ равнаго и честнаго врага!
Ведутъ войну цари съ царями, идутъ
На честный бой пытать и гнѣвъ и милость
Твою, Господь! И ты даешь побѣду
Достойному, а гордаго смиряешь.
А я борюсь, а я воюю, Боже,
Съ холопами, съ ворами, съ бѣглецами!
Обругано твое святое имя,
Обругано помазанье твое!

Но Шуйскій все-таки не понимаетъ, отчего оно такъ, чего именно не достаетъ ему, чтобы считать себя на престолѣ прочнымъ...

Отъ смутной поры Островскій обратился еще далѣе назадъ, ко временамъ Грознаго, съ которымъ покойный Н. И. Костомаровъ не даромъ связывалъ внутреннее зло, бывшее причиною смуты. Мы разумѣемъ лживость. «Сѣмена этого порока, говорилъ Костомаровъ, существовали издавна, но были въ громадномъ размѣрѣ воспитаны и развиты эпохою царствованія Грознаго, который самъ былъ олицетворенная ложь. Создавши опричнину, Иванъ вооружилъ русскихъ людей однихъ противъ другихъ, указалъ имъ путь искать милостей или спасенія въ гибели своихъ ближнихъ, казнями за явно вымышленныя преступленія, пріучилъ къ ложнымъ доносамъ, и, совершая для одной потѣхи безчеловѣчныя злодѣянія, воспиталъ въ окружающей средѣ безсердечіе и жестокость. Исчезло уваженіе къ правдѣ и нравственности,

послѣ того какъ царь, который, по народному идеалу, долженъ быть блюстителемъ и того и другого, устраивалъ въ виду своихъ подданныхъ такія зрѣлища, какъ травля невинныхъ людей медвѣдями, или всенародныя истязанія обнаженныхъ дѣвушекъ, и въ то же время соблюдалъ самыя строгія правила монашествующаго благочестія. Въ минуту собственной опасности всякій человѣкъ естественно думаетъ только о себѣ; но когда такія минуты для русскихъ продолжались цѣлыя десятилѣтія, понятно, что должно было вырасти поколѣніе своекорыстныхъ и жестокосердыхъ себялюбцевъ, у которыхъ всѣ помыслы, всѣ стремленія клонились только къ собственной охранѣ,—поколѣніе, для котораго, при наружномъ соблюденіи обычныхъ формъ благочестія, законности и нравственности, не оставалось никакой внутренней правды... Тяжелыя болѣзни людскихъ обществъ, подобно физическимъ, излѣчиваются нескоро, особенно, когда дальнѣйшія условія жизни способствуютъ не прекращенію, а продолженію болѣзненнаго состоянія; только этимъ объясняются тѣ ужасныя явленія смутнаго времени, которыя, можно сказать, были выступленіемъ въ наружу испорченныхъ соковъ, накопившихся въ старинную эпоху Ивановыхъ мучительствъ». *).

Эпохѣ Грознаго, какъ и смутной порѣ, приходилось неоднократно становиться предметомъ драматическаго воспроизведенія. (Стоитъ вспомнить бар. Розена, Мея, А. К. Толстого). У Островскаго относится къ ней трагедія «Василиса Мелентьева», по силѣ драматизма превосходящая соотвѣтственные труды его предшественниковъ, а также и его собственныя драматическія хроники...

О. Миллеръ.

---

*) Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея главнѣйшихъ дѣятелей. Отд. I, стр. 565.

„Василиса Мелентьева", какъ замѣчательное поэтическое произведеніе *).

«Князь Серебряный», произведеніе замѣчательное, давалъ мнѣ чувствовать при чтеніи непрочность психологической основы при постройкѣ характера Іоанна. Этого чувства у меня рѣшительно не было, когда я читалъ «Василису Мелентьеву». Съ первой строки до послѣдней я нигдѣ не почувствовалъ натяжки. Читая и перечитывая эту драму, я чувствовалъ и сознавалъ, что имѣю дѣло съ произведеніемъ очень замѣчательнымъ.

«Очень замѣчательное поэтическое произведеніе»—это такая рѣдкость въ нашей современной, безвкусной и безцвѣтной, литературѣ, что я надѣюсь, читатели не посѣтуютъ на меня, если я на нѣсколько времени остановлю на немъ ихъ вниманіе.

Содержаніе «Василисы Мелентьевой» взято изъ того времени царствованія Іоанна Грознаго, когда онъ, подъ вліяніемъ своей подозрительности, разжигаемый Малютой Скуратовымъ, довелъ деспотизмъ и тиранство до крайнихъ предѣловъ возможности. Іоаннъ старъ, подозрителенъ и похотливъ. У него молодая, пятая жена, Анна Васильчикова, воспитывавшаяся прежде въ домѣ князя Воротынскаго, которую Іоаннъ взялъ, отославши

*) Изъ „Одесскаго Вѣстника" 1868 г., № 118. *Зелинскій*, 3. *Денисюкъ*, 3.

свою четвертую жену въ монастырь. Между прислужницами царицы Анны есть одна здоровая, красивая баба, продувная и безстыдная—Василиса Мелентьева, будущая шестая жена царя Іоанна и героиня драмы Островскаго. Положеніе дѣлъ въ государствѣ очень плохо: «народъ безмолвствуетъ», говоря словами Пушкина, а бояре раздѣлены на двѣ партіи: одна, крайне малочисленная, съ княземъ Воротынскимъ во главѣ, негодуетъ на упадокъ бояръ, на выскочку Малюту, и старается дѣйствовать черезъ царицу на Іоанна; другая, составляющая огромное большинство,—слуги Малюты, люди, не останавливающіеся ни передъ чѣмъ...

Воротынскій своею боярскою надменностью оскорбилъ Малюту. Малюта подкупилъ слугу Воротынскаго донести на своего господина, какъ на преступника и чернокнижника. Воротынскій не захотѣлъ оправдываться (да это было бы и безполезно), и потому царь присудилъ казнить его. Хотите знать, что такое казнь во времена Іоанна?

Тебя ведутъ на площадь,
На сковородахъ поджарятъ, послѣ въ пузо
Гвоздей набьютъ,

говоритъ шутливо шутъ. А вотъ какъ, не менѣе шутливо, разсуждаетъ царь съ Малютою о восьмидесятилѣтней старухѣ, нянѣ царицы:

Малюта. Да старая колдунья,
Со страху что ли, вовсе онѣмѣла;
Я попыталъ ее, кажись, легонько:
На дыбу вздѣлъ да раза два ударилъ,—
Она сквозь губы что-то бормотала,
И околѣла, не сказавъ ни слова.
Царь. Ни слова не сказала! Ужъ и ты
Пытаешь такъ, что старой не подъ силу;
Въ старухѣ еле держится душа,
А онъ ее на дыбу! Ты бъ поджарилъ
Легонько, такъ все бы разсказала.

За Воротынскаго рѣшилась просить царица. Повинуясь величію своего женскаго инстинкта, она явилась въ тронную залу въ сопровожденіи своихъ дѣвушекъ, и въ ихъ числѣ Василисы Мелентьевой. Царь грубо принялъ свою жену, отказалъ ей въ просьбѣ, но обратилъ вниманіе на здоровую и красивую дѣвку, ее сопровождавшую. Царица уходитъ въ глубокомъ горѣ. Казнь Воротынскаго рѣшена. Царь сходитъ съ трона, беретъ за руку Малюту, отводитъ въ сторону и говоритъ вполголоса:

Красивая та баба, кто такая
Въ царициной прислугѣ?
Малюта. Василиса Мелентьева, вдова. Она недавно
Къ царицѣ вверхъ взята, а прежде съ мужемъ
Жила въ Москвѣ. Какъ померъ мужъ у ней,
Такъ и взяла къ себѣ ее царица.
Царь. Ну счастливъ онъ, что умеръ. Догадался!
Красавица, не то что Анна плакса:
Отъ слезъ ея я сталъ скучать, Малюта.

Съ этого момента Василиса Мелентьева дѣлается дѣйствительно героинею пьесы. Царь, зайдя какъ бы случайно, въ покои жены въ то время, когда тамъ была одна Василиса, объясняется съ ней въ любви. Объясненіе кончается тѣмъ, что Василиса «цѣлуетъ его съ жаромъ, но, какъ бы испугавшись, вырывается и закрываетъ лицо».

Василиса. Меня во грѣхъ ты ввелъ. Не спохватилась! Вотъ грѣхъ какой (*Толкаетъ царя въ плечо*). Поди, поди къ царицѣ.

(*Царь съ удивленіемъ смотритъ на нее; она продолжаетъ толкать его*).

Поди, поди! Она жена твоя,
Она красивѣй, лучше насъ, нряднѣй...
Поди, поди!..
Царь. Съ тобой мнѣ веселѣе,
Ты смѣлая.

Василиса. Какая уродилась,
Ужъ не взыщи. Великій государь,
Ты грамотникъ. Мнѣ имя—Василиса,
А что такое Василиса—знаешь?
Царь. Царица.
Василиса. Да? Ишь какъ меня назвали!
Какая я царица? Я—раба.
Да что я, дура, такъ разговорилась,
Поди къ женѣ.
Царь. Я не пойду къ царицѣ.
А ты сама царицей хочешь быть?

Эта сцена рѣшаетъ все. Царица Анна давно чувствуетъ, что любовь мужа для нея потеряна. Молодая мечтательница, идеалистка, она хотѣла бы любви во вкусѣ Шиллера; она тоскуетъ въ царскихъ покояхъ, посреди великолѣпія о томъ счастьѣ съ милымъ сердца, которое было бы для нея возможно, если бы она не сдѣлалась царицей. Эти невинныя мечты подстерегаютъ, перетолковываютъ, и царица попадаетъ въ немилость, и получаетъ разводъ послѣ унизительной сцены, въ которой ее обвиняютъ въ невѣрности мужу. Но торжество Василисы не полно: она не хочетъ быть наложницей, а домогается престола; ей нужно устранить царицу совершенно. Какъ орудіе своего замысла, она выбираетъ своего любовника, Андрея Колычева, прежняго товарища игръ царицы въ домѣ Воротынскаго. Андрей, страстно влюбленный въ Василису, рѣшается въ припадкѣ чувственности, которую Василиса умѣла разжечь, на преступленіе. Въ превосходныхъ словахъ онъ мотивируетъ чисто по-русски свое рѣшеніе:

Тебѣ, для-ради женской
Красы твоей, души не пожалѣю!
Но ты смотри. Въ послѣдній это разъ
Я твой слуга...
Запомни ты: свершивши это дѣло
Грѣховное, я буду господиномъ,
А ты моей рабой. Заставлю я

Не ласкою, а грознымъ словомъ тѣшить
Любовь мою и норовъ молодецкій.
Женой возьму къ себѣ въ свой домъ.

Василиса. Согласна.

Колычевъ. И будешь ты любить меня и холить,
И пуще грома божьяго бояться (Беретъ ее за руку).

Василиса. Ой больно, больно!

Колычевъ. Ну, ужъ не взыщи!
А ты спроси, легко ли мнѣ. Прощай.

Царицу рѣшено отравить. Въ самый моментъ совершенія преступленія, поднося отравленный кубокъ несчастной женщинѣ, Колычевъ не выдержалъ. Когда печальная царица, смотря ему въ глаза своими кроткими, ласковыми глазами, напомнила ему нѣсколькими словами прошлое, счастливое житье въ домѣ Воротынскаго, и потомъ, полная тяжелаго предчувствія, полу-шутя спросила его: «мнѣ кажется, что въ этотъ кубокъ зелье положено?»—Колычевъ отвѣчаетъ: «положено, царица! Не пей его». Но царица понимаетъ, что умереть ей все-таки придется. Въ припадкѣ рѣшимости, свойственной иногда такимъ слабымъ существамъ, она подноситъ отравленное вино къ своимъ губамъ и опоражниваетъ смертельный кубокъ до дна.

Василиса достигла своей цѣли. Она—царица. Эта безстыжая баба-отравительница самовластно распоряжается Іоанномъ, заставляетъ его укрывать свои ноги его царской мантіей, идетъ навстрѣчу его гнѣву, даетъ ему шутливо-презрительныя прозвища. Она говоритъ ему, что она «небольна дура, не глупѣе его», потомъ обращается къ нему съ словами: «эхъ, старенькій, поди ко мнѣ, присядь!» Это самородное кокетство русской бабы имѣетъ свою привлекательную сторону для сластолюбиваго старика: грозный царь подчиняется безусловно капризамъ безстыжей бабы, и оба счастливы.

Но счастье это непрочно. Василису начинаютъ без-

покоить видѣнія. Она, какъ леди Макбетъ, бродитъ по ночамъ и не можетъ уйти отъ призрака убитой царицы. Дѣло кончается быстро и неожиданно. Іоаннъ Грозный, подслушавши, какъ мужъ въ «Паризинѣ» Байрона, ночной бредъ своей жены, будитъ ее и хочетъ судить; но въ спальнѣ вдругъ появляется именно тотъ, о комъ Василиса бредила: Андрюша Колычевъ. Онъ предупреждаетъ намѣреніе Іоанна, вонзая ножъ въ грудь своей бывшей любовницы, обманувшей его. Іоаннъ равнодушно-шутливо относится къ поступку Колычева, сначала его похваливаетъ, потомъ вдругъ, совершенно неожиданно, оканчиваетъ пьесу слѣдующими словами:

Возьми, Малюта,
И прибери Андрюшу Колычева
Отъ нашихъ глазъ куда-нибудь подальше...
Хоть въ тотъ-же гробъ, гдѣ Василиса будетъ!

Этою кровавою остротою оканчивается «Василиса Мелентьева».

Я старался въ передачѣ содержанія оттѣнить наиболѣе выдающіяся мѣста драмы, и думаю, что въ цѣломъ далъ о ней вѣрное понятіе. Переходя къ болѣе подробному разбору, для того чтобы оттѣнить и второстепенныя частности драмы, я намѣренъ приложить способъ сравненія. «Генрихъ VIII» Шекспира представляетъ необыкновенно много пунктовъ сходства съ «Василисой Мелентьевой». Я почти увѣренъ, что Островскій писалъ подъ нѣкоторымъ вліяніемъ этой замѣчательной драмы великаго англійскаго поэта. Симпатіи Шекспира и Островскаго—лежатъ на одной сторонѣ. Характеры героевъ и героинь обѣихъ пьесъ настолько схожи, насколько могли быть схожи русскіе XVI столѣтія съ англичанами; но, во всякомъ случаѣ, они принадлежатъ къ одному типу. Главнѣйшіе моменты пьесъ—одни и тѣ же. Взгляните на параллель между лицами.

Развѣ Генрихъ VIII,—старый, деспотическій, похот-

ливый, цѣлующій неизвѣстную никому легкую красавицу Анну Болейнъ, послѣ лорда Сандса,—не похожъ на Іоанна, любезничающаго съ Василисой, послѣ Колычева?

Развѣ кардиналъ Вольси, наглый, самовластный, сводящій для своихъ видовъ Генриха и Анну и губящій Екатерину Аррагонскую и благороднаго Букингама, Вольси—такъ ѣдко осмѣянный и такъ живо представленный Джономъ Скельтономъ—развѣ онъ не похожъ на Малюту Скуратова, сводящаго Іоанна съ Василисой, губящаго Анну и Воротынскаго и осмѣяннаго во множествѣ народныхъ пѣсенъ? Анна—кроткая, сострадательная мечтательница и страдалица—развѣ она не похожа на Екатерину Аррагонскую? Анна Болейнъ развѣ не Василиса Мелентьева?

Такимъ образомъ, всѣ главныя лица «Генриха VIII»—рѣшительно параллельны главнымъ лицамъ «Василисы». Это сходство можетъ быть случайное; но что я не дѣлаю натяжки, въ этомъ приглашаю убѣдиться всякаго прочитавшаго обѣ указанныя мною драмы. Но при всемъ этомъ сходствѣ, драма Островскаго полна оригинальности. Чисто русскія черты разбросаны во множествѣ повсюду. Анна Болейнъ и Василиса Мелентьева—обѣ очень предпріимчивыя и очень безстыжія кокетки, но кокетство ихъ совершенно различно. Я привелъ неподражаемую сцену перваго свиданія Василисы съ Іоанномъ. Если въ нее вглядѣться внимательно, то невозможно не замѣтить, что она написана первокласснымъ талантомъ. Еще замѣчательнѣе подобная же сцена, о которой я упоминалъ только вскользь,—сцена, когда Іоаннъ покрываетъ своей царскою мантіей ноги Василисы. Отъ этихъ сценъ, да и вообще отъ всѣхъ сценъ, гдѣ принимаетъ участіе Василиса, «пахнетъ русскимъ духомъ». Вы такъ и видите толстую, краснощекую русскую бабу, заигрывающую съ вами, толкая васъ локтемъ и потомъ

закрываясь рукавомъ и краснѣя; бабу съ русскими ужимками, съ русскимъ «ндравомъ» и капризами, съ русскою рѣчью—по московскому протяжному нарѣчію.

Такая же оригинальность, какъ въ Василисѣ, видна и во многихъ другихъ типахъ: въ Колычевѣ, въ царицѣ Аннѣ и т. п.; но самые выдающіеся изъ второстепенныхъ типовъ, это—Іоаннъ, бояре и шутъ.

Островскій не побоялся депоэтизировать Іоанна: самыя грязныя побужденія стоятъ нагло въ характерѣ Іоанна—сластолюбіе, лицемѣріе и звѣрство. Вотъ три черты, которыя прямо бросаются въ глаза всякому, кто захочетъ анализировать этотъ характеръ. Поэтъ не далъ даже своему герою такого гибкаго, дальновиднаго ума, который есть у Ричарда III; онъ не далъ ему даже того политическаго макіавелизма, который дѣлаетъ изъ шекспировскаго короля Джона нѣчто похожее, хоть съ виду, на порядочнаго человѣка и короля. Іоаннъ стоитъ безъ всѣхъ этихъ прикрасъ въ обществѣ Малюты Скуратова, предъ трупами Воротынскаго и царицы Анны, обнявши безстыжую дѣвку Василису.

Іоаннъ—не типъ. Поэтъ не сумѣлъ или не хотѣлъ найти общечеловѣческое въ этой личности и выставить особенно ярко это общечеловѣческое. Въ такомъ случаѣ онъ былъ бы типомъ. Теперь—это собраніе личныхъ чертъ въ одинъ, очень нестройный, непривлекательный образъ. Несмотря на все это, Іоаннъ Островскаго имѣетъ гораздо болѣе достоинствъ, чѣмъ всѣ Іоанны, изображенные до него, начиная съ карамзинскаго. Дѣло въ томъ, что есть на свѣтѣ нѣчто, стѣсняющее нравственную свободу, свободу совѣсти и мысли, есть нѣчто женирующее самыя высшія, самыя тонкія отправленія ума, нѣчто, подчиняющее даже неуловимое воображеніе контролю, арестующее и заковывающее въ цѣпи самый идеалъ. хотѣли избѣжать славянофилы, и его совершенно из-
Этого «нѣчто» не могъ избѣжать Карамзинъ; его не

бѣжалъ Островскій. Повторяю: Іоаннъ Островскаго необыкновенно важенъ своей отрицательной стороной.

Рядомъ съ Іоанномъ стоятъ бояре. Этотъ народъ мнѣ антипатиченъ. Тупая надменность, кичливое хвастанье своими заслугами и презрительное отношеніе къ тѣмъ, кто ниже ихъ—это характеристическія черты русскаго боярина временъ Іоанна. Если добавить къ этому общую необразованность, склонность попить и покутить и необыкновенную нравственную эластичность, то, кажется, мы исчерпаемъ всѣ намѣченныя Островскимъ черты бояръ. Воротынскій и Морозовъ составляютъ почти единственныя исключенія; да и тѣхъ совѣтую прежде разглядѣть, чѣмъ ими безусловно восторгаться.

А гдѣ же народъ? спроситъ читатель. Гдѣ же эти десятки милліоновъ, для которыхъ и по милости которыхъ разыгрывается вся эта драма? Весь народъ—это няня и шутъ.

Няня говоритъ нѣсколько словъ. Это вѣчный русскій типъ старушки, безгранично преданной своей питомицѣ. Это—бѣдная, необразованная, загнанная личность, не имѣющая нравственныхъ правилъ, не имѣющая ничего, кромѣ одного чистаго, святого чувства безконечной любви къ Аннѣ, независимой отъ ея царскаго достоинства. Эта бѣдная старушка появляется для того только, чтобъ умереть на дыбѣ, о чемъ вы уже читали въ шутливомъ разговорѣ Малюты съ Іоанномъ.

Другой представитель народа—шутъ. Это отнюдь не сколокъ съ шекспировскихъ шутовъ. Извѣстно, хотя этого и нѣтъ въ драмѣ Шекспира, что у Генриха VIII былъ шутомъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей своего времени, Джонъ Гейвудъ, которому приписываютъ до 200 интермедій. Кому угодно познакомиться съ этою личностью, поэтически воспроизведенною, тотъ можетъ прочитать романъ Мюльбаха «Генрихъ VIII и его дворъ».

Совсѣмъ другое шутъ Іоанна. Это человѣкъ, не имѣю-

щій настроенія духа, обязанный всегда дурачиться, не имѣющій высшихъ побужденій, старающійся объ одномъ, чтобы самому продержаться на томъ жалкомъ мѣстѣ, которое онъ занимаетъ. Когда Іоаннъ спокоенъ, онъ задоритъ и пугаетъ другихъ; когда Іоаннъ сердитъ, онъ или стушевывается или безобразно и унизительно дурачится по приказу. О тѣхъ стремленіяхъ шутовъ—навести заблуждающагося повелителя шуткою на путь истины, защитить правду, обличить ложь и зло,—о той вѣрности и безкорыстіи, о той симпатіи къ бѣдному народу, которую мы постоянно видимъ въ шекспировскихъ шутахъ, въ шутѣ Іоанна нѣтъ и помину.

Попробуемъ сравнить поближе. Самая характеристичная черта въ шутѣ—это его шутовская пѣсня, англійскій джигъ (jig). Беру наудачу одинъ изъ шекспировскихъ джиговъ и пѣсню Іоаннова шута..

Вотъ какую пѣсню поетъ шутъ влюбленному и унылому герцогу, въ одномъ изъ самыхъ незначительныхъ шекспировскихъ фарсовъ («Что вамъ угодно, или двѣнадцатая ночь». (Twelfth night, or what you will).

«Приди, приди, смерть! Пусть меня положатъ подъ печальнымъ кипарисомъ. Улетай, улетай душа! Меня убила жестокая красавица. Мой бѣлый саванъ, украшенный тисомъ... о, готовьте его! На сценѣ смерти никто не сыграетъ своей роли естественнѣе меня.

«Пусть ни одинъ, ни одинъ благоуханный цвѣтокъ не будетъ брошенъ на мою черную гробницу; пусть ни одинъ, ни одинъ другъ не поклонится моему бѣдному тѣлу тамъ, гдѣ будутъ брошены мои кости. О, чтобы избавить меня отъ тысячи, отъ тысячи рыданій, положите меня гдѣ-нибудь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ бы печальный любовникъ не могъ найти моей гробницы, чтобы тамъ плакать».

Я не имѣю подъ руками «Шекспира въ переводѣ русскихъ писателей», гдѣ этотъ джигъ, вѣроятно, переве-

денъ стихами. Мой прозаическій переводъ не можетъ дать даже понятія о той гармонической прелести стиха, которая поражаетъ въ подлинникѣ (What you will.— Act II, sc. IV).

Сравните теперь пѣсню шута, которую онъ поетъ Іоанну почти при тѣхъ же условіяхъ, какъ и шекспировскій: Іоаннъ влюбленъ и печаленъ; онъ спрашиваетъ шута. Тотъ является и поетъ:

Кабы бабѣ молока, молока,
Была бъ баба молода, молода!
Кабы бабѣ киселя, киселя,
Была бъ баба весела, весела!
Кабы бабѣ сапоги, сапоги,
Пошла бъ баба въ три ноги, въ три ноги!

Послѣ этой пѣсни шутъ уходитъ, а Іоаннъ остается доволенъ.

Итакъ, вотъ какимъ является народъ въ драмѣ Островскаго. Во всемъ прочемъ «народъ безмолвствуетъ».

Резюмируя все сказанное выше, придется повторить мои прежнія слова: драма Островскаго—явленіе замѣчательное; она воспроизводитъ нѣсколько историческихъ личностей, а главное духъ и характеръ эпохи.

С. Сычевскій.

Проявленіе творческаго таланта Островскаго въ комедіи „Воевода, или Сонъ на Волгѣ“ *).

Несмотря на названіе «комедіи», данное Островскимъ новому своему произведенію, мы, съ своей стороны, считаемъ его «Воеводу» драматической хроникой, только не историко-политическаго содержанія, а бытового и историко-юридическаго. Это просто юридическая хроника, въ основаніе которой положены акты археографической комиссіи и другіе матеріалы того же рода.

Сторона русской народной жизни, представляемая ими, еще никѣмъ не была затронута у насъ въ драмѣ, но, какъ оказывается теперь, она содержитъ въ себѣ не менѣе поэтическихъ мотивовъ и сценическихъ эффектовъ, чѣмъ любое преданіе или самый эффектный разсказъ лѣтописи. Островскій уже извѣстенъ, какъ нововводитель въ нашей комедіи, значительно раздвинувшій ея границы и сообщившій ей краски и очертанія, какихъ она у насъ еще не имѣла, хотя эта сторона его дѣятельности мало кѣмъ оцѣнена по достоинству.

Извѣстно, что, кромѣ эпическаго элемента народной поэзіи, народной думы, введеннаго имъ въ комедію съ самаго начала своей дѣятельности, онъ допустилъ въ нее еще русскій ландшафтъ и заставилъ ее выражать

*) Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1865 г., № 107. *Зелинскій*, 2. *Денисюкъ*, 2.

ту природу и мѣстность, посреди которыхъ она сама развивается. Смѣлость подобнаго нововведенія, грозившаго драмѣ нестерпимымъ смѣшеніемъ художественныхъ родовъ, присутствіемъ декламаціи, живыхъ картинъ и балета на ряду съ изображеніями страстей, слабостей и пороковъ человѣческаго сердца, оправдалась въ полной мѣрѣ результатами, до которыхъ могъ дойти только замѣчательно-творческій талантъ. Главная идея комедіи всегда господствуетъ у Островскаго надъ всѣми этими поэтическими добавками и безусловно подчиняетъ ихъ себѣ. То, что должно было бы ослабить интригу пьесы и разорвать впечатлѣніе, напротивъ, подымаетъ и усиливаетъ ихъ. Благодаря свѣжимъ силамъ, приливающимъ со всѣхъ сторонъ къ главной идеѣ, сама пьеса только пышнѣе созрѣваетъ передъ глазами зрителя, и подъ конецъ уже охватываетъ всѣ мыслящія и чувствующія его способности. Нынѣ Островскій является съ «комедіей», которая еще въ большей степени, чѣмъ всѣ предшествующія, употребляетъ въ дѣло побочные эффекты и пользуется свободой, открытой авторомъ для этого рода произведеній вообще, но «комедія» вмѣстѣ съ тѣмъ построена еще на юридическомъ матеріалѣ и связывается съ исторіей Россіи и съ ея не очень давнимъ прошлымъ. Мы всегда думали, что всякое замѣчательное произведеніе должно непремѣнно возбуждать вмѣстѣ съ новыми серьезными вопросами нравственнаго свойства—и новые серьезные вопросы искусства. Въ настоящемъ случаѣ это такъ очевидно, что никакому отчету о пьесѣ нельзя уже обойтись безъ одновременнаго разсмотрѣнія этихъ обѣихъ сторонъ произведенія.

Если бы Островскій отнесся къ юридическому матеріалу своему точно такъ же, какъ относятся обыкновенно наши историческія хроники къ сказанію, то мы получили бы нѣсколько юридическихъ документовъ въ лицахъ и,

конечно, имѣли бы, принимая въ расчетъ еще талантъ нашего автора, очень яркую и очень эффектную картину гражданскаго быта нашихъ предковъ.

Сколько поразительныхъ сценъ дала бы перу его одна прилежная разработка понятія объ администраціи, какъ о «кормленіи», сколько затѣмъ неисчислимыхъ мрачныхъ и потрясающихъ сценъ представили бы ему одни неизбѣжныя послѣдствія такого правительственнаго начала, включая сюда всѣ возможныя преступленія кормленника, вмѣстѣ съ развитіемъ вооруженнаго бунта и разбойничества у его подначальныхъ, и, наконецъ, запустѣніемъ провинцій, изъ которыхъ жители разбѣгаются всѣ врознь, въ разныя стороны. Отчасти все это уже и есть у Островскаго, да только все это, забывая свое археологическое происхожденіе, служитъ у него для поэтической и художественной цѣли, не имѣющей ничего общаго съ цѣлью привести и доказать тотъ или иной историческій тезисъ.

Сдѣлаемъ, однакожъ, оговорку. Нѣсколько мѣстъ, взятыхъ прямо, въ сыромъ видѣ, безъ отдѣлки и обработки, изъ «актовъ» и документовъ, составляютъ исключеніе. Затѣмъ юридическая хроника, ничѣмъ не хуже исторической, могла бы выбрать одинъ какой-либо фактъ и взамѣнъ голаго свидѣтельства памятниковъ, передающихъ результаты его, по обыкновенію, въ одной общей цифрѣ, крупнымъ, валовымъ, такъ сказать, счетомъ, приняться за составленіе ему приличной обстановки, которая могла бы показать, какъ тотъ же самый фактъ отражался еще и въ разбивку, на тысячѣ разнообразныхъ существованій. Простора для распространенія темы, подведенія сценическихъ эффектовъ, даже для изобрѣтательности своего рода было бы и тутъ не мало: на чемъ же и держится успѣхъ историческихъ хроникъ какъ не на искусствѣ, съ которымъ ихъ авторы заставляютъ одно и то же говорить множество самыхъ не-

сходныхъ голосовъ и множество самыхъ различныхъ способовъ? Чѣмъ же и живутъ онѣ, какъ не сопоставленіемъ сценъ, взятыхъ со всѣхъ сторонъ, изъ противоположныхъ слоевъ общества, но заключающихъ въ себѣ игру и броженіе одной и той же мысли, одного и того же представленія? При средствахъ, которыми располагаетъ Островскій, ему немудрено было, на тѣхъ же основаніяхъ, составить чрезвычайно живописную, глубокопотрясающую юридическую хронику и доставить ей неоспоримый и почетный успѣхъ въ публикѣ.

Онъ предпочелъ, однакоже, взяться за дѣло иначе. Не то чтобы въ новой его комедіи юридическая сторона была имъ съ намѣреніемъ ослаблена, чтобы мрачные образы боярства и приказнаго дьячества искусственно заслонялись другими представленіями, чтобъ гражданскій бытъ ихъ жертвы былъ красно расписанъ съ цѣлью снять какую-либо тяжесть историческихъ нареканій съ тогдашней администраціи. Напротивъ, фигура воеводы нарисована во весь ростъ и наподобіе зловѣщаго колосса постоянно стоитъ впереди, въ виду всѣхъ. Тяжелое впечатлѣніе производятъ на зрителя мѣняющіяся краски этого страшнаго лица, которое способно медленно, расчетисто наслаждаться своей ненавистью, соединять холодную иронію съ безграничнымъ распутствомъ, похожимъ на болѣзнь, и принимать смиренный видъ въ минуту сильнѣйшаго разгара страсти. Нѣтъ ни слабости ни потворства въ этомъ типѣ, изображающемъ мѣстныхъ, областныхъ властителей, какъ намъ рисуютъ ихъ многочисленныя челобитныя обитателей, сохранившіяся отъ того времени; заключительная черта типа еще увеличиваетъ его историческую достовѣрность.

Воевода, не уступающій ни передъ кѣмъ, трепещетъ ежеминутно за свое существованіе: онъ одержимъ смертнымъ страхомъ передъ московскимъ судомъ, который

одинъ превосходитъ его въ силѣ, въ безпощадномъ преслѣдованіи своихъ выгодъ и цѣлей и въ презрѣніи къ людямъ. Это также и психическій этюдъ у Островскаго, но, какъ этюдъ, Воевода уже выдѣляется изъ юридической хроники и становится характеромъ, не связаннымъ ни съ какой извѣстной эпохой, мѣстностью и обстановкой, а возможнымъ при всѣхъ условіяхъ существованія, даже въ быту, далеко отстоящемъ отъ всѣхъ навыковъ властвованія и управленія людьми. Не менѣе поразительно и ярко представленъ Островскимъ и гражданскій бытъ многочисленныхъ жертвъ кормленія, со всѣми чертами, которыя состоятъ за ними по юридическимъ актамъ и документамъ, съ ябедой и униженной мольбой передъ властью, насылающей имъ египетское испытаніе въ видѣ администраторовъ, съ отчаяннымъ удальствомъ, пытающимся создать вокругъ себя вольный, безпечальный міръ, вмѣсто того, который обрѣтается налицо, съ мудрымъ правиломъ, повелѣвающимъ губить себя, чтобы лишить притѣснителя возможности злодѣянія, наконецъ, съ разбойничествомъ, которое становится единственнымъ средствомъ обрѣсть равноправную жизнь и спастись отъ насилія. Словомъ, ни одна крупная юридическая черта не позабыта авторомъ хроники, который скорѣе можетъ быть обвиняемъ въ преувеличеніи историческихъ данныхъ, чѣмъ въ ихъ ослабленіи. Иногда онъ до такой степени дорожитъ своимъ матеріаломъ, что прямо безъ всякой отдѣлки вводитъ въ дѣйствіе документы, находившіеся у него подъ рукой, и такимъ образомъ переступаетъ, по нашему мнѣнію, границы заимствованія, дозволеннаго искусству при передачѣ формальныхъ свидѣтельствъ. Трудно согласиться, напримѣръ, чтобъ приказная бумага, цѣликомъ выписанная изъ какого-либо сборника и заключающая въ себѣ отрѣшеніе отъ должности, могла служить приличнымъ орудіемъ для раз-

вязки художнической драмы, особенно когда эта подьяческая бумага съ нарочно пропущеннымъ названіемъ мѣстности, къ которой относилась, утратила и часть своего значенія, какъ офиціальнаго документа. Такъ же точно простая выписка нелѣпыхъ заклинаній и различныхъ формъ стараго волхвованія, вложенная въ уста колдуна Мизгиря, кажется намъ, дала ему скорѣй маскарадную, чѣмъ живую физіономію и уже нисколько не выразила характеръ домашнихъ русскихъ астрологовъ, которыми обзаводились и наши бояре. Все это объясняется увлеченіемъ при горячей обработкѣ данныхъ, которыя самъ авторъ высоко цѣнитъ, какъ драгоцѣнные остатки старины. Къ увлеченіямъ же работой относимъ мы и то обстоятельство, что авторъ навязалъ воеводѣ Шалыгину одно изъ очень рѣдкихъ преступленій, такихъ рѣдкихъ, что оно походитъ на анекдотъ уголовнаго характера—страсть, въ порывѣ ревности и злобы, щекотать своихъ женъ до смерти. Можно было бы примириться съ анекдотомъ, если бы особенность злодѣйской наклонности отразилась какою-либо крупною чертою въ нравственной физіономіи воеводы; но этого нѣтъ, и зрителю, морально къ ней нисколько не подготовленному, остается на долю только изумленіе. Хуже всего то, что для сценическаго эффекта воевода позабылъ принять мѣры, безусловно необходимыя для совершенія подобнаго преступленія, не заперъ комнаты, гдѣ его невѣста должна была найти смерть, которой прежде нея подверглись двѣ жены мучителя, и позволилъ ей бѣгать съ судорожнымъ хохотомъ по галлереямъ своей палаты, отъ чего необыкновенная рѣдкость злодѣянія въ соединеніи съ необычайною рѣдкостью случая, послужившаго спасеніемъ для бѣдной женщины, затрудняетъ въ сильной степени развитіе довѣрія и воспріимчивости у зрителя. Какъ бы то ни было, правы ли или неправы мы въ послѣднихъ замѣчаніяхъ,

достовѣрно одно: юридическая сторона хроники-комедіи развита у Островскаго чрезвычайно полно и эффектно, такъ полно и эффектно, что она прежде всего бросилась въ глаза публикѣ и вызвала единодушныя рукоплесканія многихъ нашихъ цѣнителей.

При всемъ томъ настоящее свое значеніе и всю свою обаятельную силу пьеса Островскаго получаетъ совсѣмъ не изъ этого источника, а изъ другого, который, смѣемъ сказать, сообщаетъ хроникѣ и необходимую правдоподобность. Оставайся хроника при одной задачѣ воспроизведенія жизни по несомнѣннымъ документамъ, будь она насквозь пропитана духомъ актовъ, ее подсказавшихъ, и самыми пышными красками, какія можно только употребить для ихъ передачи, пьеса все-таки не имѣла бы ни малѣйшей исторической достовѣрности, не говоря уже о поэзіи. Каждую сцену, каждую черту и подробность ея могъ бы опровергнуть всякій, кто иначе уразумѣлъ бы историческій фактъ, положенный въ основаніе произведенія. Пьеса должна была бы неизбѣжно обратиться въ полемическій мячъ, который люди различныхъ взглядовъ и сужденій могли бы пересылать другъ другу и которымъ могли бы они наносить другъ другу удары. Это положеніе дѣла очень выгодно для разъясненія всякой ученой темы, но для художническаго произведенія нельзя себѣ и представить болѣе плачевной участи. Островскій спасъ свою хронику-комедію отъ этой горькой судьбы однимъ только творческимъ вымысломъ и фантазіей. Какъ ни странно это можетъ казаться, но не подлежитъ сомнѣнію, что только примѣсью свободнаго изобрѣтенія и поэтическаго элемента онъ сообщилъ своей драмѣ незыблемость, поставилъ ее внѣ спора и сомнѣній. Поэзія и изобрѣтеніе укрѣпили здѣсь археологическія данныя, спасли и защитили факты и свѣдѣнія, добытые формальнымъ изученіемъ. Такъ всегда и бываетъ въ художественныхъ

произведеніяхъ, ясно понимающихъ свои настоящія задачи.

А что Островскій ясно сознавалъ свою задачу, обнаруживается съ перваго его пріема. Къ числу самыхъ счастливыхъ его соображеній должно отнести то, что онъ не прикрѣпилъ дѣйствія своей пьесы ни къ какому опредѣленному мѣсту, которое ему такъ легко было бы выбрать изъ документовъ.

На первой же страницѣ комедіи онъ просто заявилъ: «Дѣйствіе происходитъ въ большомъ городѣ на Волгѣ, въ половинѣ XVII столѣтія». Отсутствіе точнаго указанія мѣста дѣйствія и года его развитія развязало ему руки и обнаружило намѣреніе не отдавать художнической своей мысли въ кабалу ни къ какимъ матеріаламъ. Авторъ широко воспользовался порученной имъ такимъ образомъ свободой. Вмѣсто того чтобы до конца продолжать драматизированіе челобитныхъ XVII столѣтія, которыя, какъ намъ кажется, дали ему первую мысль о хроникѣ и породили ея главные характеры, онъ противопоставилъ имъ свое собственное поэтическое созерцаніе внутренней, домашней русской жизни. Навстрѣчу безобразію гражданскаго быта, засвидѣтельствованному документами, онъ повелъ Русь управляемую, но не ту, которую можно найти тамъ же, и которой онъ, конечно, не забылъ, а еще другую, собственнаго своего созданія, скорбящую, погруженную въ темныя надежды, въ легенды, пѣсни, дѣтскія вѣрованія, изъ которыхъ она выходитъ для удальства за чарой и на просторѣ большой дороги. Послѣдняя черта еще носитъ у Островскаго скорѣе пѣсенный, легендарный, чѣмъ точный, историческій характеръ. Изъ этого соединенія факта и самодѣятельной фантазіи образовалась комедія, которую авторъ еще назвалъ «Сномъ на Волгѣ». Это дѣйствительно сонъ, но до того правильный и сознательный, что явленія этого сна—почерпнутыя изъ письмен-

ныхъ источниковъ и почерпнутыя изъ творческаго духа самого автора—рѣдко идутъ одни безъ другихъ, а, напротивъ, весьма часто чередуются и переплетаются въ узорахъ, чрезвычайно искусно разсчитанныхъ и нарисованныхъ. Всего важнѣе то, что произвольная, фантастическая часть хроники служитъ оправданіемъ ея историческому элементу, и при случаѣ съ полнымъ успѣхомъ и съ полной достовѣрностью становится прямо на его мѣсто.

Что вышло бы, напримѣръ, изъ воеводы Шалыгина, если бы авторъ захотѣлъ сохранить ему только тѣ черты, которыми характеризуются воеводы вообще въ юридическихъ свидѣтельствахъ, если бы не подвергъ его глубокому психическому анализу, просто какъ человѣка, и если бы окружилъ его со всѣхъ сторонъ поэтическими мотивами собственнаго изобрѣтенія? Воевода могъ бы собирать горы преступленія, бѣсноваться и злодѣйствовать, трепетать и унижаться совершенно по писанному, по офиціальнымъ документамъ, и оставаться ничѣмъ, пустымъ словомъ для зрителя.

Всю дѣйствительность и историческое значеніе пріобрѣлъ онъ только тогда, когда коснулась до него фантазія автора. Благодаря ей, мы видимъ теперь передъ собой суевѣра и труса, съ инстинктами кровожаднаго звѣря, которые развиты благопріятствующими обстоятельствами. Нѣкоторые изъ нашихъ цѣнителей находятъ этотъ типъ недодѣланнымъ у Островскаго. Ничего нѣтъ недодѣланнаго въ этомъ лицѣ, по нашему мнѣнію, и только ничтожный и пошлый конецъ его, по милости двухъ-трехъ строчекъ приказа, полученнаго изъ Москвы, могъ привести къ такому заключенію. Подьяческая катастрофа, сразившая воеводу, имѣетъ тутъ, однакоже, весьма важное значеніе. Лицо, наводившее ужасъ на область, разлетается въ прахъ со всѣмъ своимъ демоническимъ содержаніемъ отъ одного слова на-

чальнаго боярина. Отъ страшнаго воеводы ничего не остается, потому что и самъ онъ весь созданъ посторонней силой.

Съ дозволенія власти существовали и его надменность, и неукротимыя страсти, и насмѣшливые наглые пріемы, словомъ, всѣ коренныя его отличія отъ людей, и даже его свирѣпая физіономія. За каждымъ словомъ и движеніемъ слышится у Островскаго воспитатель, ихъ породившій. Воеводѣ собственно принадлежатъ врожденная испорченность и врожденное малодушіе, но всѣ формы, краски и размѣры, въ которыхъ являются намъ его распутство и его злоба, порождены не имъ самимъ, а одуряющимъ вліяніемъ мѣста и положенія. Вотъ почему, когда онъ обрывается съ волоска, который держалъ его на высотѣ, онъ падаетъ внизъ, конечно, попрежнему злобнымъ, но уже сконфуженнымъ, безпомощнымъ и почти безличнымъ.

Обработанный въ этомъ смыслѣ типъ воеводы представляетъ выраженіе крайне свирѣпыхъ наклонностей, взлелѣянныхъ какой-то чужой, невидимой рукой на самомъ ничтожномъ характерѣ, побужденій льва и тигра, привитыхъ къ сердцу зайца, и въ такомъ видѣ воевода служитъ представителемъ не однихъ своихъ собратовъ, сидѣвшихъ по волостямъ въ XVII столѣтіи, но и русскихъ, такъ называемыхъ, цѣльныхъ и титаническихъ натуръ вообще.

Правда, что если на подобномъ характерѣ утвержденъ самый ходъ пьесы, она никогда не можетъ достичь драмы въ прямомъ значеніи слова: главное лицо не имѣетъ достаточной силы и устоя для поддержанія драмы. Пьеса, по необходимости, должна заключиться въ живопись положеній и въ собраніе типовъ и образовъ, что именно здѣсь и случилось. На осуществленіе всего этого и на завязку ихъ, вмѣсто драматическаго узла, въ крѣпкій узелъ съ юридическимъ содержаніемъ пьесы, съ ея те-

мой и задачей, потрачено много творчества и таланта Островскаго, и потрачено не даромъ, потому что они указали намъ, какую серьезную и первенствующую роль могутъ играть при объясненіи исторіи чисто-художническимъ способомъ поэтическая изобрѣтательность и вымыселъ.

Убѣдительнымъ примѣромъ того, что чистый вымыселъ способенъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ на ту же самую услугу относительно пониманія и представленія эпохи, какъ и любой историческій фактъ,—можетъ служить въ четвертомъ дѣйствіи комедіи сцена постоялаго двора, куда прибываетъ воевода Шалыгинъ на ночлегъ, послѣ богомольнаго хожденія въ монастырь и вооруженнаго поиска за разбойниками. По одному слуху о его приближеніи со свитой, изба освобождается отъ заѣзжихъ промышленниковъ, которые вели въ ней степенный, чинный, немногосложный разговоръ, какъ слѣдуетъ людямъ, съѣхавшимся случайно изъ разныхъ мѣстъ и глубоко занятымъ своими интересами. Въ избѣ остается воевода, для котораго челядинцы устлали коврами переднюю скамью, подъ образами, да старушка-крестьянка, собирающаяся продремать ночь надъ колыбелью своего внука. Ночь наступаетъ, и старуха затягиваетъ убаюкивающую пѣсенку, да не одну изъ тѣхъ колыбельныхъ пѣсенъ, которыя, составляя варіантъ какого-то первоначальнаго образца, въ тысячѣ видахъ распѣваются и доселѣ матерями и няньками, а чудную, небывалую, политическую пѣсню. Слова этой пѣсенки, производящія такое электрическое дѣйствіе на читателя, хорошо извѣстны теперь всѣмъ. Каждая изъ четырехъ строфъ этой импровизаціи содержитъ ясно выраженную и вмѣстѣ наиболѣе горькую черту крестьянскаго быта, и заключается импровизація не менѣе яснымъ прозрѣніемъ на будущее:

«Ты спи, поколь изживемъ бѣду,
Изживемъ бѣду, пронесетъ грозу,
Пронесетъ грозу, горе минется,
Поколь Богъ проститъ, царь сжалится».

Можетъ ли быть сомнѣніе въ томъ, что эта пѣсня, невозможная для эпохи, сочиненная поэтомъ изъ нашей среды и только навязанная XVII столѣтію и старухѣ, отъ которой ее слышимъ?

Со всѣмъ тѣмъ, пѣсня эта въ томъ мѣстѣ, гдѣ ее встрѣчаемъ, и такъ сложенная, какъ она сложена, передаетъ фактъ народной жизни, не менѣе достовѣрный, чѣмъ любое историческое событіе подъ точнымъ и опредѣленнымъ числомъ. Какимъ образомъ «праздная» выдумка становится въ умѣ каждаго равносильной указанію исторіи и свидѣтельству документовъ? Тайна объясняется легко. Авторъ собралъ въ ней, по поэтическому инстинкту и прозрѣнію, все то, что смутно, въ видѣ предчувствія могло жить въ душѣ каждаго человѣка изъ простонародья, чего ни одинъ изъ закрѣпощенныхъ не умѣлъ представить себѣ цѣлостно и опредѣленно, но что заставляло всѣхъ ихъ волноваться, бѣжать на края земли, предаваться всякому обманщику и укоренять въ государствѣ смуты, разбои, секты, самозванства. Пѣсенка не забыла и общаго убѣжденія, что крѣпостничество не вѣчно, и должно изжить себя рано или поздно,— убѣжденіе, которое явилось въ минуту самаго зарожденія новыхъ порядковъ и никогда не потухало въ народѣ, ни при какихъ разувѣреніяхъ и угрозахъ. Такимъ образомъ, пары двѣ сочиненныхъ куплетовъ выразили одну изъ сторонъ психической жизни народа и получили черезъ то равноправность съ любымъ историческимъ фактомъ, не теряя въ то же время и своего характера свободнаго изобрѣтенія—словомъ, превратились въ художническое представленіе одной черты изъ

прошлаго быта. Только подъ условіемъ подобнаго превращенія въ собственное достояніе поэзія и искусство и могутъ касаться предметовъ науки, эрудиціи, философіи и пр.

Конечно, мы не намѣрены разнимать по частямъ комедію Островскаго, и въ каждой изъ нихъ показывать то гармоническое соединеніе независимаго творчества съ указаніями преданія, которое составляетъ ея отличіе. За малымъ исключеніемъ, почти всѣ сцены комедіи отличаются этимъ двойственнымъ характеромъ (въ томъ числѣ и извѣстные «сны» воеводы); но у насъ нѣтъ мѣста для того, чтобъ разобрать ихъ художническій и ихъ этнографическій смыслъ. Пропускаемъ поэтому всѣ сцены лихого бражничанья Бастрюкова сына—лица, соединяющаго удальство съ сильной, здоровой любовью молодости, съ самоотверженіемъ и смѣлымъ, откровеннымъ словомъ передъ людьми, и потому какъ будто представляющаго собою обреченную жертву плахи и воеводскаго самовластья, несмотря на то, что въ этотъ разъ ему удается побороть ихъ. Пропускаемъ даже знаменитое третье дѣйствіе, все наполненное однѣми женщинами, передающее жизнь стараго терема нашего и заключающее въ себѣ сцену «сумереченія», хотя оно столько же важно поэтической стороной своей, сколько и тѣмъ, что хорошо поясняетъ среду, воспитавшую въ одно время дикое насиліе сверху и дикое буйство снизу, какъ отпоръ насилію. То и другое, кажется намъ, составляетъ неизбѣжную, естественную поправку этой дремлющей, стоячей жизни, до того успокоившейся въ мелкихъ соображеніяхъ и дѣтскихъ лукавствахъ, до того ограниченной и замкнутой обычаями, преданіями, что шаловливый домовой палаты собственною своей особой входитъ въ эту сферу, какъ принадлежащую ему по праву, и становится однимъ изъ дѣйствующихъ ея лицъ. Не малый смыслъ имѣетъ и то обстоятельство,

что героиня комедіи, Марья Власьевна, обладающая природными зачатками крупнаго характера, будучи помѣщена въ это убѣжище, начинаетъ сгибаться подъ дѣйствіемъ тяготѣющихъ надъ ней теремныхъ силъ и старается сберечь себя, призвавъ на помощь столбнякъ. Вообще, если въ этомъ дѣйствіи заложено Островскимъ много поэтическихъ мотивовъ, то не менѣе встрѣчается тутъ и бытовыхъ указаній. Уже не говоримъ о томъ, что замѣчательный актъ окончательно убѣждаетъ читателя въ невозможности повстрѣчаться съ настоящей драмой на этой мягкой, рыхлой почвѣ, какъ ни изобилуетъ она самыми душистыми цвѣтами поэзіи; но тотъ же актъ приводитъ еще къ заключенію, что рядомъ съ такою же жизнью непремѣнно должны возникать крайности, какъ естественный законный видъ реакціи противъ ея томительнаго, сладкоодуряющаго и разслабляющаго характера. Все равно, въ какой бы формѣ ни повстрѣчались эти крайности читателю,—въ звѣрской ли формѣ домашняго властелина, или въ формѣ вооруженнаго бродяжничества, отрицающаго всѣ общественныя начала,—онъ уже легко отгадываетъ, что все это дѣти того же терема, который намъ представленъ поэтомъ. О первомъ изъ этихъ явленій, мы, однакоже, сейчасъ говорили; о второмъ, составляющемъ такую важную часть въ комедіи-хроникѣ, скажемъ нѣсколько словъ теперь.

Старое наше разбойничество, о которомъ такъ часто и настойчиво говорятъ всѣ свидѣтельства, нашло въ Островскомъ и вѣрнаго и благосклонно расположеннаго живописца. Самыя мрачныя краски достались у него въ удѣлъ лицамъ, занимающимъ какія-либо іерархическія ступени; что касается до протеста противъ общественныхъ порядковъ, выражаемаго разбойничествомъ, авторъ сохранилъ ему всѣ тѣ черты, какими онъ рисуется народною пѣснею и легендой, наполовину сочувствующими ему, и при этомъ, разумѣется, умолчалъ

о грубыхъ подробностяхъ, долженствовавшихъ сопровождать его въ дѣйствительности. Поступая такимъ образомъ, онъ, однакоже, не измѣнилъ ни самой дѣйствительности, понятой надлежащимъ образомъ въ существенныхъ ея свойствахъ, ни поэзіи, возможной только при истинѣ и вѣрности представленій. Особенный родъ разбойничества, который онъ выводитъ передъ нами то въ видѣ ватаги, засѣвшей въ лѣсу, окружающемъ мирную и святую обитель, то въ видѣ удалыхъ пловцовъ, пѣнящихъ Волгу и спасающихъ заключенную красавицу—совсѣмъ не принадлежитъ, по характеру своему, къ разбойничьей эпопеѣ казацкихъ шаекъ, грабившихъ и убивавшихъ по призванію и по отсутствію какихъ-либо вѣрованій въ политическія и нравственныя начала. Напротивъ, у Островскаго является намъ разбойничество мирныхъ гражданъ, хорошихъ людей, которымъ только невыносимое состояніе общества вложило въ руки кистень, что сознавало и высшее центральное управленіе. Для людей этого класса разбойничество составляло въ то время такой же способъ оградить свою личность и найти средства существованія, какой для пролетаріевъ нынѣшней Европы составляетъ переселеніе: въ переселеніе, между прочимъ, переродилось, какъ извѣстно, и наше вооруженное бродяжничество. Вотъ почему, давая просторъ своему поэтическому воображенію при возсозданіи старой нашей «вольницы», Островскій не оскорбилъ исторіи, какія бы мрачныя воспоминанія ни оставались отъ нея тамъ и сямъ: онъ выразилъ общую характеристику явленія, отразившагося и въ сознаніи народа поэтическимъ образомъ. Другое дѣло, когда отъ общаго опредѣленія факта, посредствомъ образовъ и описаній, авторъ переходитъ къ описанію отдѣльной личности, которая бы отчетливо выражала собою нравственное состояніе всѣхъ лицъ, попавшихъ въ разбойничество вмѣстѣ съ ними:

авторъ не находитъ тогда вѣрныхъ красокъ ни у себя ни въ эпическомъ творчествѣ народа. Такъ случилось именно съ атаманомъ шайки Дубровинымъ (онъ же и Худояръ), который, по намѣренію автора, долженъ былъ сохранять въ своей должности обликъ примѣрнаго семьянина и богобоязненнаго человѣка, даже гражданина съ высоко развитымъ чувствомъ правды и справедливости.

Весьма замѣчательно, что попытка оторвать отъ массы или толпы одно лицо и поставить его въ представители нравственнаго положенія, какое можетъ быть приписано имъ только въ цѣломъ ихъ составѣ, не удалось даже и такому огромному таланту, какъ Островскій. Объясняется это, по нашему мнѣнію, тѣмъ, что въ народѣ есть много представленій, понятій и убѣжденій, которыя выдерживаютъ критику и могутъ быть логически и морально оправданы, когда живутъ въ видѣ общаго достоянія, разложенныя на весь міръ, но которыя не поддаются никакому олицетворенію или, будучи олицетворены, теряютъ свой смыслъ, нравственное значеніе и убѣдительность. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ народъ не можетъ имѣть представителя для самыхъ характеристическихъ своихъ особенностей. Такъ весьма легко представить себѣ въ русскомъ старомъ мірѣ удалое, почти что извинительное и въ нѣкоторомъ смыслѣ честное разбойничество, но совершенно невозможно представить себѣ доблестнаго, героическаго разбойника. Есть и, кромѣ того, весьма важныя и многочисленныя явленія народнаго духа, которыхъ нѣтъ возможности перевести на типъ или живое лицо. Можно составить себѣ высокое понятіе объ идеѣ народнаго суда, напримѣръ, но осуществить ее въ образѣ праведнаго и разумнаго судьи, съ сохраненіемъ всей ея сущности, врядъ ли кому удастся. Впрочемъ, не одна наша литература поддавалась искушенію создать типъ честнаго и благороднаго разбойника; иностранныя литературы соблазнялись

имъ не менѣе нашего; только публика и писатели, послѣ многихъ попытокъ и опытовъ, пришли въ Европѣ къ убѣжденію, что для подобнаго лица первымъ и необходимымъ условіемъ существованія должно быть безсознательное обладаніе всѣми тѣми поэтическими и нравственными качествами, какія для него придуманы. Худояръ Островскаго имѣетъ несчастіе быть мыслящимъ человѣкомъ и отчасти психологомъ. Анализъ, производимый имъ въ сценѣ съ Пустынникомъ (дѣйствіе II, сцена II) надъ собственной своей нравственной природой, гораздо болѣе отымаетъ у него, чѣмъ даетъ ему жизни и выразительности. Анализъ этотъ еще самъ подлежитъ разбору и, при нѣкоторомъ осмотрѣ, можетъ представить стороны для возраженія и опроверженія. Худояръ, опирающійся на него, обнаруживаетъ только несостоятельность выразить свою природу инымъ, прямымъ путемъ. Для нуждъ того же самаго анализа выведенъ и Пустынникъ, который оказывается только орудіемъ въ рукахъ Худояра, не имѣющимъ другого назначенія, кромѣ обязанности помогать самооправданію своего собесѣдника, хотя лучшее оправданіе его должно бы состоять въ проявленіяхъ его натуры, воли и характера. Невозможность самаго типа очень сильно сказалась въ неудачѣ, постигшей его у такого художника, какъ Островскій. Но эта неудача чрезвычайно выгодно отразилась на комедіи. Завяжись нѣчто дѣльное и существенное относительно такого типа у Островскаго, Худояръ пріобрѣлъ бы всѣ свойства настоящаго «драматическаго» характера, чего не достигъ воевода, такъ полно и отчетливо обрисованный авторомъ. Драма затеплилась бы на противоположномъ концѣ общественнаго строя, на нѣсколько опошленномъ въ сценическомъ отношеніи грунтѣ разбойничества. Невозможная на верхнихъ слояхъ, потому что они двигаются посторонней силой и живутъ по милости чужой воли, она

оказалась бы возможность на тѣхъ, которые живутъ безъ всякихъ общественныхъ основаній и на свободѣ птицы небесной. Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ комедія-хроника не имѣетъ ни одного пункта, на которомъ бы плотно сосредоточилось столько элементовъ, сколько нужно для зарожденія и вспышки драмы, и комедія остается съ главнымъ, наиболѣе обаятельнымъ и наиболѣе важнымъ характеромъ—характеромъ домашней исторіи стародавней Руси.

Дѣйствительно, это—домашняя исторія обычнаго русскаго существованія въ извѣстную эпоху со всѣмъ, что занимало умъ и воображеніе человѣка, лежало на немъ, какъ гнетъ и несчастье, противъ чего онъ бился, чѣмъ онъ страдалъ и въ чемъ, усталый и обезсиленный, искалъ и находилъ утѣшеніе. Еще многое изъ того, что тогда его окружало, существуетъ и теперь. Какое бы строгое сужденіе ни произносили мы о началахъ и основаніяхъ этой жизни, мягкія краски и трогательныя черты драматическаго повѣствованія о ней производятъ на читателя неотразимое, чарующее впечатлѣніе. Домашняя, глубоко прочувствованная исторія народа всегда производитъ это впечатлѣніе. Мы уже знаемъ, что въ изображеніи ея поэтическое прозрѣніе играло большую роль, чѣмъ историческое свидѣтельство; мы знаемъ также, что фантазія и независимое творчество пріобрѣли всѣ качества и силу такого свидѣтельства при ея возсозданіи, но есть и еще одна черта, сама собой сказавшаяся въ ней. Вся эта жизнь, потрясаемая до основанія событіями и катастрофами, ни на волосъ не измѣняетъ своего обычнаго характера и своего обычнаго теченія: словно она не желаетъ брать на себя отвѣтственность за ходъ, принимаемый общественными порядками, словно сторонится отъ рокового, увлекающаго потока исторіи и запирается въ себѣ, словно имѣетъ на важный случай великое слово, способное разрѣшить всякую неурядицу,

которое она бережетъ покамѣстъ втайнѣ. Немало интереса сообщаетъ ей эта вѣра въ себя, неоправданная дальнѣйшими ея судьбами; немало красокъ дала она въ ту великолѣпную, поэтическую ткань, которую соткалъ Островскій изъ ея главныхъ отличій и подробностей, своею неизмѣнной привязанностью къ обычаямъ и заведеннымъ въ ней пріемамъ, какъ будто въ этомъ для нея и вознагражденіе за всѣ переносимые ею оскорбленія и спасеніе въ будущемъ. Мы уже говорили прежде, что для драмы и художническаго произведенія вообще, кромѣ домашней исторіи той или другой эпохи, никакой иной существовать не можетъ. Когда принимаютъ они на себя обязанность показывать государство, вмѣсто жизни лицъ въ государствѣ, имъ угрожаетъ опасность остаться совсѣмъ безъ содержанія. Въ области свободной художнической дѣятельности политическая исторія открываетъ себя въ домашнихъ дѣлахъ различныхъ лицъ и никогда не открываетъ прямо самое себя. Правда, бываютъ разности, и весьма крупныя, въ изображеніи этихъ лицъ, передающихъ современное имъ состояніе государства—и способность образовывать характеры, образы и положенія соотвѣтствуетъ глубинѣ поэтическаго содержанія, силѣ и средствамъ таланта, взявшагося за это трудное дѣло. У Островскаго всѣ характеры, типы и событія, кромѣ общаго дѣла и развитія одной юридической темы, имѣетъ еще каждый и каждое свою задушевную мысль, свою поэтическую душу, свою собственную, частную исторію: отсюда разнообразіе, полнота, чарующая прелесть его комедіи-хроники, которая долго не утеряетъ поэтому своего господства надъ читателемъ и зрителемъ, приведенными съ нею въ соприкосновеніе.

Нѣсколько послѣднихъ словъ о стихѣ Островскаго. Онъ выработалъ себѣ въ послѣднее время совершенно оригинальные стихотворные пріемы, отражающіе его лич-

ность, какъ поэта. Отъ прежняго пышнаго стиха «Козьмы Минина» почти ничего не осталось теперь; пропала также и излишняя растительность, смѣемъ такъ выразиться, старой формы, которая была слѣдствіемъ частыхъ лирическихъ порывовъ автора и нужды его въ украшеніяхъ, дополненіяхъ, развитіяхъ. Островскій освободился вполнѣ отъ соблазна щеголять виртуозными своими способностями на трудномъ инструментѣ стихотворной рѣчи. Усвоивъ себѣ живописность народнаго слова, онъ сообщилъ стиху и сдержанность этого слова, по временамъ самый лаконизмъ его, такъ способствующій образному выраженію мысли. Нынѣ Островскій передаетъ уже стихомъ не только присловья и фигуральные обороты народной рѣчи, но и тѣ руссицизмы ея, которые, не имѣя своего собственнаго, самостоятельнаго смысла, выражаютъ въ извѣстныхъ случаяхъ тончайшіе, едва уловимые оттѣнки чувства или представленія. Задача была трудная, но пятистопный ямбъ Островскаго не изломался, какъ легко могло случиться, при ея осуществленіи: онъ только пріобрѣлъ особеннаго рода движеніе, что-то похожее на изворотливость, а иногда поводъ къ весьма смѣлымъ порывамъ для одолѣнія той или другой трудности. Написанная такимъ стихомъ, комедія Островскаго, кромѣ всего другого, представляетъ еще примѣръ безыскусственнаго народнаго говора, помиреннаго съ литературной, тщательно выработанной художнической формой.

П. Анненковъ.

Художественныя красоты драмы „Дмитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій“ *).

Судя по заглавію, можно бы думать, что авторъ имѣлъ въ виду раздѣлить интересъ пьесы между двумя равносильными дѣйствующими личностями, противопоставить одну другой, чѣмъ онъ, разумѣется, нарушилъ бы одно изъ главныхъ условій художественнаго произведенія— единство его и цѣлость. Авторъ не сдѣлалъ этой ошибки. На самомъ дѣлѣ настоящій центръ и герой драмы есть Шуйскій. Самозванецъ, при всей своей важности, все-таки лицо второстепенное. По ходу дѣйствія, по цѣли, къ которой направлены всѣ его пружины, и по той волѣ, которая ими движетъ, первенство принадлежитъ Шуйскому.

Шуйскій свергаетъ съ престола Лжедмитрія и тѣмъ пролагаетъ къ нему путь самому себѣ. Итакъ, на Шуйскомъ естественно сосредоточивается все вниманіе читателя или зрителя. Надобно, чтобы авторъ въ дѣйствительномъ историческомъ Шуйскомъ—въ его характерѣ, жизни и судьбѣ—понялъ и отличилъ драматическіе элементы,—это главное. Исторія Шуйскаго извѣстна. Ловкій царедворецъ при Борисѣ Годуновѣ, внутренно, конечно, съ прочими древнихъ родовъ боярами, питавшій къ нему нерасположеніе, какъ къ узурпатору, но,

*) „Складчина“. Литературный сборникъ. СПБ. 1874 г.

повидимому, готовый служить ему вѣрно и засвидѣтельствовавшій это исполненіемъ въ Угличѣ извѣстнаго порученія согласно съ его видами, потомъ присягнувшій Лжедмитрію, несмотря на то, что онъ лучше всѣхъ зналъ, что это не истинный царевичъ,—Шуйскій склонялся передъ могучимъ напоромъ событій, заботясь, повидимому, только о своей безопасности. Скрѣпя сердце, онъ, можетъ-быть, вмѣстѣ съ другими вельможами, преклонился бы совсѣмъ передъ совершившимся фактомъ и, для избѣжанія общественныхъ смутъ, остался бы вѣренъ новому хищнику престола, если бы этотъ послѣдній велъ себя благоразумно. Но нравственная несостоятельность Лжедмитрія, несмотря на нѣкоторыя его блестящія качества, вскорѣ изобличилась, и Шуйскій, достовѣрно знавшій истину смерти царевича Дмитрія, не могъ болѣе сносить обмана, не обѣщавшаго никакихъ благопріятныхъ послѣдствій ни для кого, кромѣ самого обманщика и его друзей и покровителей, поляковъ и іезуитовъ. Чувство національной чести и личной чести древняго княжескаго рода возмутилось въ немъ—Шуйскій открыто и смѣло сталъ противъ позора и скорби видѣть на тронѣ Мономаховомъ дерзкаго пройдоху. Легкомысліе, ложный расчетъ или великодушіе спасли отъ плахи Шуйскаго, но не погасили въ немъ желанія свергнуть съ престола счастливаго искателя приключеній, а, напротивъ, къ патріотическому побужденію и чувству оскорбленнаго родового достоинства присоединили жажду мести за осужденіе на казнь и за унизительное помилованіе. Теперь жребій Шуйскаго рѣшенъ—онъ долженъ погубить Лжедмитрія или погибнуть самъ. Но что же потомъ, если удастся первое? Кто займетъ вакантное мѣсто на тронѣ? Весьма естественно, ему могло прійти на мысль, что сѣявшему подобаетъ пожать и плоды. Шуйскій, конечно, былъ честолюбивъ, и вотъ честолюбію его, казалось, сама судь-

ба открывала широкое поприще. Примѣръ Годунова доказалъ, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ и простой подданный можетъ достигнуть верховной власти. Но, кромѣ того, за Шуйскаго были и знатность рода и незапятнанность преступленіемъ, потому что не могло же, въ глазахъ его, считаться преступленіемъ уничтоженіе похитителя, попиравшаго народное чувство и готовившаго государству страшную будущность, подъ вліяніемъ Польши и папства. Правда, Шуйскому, въ случаѣ успѣха, недоставало бы всенароднаго формальнаго избранія, но мудрымъ правленіемъ, такъ же какъ и освобожденіемъ отечества отъ чужой, нежданной власти, онъ могъ надѣяться заслужить народную санкцію въ признаніи столь счастливо для народа совершившагося факта. Передъ нимъ, конечно, былъ печальный и поучительный опытъ Годунова, котораго не спасло и отъ козней и предательства бояръ, считавшихъ себя и заслугами и правомъ крови ближе его къ трону. Но кого научаютъ чужіе опыты? Особенно честолюбецъ всегда готовъ слѣпо вѣрить въ свою звѣзду и думать, что онъ составляетъ исключеніе, и что если его предшественники пали, то пали отъ своихъ ошибокъ, для избѣжанія коихъ у него всегда найдется довольно ума и искусства. Авторъ разбираемаго нами сочиненія не имѣлъ въ виду доказать судьбы Шуйскаго; онъ избралъ изъ его жизни и дѣятельности одинъ моментъ низверженія съ престола Лжедмитрія—на то была его воля.

Изъ сказаннаго видно, что историческій эпизодъ Шуйскаго дѣйствительно заключаетъ въ себѣ возможность драмы, и что, слѣдовательно, авторъ не ошибся, избравъ его сюжетомъ своего драматическаго произведенія. Тутъ есть и та чрезвычайность положенія и обстоятельствъ, которая вызываетъ человѣка на дѣла, требующія энергическаго напряженія нравственныхъ силъ, и силы эти поднимаетъ до обширныхъ видовъ; тутъ есть

взволнованная, бурная среда, порождающая грозныя страсти, блестящіе успѣхи и великія бѣдствія. Словомъ, тутъ есть и нравственная мощь человѣка, искушаемая, но не подавляемая судьбою, и вѣчный антагонизмъ между индивидуальностью человѣческою и общимъ непреложнымъ ходомъ вещей—одна изъ главныхъ стихій, дающихъ такой величавый и такой трагическій характеръ исторіи человѣчества. Эпоха самозванцевъ и междуцарствія съ такими характеристическими личностями, каковы Годуновъ, Лжедмитрій, Шуйскій, съ движеніемъ народныхъ массъ и ихъ представителями и вождями, каковы Скопинъ-Шуйскій, Ляпуновъ, Мининъ, Пожарскій, Гермогенъ, архимандритъ Діонисій, Палицынъ и проч.,—эпоха русской жизни со всѣми ея треволненіями и чисто національнымъ ея духомъ, безъ сомнѣнія, составляетъ самую знаменательную часть нашей исторіи, къ которой наша поэзія будетъ обращаться, какъ къ роднику богатыхъ драматическихъ концепцій.

Лжедмитрій, второстепенное лицо драмы, составляет и до сихъ поръ неразгаданную загадку для историк психолога и поэта. Самое необъяснимое въ немъ, это родъ замѣчательной образованности, ставившей его вы среды, надъ которою онъ такъ странно былъ призв властвовать, это—широта государственныхъ видовъ, казывающая умъ, навыкшій въ высшихъ идеяхъ вленія и власти. Способности даны ему были п дою; но гдѣ онъ могъ пріобрѣсти качества, ко даются только извѣстнымъ положеніемъ и благо ными обстоятельствами? Въ Польшѣ, какъ думаю которые и какъ думаетъ, кажется, самъ автор Дмитрій систематически былъ подготовляемъ в ною Годунову партіей къ тому, чтобы занять его Но справедливо ли послѣднее? Автору драм чемъ, не было никакой надобности вдаваться въ

женія о томъ, какъ все это могло сложиться. Ему нужны были характеры, явившіеся на исторической аренѣ уже съ готовыми элементами и задатками художественной драмы, вмѣстѣ съ постигшимъ ихъ концомъ, а они въ достаточной ясности обозначались исторіей. Въ драмѣ Дмитрій самъ, кажется, если не вѣритъ въ свои царственныя права, то все-таки считаетъ себя не обманщикомъ, а какимъ-то избраннымъ существомъ, свыше призваннымъ къ роли, которую теперь долженъ выполнить.

Пусть этотъ Дмитрій будетъ орудіе Польши, іезуитовъ и московскихъ бояръ, ненавидѣвшихъ Годунова; но безъ глубокаго сознанія, если не права своего, то назначенія самой судьбы, онъ не могъ бы дѣйствовать такъ, какъ онъ дѣйствовалъ, съ такою отвагою и самоувѣренностью, не могъ бы въ такой мѣрѣ проявить замѣчательныхъ способностей, которыми онъ обладалъ безспорно. Во всемъ этомъ нужна сила вѣры въ самого себя и свой жребій, нужна внутренняя опора, которую человѣкъ можетъ найти только въ своей совѣсти и убѣжденіи. Убѣжденіе это можетъ быть основано на ложныхъ началахъ и фактахъ, но оно нужно, чтобы окружить человѣка нравственнымъ обаяніемъ и дать ему господство надъ умами, хотя бы то на время. Но вообще характеръ Лжедмитрія совмѣщаетъ въ себѣ разныя противорѣчія, пеструю и яркую смѣсь дурного съ хорошимъ. Онъ вовсе не золъ; напротивъ, онъ готовъ дѣлать добро, миловать, прощать. Въ его правительственной программѣ преобладаютъ либеральныя начала, невѣдомыя тогдашней Россіи, и стремленіе къ реформамъ, что, между прочимъ, сильно повредило ему въ общественномъ мнѣніи.

Но всѣ прекрасныя стремленія, вмѣстѣ съ доблестью воина и мечтами героя, вмѣстѣ съ обширными замыслами политическаго честолюбія, подрывались порывами его страстной натуры, не могшей подчиниться тѣмъ раз-

умнымъ понятіямъ, какія рождались въ его собственномъ умѣ. Онъ не только хотѣлъ имѣть власть, но и наслаждаться плодами ея. Молодость соблазнила его приманками удовольствій, и онъ не хотѣлъ въ нихъ отказывать себѣ, хотя эти удовольствія находились въ прямомъ противорѣчіи съ окружавшимъ его порядкомъ вещей. И предполагаемый отецъ его, Грозный Иванъ, любилъ удовольствія, и какъ ни были они грубы и грязны, но они были свои, туземнаго происхожденія, и потому народъ, привыкшій къ мысли, что властителю все позволено, смотрѣлъ на нихъ сквозь пальцы. Удовольствія Самозванца поражали всѣхъ своимъ несогласіемъ съ общественными обычаями. Отдавшись разъ силѣ своихъ страстныхъ влеченій, подстрекаемый удобствомъ удовлетворять ихъ безотчетно, онъ становился безразсуденъ, забывалъ совершенно правило, которое, вѣроятно, было не чуждо его правительственнымъ идеямъ, что не должно становиться въ противорѣчіе съ вѣковыми обычаями, нравами и даже предразсудками подвластнаго ему народа, и дошелъ, наконецъ, до существеннаго и явнаго оскорбленія національнаго чувства. Онъ не хотѣлъ давать воли ни полякамъ ни іезуитамъ, вовсе не сочувствуя ихъ политическимъ и религіознымъ замысламъ, а между тѣмъ, прельщаемый образомъ жизни своихъ иноземныхъ сподвижниковъ и протекторовъ, дозволилъ имъ поступки, оскорбительные для русскихъ, какъ бы ихъ прямой соучастникъ и поощритель.

«Все новое»,—говоритъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ пьесы, колачникъ:

Палаты новы у царя; у нѣмцевъ
Кафтаны новы—бархатъ фіолетовъ;
У русскихъ вѣра новая—латинцы
Въ самомъ Кремлѣ поставили костелъ,
И цѣлый день гнусятъ свои обѣдни;

Своимъ душамъ на вѣчную погибель
И на соблазнъ крещеному народу.
Теперь обѣдать съ музыкой садятся,
Не молятся, ни рукъ не умываютъ.
Поляки бьютъ народъ, сѣкутъ и рубятъ
И встрѣчнаго и поперечныхъ; бродятъ
По улицамъ, по лавкамъ, по базарамъ,
Берутъ добро безъ денегъ и безъ спросу.

Такъ все болѣе и болѣе Лжедмитрій возбуждалъ недовѣріе къ своему царскому происхожденію въ народѣ, который былъ убѣжденъ, что настоящій русскій царевичъ не дозволилъ бы себѣ такихъ рѣзкихъ отступленій отъ отеческихъ обычаевъ и преданій. Пріѣздъ Марины въ Москву переполнилъ мѣру народнаго терпѣнія и ускорилъ взрывъ всеобщаго негодованія. Эта честолюбивая, надменная иноземка хотѣла не только того, чтобы Россія чтила въ ней свою вѣнчанную царицу, но чтобы, вопреки своей вѣрѣ, достоинству и постоянной враждѣ къ ея отчизнѣ, чтила въ ней польку. Она хотѣла въ Россіи основать вторую Польшу, съ ея нравами, формами и образомъ жизни, со всѣмъ ея бытомъ, относясь съ пренебреженіемъ ко всему, что должна была уважать въ новомъ отечествѣ за дарованное ей величіе, или казаться уважающею изъ благоразумія. Самозванца, страстно въ нее влюбленнаго, она окончательно совратила съ настоящаго пути и столкнула его въ бездну съ трона, на которомъ онъ, можетъ-быть, и удержался бы, если бы его мудрость равнялась прихотямъ судьбы, вознесшимъ его такъ высоко. Но этой-то мудрости и не дается ея случайнымъ созданіямъ; катастрофа должна была совершиться—и она совершилась скорѣе и неожиданнѣе, чѣмъ могли полагать втайнѣ невѣрившіе въ прочность новой власти.

Дѣйствіе, въ которомъ проявляютъ себя противопоставленныя другъ другу лица, начинается въ домѣ Шуйскаго сценою народнаго движенія, возбужденнаго

приближеніемъ къ Москвѣ Дмитрія. Къ боярину, какъ къ лицу, пользующемуся наибольшею передъ другими народною любовью и довѣріемъ, собрались граждане московскіе, съ заявленіемъ своихъ радостныхъ чувствованій о возстановленіи на царствѣ древней отрасли русскихъ царей. Идея этого общаго движенія выражается въ слѣдующихъ немногихъ словахъ одного изъ гражданъ:

Привелъ Господь! Царевичъ прирожденный
На дѣдовскихъ и отческихъ престолахъ
И на своихъ на всѣхъ великихъ царствахъ
Возсѣлъ опять и утвердился.

Другое лицо дополняетъ эту мысль, говоря:

...Чудо
Великое свершилось. Божій промыселъ
Измѣнниковъ достойно покаралъ,
И сохранилъ лѣпорожденну отрасль
Отъ племени царей благочестивыхъ.

Но тутъ же въ народѣ проносится глухо молва, что ожидаемый царь не истинный царевичъ. Нѣкоторые намеками, другіе открыто выражаютъ другъ другу свои сомнѣнія и опасенія и передаютъ зловѣщіе признаки чего-то необычайнаго, несовмѣстнаго съ общими ожиданіями и вѣрою. Является Шуйскій; въ толпѣ онъ ведетъ себя сдержанно и двусмысленно, не подтверждая подозрѣній и не противорѣча имъ. Но нѣкоторымъ изъ приближенныхъ своихъ онъ прямо объявляетъ о подложности Дмитрія. На вопросъ Осипова: не монахъ ли онъ? Шуйскій отвѣчаетъ:

Ну, нѣтъ, не чернецомъ онъ смотритъ...
Ошиблись мы съ Борисомъ. Монастырской
Повадки въ немъ невидно. Рѣчи быстры
И дерзостны, и поступью проворенъ,
Войнолюбивъ и смѣлъ, очами зорокъ,
Орудуетъ доспѣхомъ чище ляховъ,
И на коня взлетаетъ, какъ татаринъ.

Потомъ рѣшительно говоритъ тому же Осипову:

Онъ воръ, не царь, и сходства очень мало
Съ покойникомъ; не царская осанка,
Вертлявъ, и говорливъ, и безбородъ,
Обличіе и поступь препростыя,
Не сановитъ, да и лѣтами старше.

Нѣсколькимъ купцамъ, добивавшимся удостовѣренія въ истинѣ, онъ объясняетъ также прямо, что этотъ Дмитрій не царевичъ, а Отрепьевъ.

Итакъ, Шуйскій въ самомъ началѣ драмы выступаетъ уже противъ Лжедмитрія и старается посѣять и распространить враждебное къ нему расположеніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить къ себѣ сочувствіе, какъ къ единственному изобличителю обмана и защитнику народной чести и законности. Тутъ же, въ прекрасномъ монологѣ, онъ раскрываетъ и свои виды на престолъ.

Русь—говоритъ онъ—
Скомороха на тронѣ царскомъ
Терпѣть не станетъ. Рано или поздно,
Бродяга, царь московскій самовольный,
Поплатится удалой головой.
Потомъ... Потомъ—я царь!

Весь этотъ монологъ отличается блестящимъ литературнымъ достоинствомъ какъ по вѣрности идей, такъ и по изяществу поэтическаго рисунка и изложенія. На одно только мѣсто мы можемъ указать, которое намъ кажется ошибочнымъ и въ психологическомъ смыслѣ и въ смыслѣ самой пьесы, именно, гдѣ Шуйскій, говоря о своихъ видахъ на престолъ, выражается такъ:

Умомъ, *обманомъ*, даже *преступленьемъ*
Добьюсь вѣнца.

Такое немножко грубое и слишкомъ хладнокровное сознаніе въ предосудительныхъ замыслахъ едва ли естественно въ человѣкѣ, не достигшемъ вершины зла, гдѣ уже вовсе не церемонятся ни съ совѣстью и ни съ

какими нравственными началами. Да и къ чему Шуйскому рѣшаться на такія темныя крайности или даже мечтать о нихъ, когда и безъ того онъ могъ достигнуть цѣли? Событія такъ сложились, что въ этихъ крайностяхъ не было никакой необходимости—обстоятельства сами открывали ему путь къ престолу. Оттого и въ драмѣ онъ дѣйствуетъ открыто, самоувѣренно и прямо. Онъ мужественно идетъ навстрѣчу очевиднымъ опасностямъ, не боится пытки, плахи. Его сила не въ обманѣ и козняхъ, а въ законности самаго дѣла, въ избавленіи Россіи отъ тѣхъ бѣдствій, какими угрожаетъ ей торжество Лжедмитрія и друзей его поляковъ, и если онъ думаетъ о престолѣ, то съ его точки зрѣнія не имѣлъ ли онъ права помышлять о немъ, какъ о наградѣ за свой подвигъ, когда прямыхъ и законныхъ наслѣдниковъ не было? Конечно, это не есть героическое великодушіе, однакожъ и не есть вина, которая бы ставила его наравнѣ съ великими историческими злодѣями. О какомъ же преступленіи тутъ можетъ быть рѣчь, когда верховная власть, такъ сказать, сама впадала въ его руки? Въ самой драмѣ нѣтъ ни повода къ нему ни факта въ этомъ родѣ. Авторъ этою чертою, можетъ-быть, хотѣлъ означить, что и Шуйскій принадлежалъ къ тому разряду честолюбцевъ, которые для возвышенія своего не останавливаются ни передъ какою нравственною преградой; однако изъ хода въ драмѣ этого не видно, и не зачѣмъ было безъ нужды бросать тѣнь на характеръ, обставленный въ ней другими атрибутами, не имѣющими такого предосудительнаго значенія. Что Шуйскій честолюбивъ, и что честолюбіе вообще не такая дорога, которая бы вела къ святости, это вѣрно; но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы всякій по ней идущій непремѣнно свирѣпствовалъ и злодѣйствовалъ, безъ очевидной надобности, опрокидывая всѣхъ и все ему встрѣчающееся.

Зторая сцена первой части заключаетъ въ себѣ торственную встрѣчу Лжедмитрія въ Кремлѣ. Посреди ивленной группы русскихъ гражданъ, нѣмцевъ и іяковъ, привѣтствующихъ новаго царя, являются ıтнѣйшіе бояре, члены царскаго синклита — Мстиıвскій, Куракинъ, Бѣльскій, Воротынскій, Басмановъ. дно, что у нихъ нѣтъ единодушнаго чувства, кото: должно бы одушевлять всякаго въ достопамятный иентъ, когда является спасенный отъ Годуновскаго ка законный наслѣдникъ престола; всѣ они какъ-то ущены, встревожены, носятъ въ себѣ какую-то затаеню думу или обращаются съ какимъ-нибудь укоромъ угъ къ другу, напоминая этимъ общую боярскую ıнь и вражду. Ихъ, повидимому, не очень заботитъ цущность, которая за этимъ днемъ ожидаетъ Россію. инъ Голицынъ выражаетъ мысли, достойныя государıеннаго и земскаго человѣка, хотя съ аристократичеıмъ оттѣнкомъ:

Да, настало время—говоритъ онъ—
Вздохнуть и намъ. Димитрій, Богомъ данный,
Видалъ иные царства и уставы,
Иную жизнь боярства и царей;
Оставитъ онъ тиранскіе порядки;
Народу льготы, намъ, боярамъ, вольность
Пожалуетъ; вкругъ трона соберется
Блистательный совѣтъ вельможъ свободныхъ,
А не рабовъ трепещущихъ и льстивыхъ
Иль бражниковъ опричины кровавой,
На всѣхъ концахъ Россіи проклятой.

Шуйскій холоденъ и сдержанъ; но по временамъ у о вырываются замѣчанія, исполненныя ироніи. Лжеıтрій пошелъ въ Архангельскій соборъ поклониться ıху почившихъ князей и царей русскихъ, а на плоди гремѣла польская музыка. На восклицаніе Мстиıвскаго: «веселый день!» Шуйскій отвѣчаетъ:

И царь у насъ веселый:
Самъ молится, а музыка играй!

Повеселить отцовъ и дѣдовъ хочетъ.
Давно они въ тиши гробницъ смиренно,
Подъ пѣніе молебное, подъ дымомъ
Кадильныхъ ароматовъ, почиваютъ,
И музыки доселѣ не слыхали.

Драма подвигается впередъ—Басмановъ доноситъ Лжедмитрію объ измѣнѣ Шуйскаго, чему сначала онъ не вѣритъ; однако, по настоянію Басманова, назначаетъ надъ измѣнникомъ судъ въ Царской Думѣ. Въ сценѣ, гдѣ это происходитъ, Лжедмитрій, между прочимъ, предается размышленію о своемъ происхожденіи, судьбѣ и о своемъ назначеніи. Весь монологъ заключаетъ въ себѣ превосходную характеристику Лжедмитрія по исторической правдѣ и вѣрности психологическаго анализа, а вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ блистательную поэтическую картину, отличающуюся ясностью и теплотою колорита. Мы просимъ читателей особенно обратить вниманіе на выраженіе чувствованій Самозванца, когда онъ вступилъ въ царственные чертоги, и на обращеніе его къ Іоанну Грозному. Это мѣсто чрезвычайно замѣчательно въ томъ смыслѣ, о какомъ мы сейчасъ сказали. Далѣе открывается судъ надъ Шуйскимъ, который признается въ томъ, что дѣйствительно возбуждалъ въ народѣ мысль о подложности явившагося Дмитрія, но въ защиту свою приводитъ причину, что онъ тѣмъ только исполнилъ волю покойнаго царя Бориса, повелѣвшаго ему, еще въ началѣ появленія Дмитрія, объявить всенародно, что настоящій царевичъ погибъ, и, слѣдовательно, этотъ не настоящій царевичъ. На укоризну Басманова, что онъ не только тогда, но и теперь смущаетъ народъ, Шуйскій отвѣчалъ уклончиво, но безъ робости и малодушія. Дмитрій ведетъ себя съ достоинствомъ, спокойно, безъ гнѣва, самъ не хочетъ произнести приговора надъ обвиняемымъ, но повелѣваетъ это сдѣлать Думѣ по закону и совѣсти.

Дума приговариваетъ Шуйскаго къ смерти. Дмитрій отмѣняетъ это рѣшеніе, приказывая вывести Шуйскаго на лобное мѣсто, положить голову его на плаху и объявить ему прощеніе. Въ послѣдовавшей затѣмъ сценѣ Дмитрія съ Масальскимъ есть мѣсто, которое намъ показалось совершенно неумѣстнымъ и лишнимъ. Это декларація Самозванца о любви его къ Ксеніи, дочери Бориса, и намѣреніе добиться ея сочувствія. Онъ даже изъявляетъ желаніе по-рыцарски сразиться за нее съ какимъ-нибудь соперникомъ, чтобы цѣною побѣды пріобрѣсти ея сердце. Хотѣлъ ли авторъ этимъ представить сколь возможно ощутительнѣе легкомысліе Лжедмитрія, которое быстро и неожиданно переходило отъ важныхъ государственныхъ заботъ къ веселой игрѣ въ юношескія чувствованія и потѣхи, для чего необходимо, разумѣется, требовалась женщина? Но въ такомъ случаѣ эпизодъ, придуманный авторомъ, занимаетъ слишкомъ ничтожное мѣсто въ драмѣ; онъ, видимо, составляетъ что-то приставочное въ пьесѣ, не имѣющее ни начала ни послѣдствій; что-то случайное, какъ бы слегка и нечаянно набѣжавшее. Для показанія легкомыслія Лжедмитрія достаточно было и другихъ данныхъ, которыми авторъ и воспользовался. Притомъ извѣстно, что Дмитрій не отличался доброю нравственностью и что его любовныя забавы носили на себѣ характеръ грубаго сластолюбія, котораго и сдѣлалась жертвою Ксенія. Облагородить это помощью рыцарскаго сентиментализма, какъ это сдѣлалъ авторъ, значило поступать явно противъ свидѣтельства исторіи. Да и естественна ли любовная выходка Дмитрія почти наканунѣ брака его съ Мариною, въ которую онъ влюбленъ, и притомъ передъ глазами поляковъ, ея родственниковъ и друзей?

Касательно легкомыслія Лжедмитрія очень хорошо выразился Басмановъ въ отвѣтѣ своемъ Голицыну и

Мстиславскому на замѣчаніе ихъ о томъ, что ему не удалось погубить Шуйскаго.

Обидно мнѣ не за себя, бояре!
Онъ добрый царь, но молодъ и довѣрчивъ;
Играетъ онъ короной Мономаха
И головой своей и всѣми нами.

Послѣ сцены Дмитрія съ царицей Марьей, гдѣ она принимаетъ его за своего сына, онъ съ большею увѣренностью и, такъ сказать, безъ оглядки предается своимъ идеямъ и порокамъ, болѣе и болѣе забывая о благоразумной осторожности. Шуйскій между тѣмъ не дремлетъ. Ставъ послѣ избавленія отъ плахи, при помощи своей ловкости и ума, близкимъ человѣкомъ къ Дмитрію, онъ все рѣшительнѣе и смѣлѣе подвигаетъ дѣло свое впередъ. Онъ пользуется всѣми его ошибками, которыя растутъ и накопляются съ каждымъ днемъ, искусно возбуждаетъ въ народѣ, посредствомъ усердныхъ своихъ агентовъ, противъ него негодованіе и въ средѣ самихъ бояръ находитъ себѣ тайныхъ единомышленниковъ. Прибытіе Марины въ Москву, какъ мы видѣли уже, служитъ для Лжедмитрія новымъ искушеніемъ и усиливаетъ средства Шуйскаго. Уступая безразсуднымъ ея домогательствамъ, онъ дѣлаетъ неслыханное въ Россіи дѣло—вѣнчаетъ женщину царскимъ вѣнцомъ, при этомъ расточаетъ безсчетно государственную казну на подарки ей и пиры, въ которыхъ все—и музыка, и пляска, и одежда, и яства чужія, противныя народу. Напрасно вѣрный Басмановъ предостерегаетъ его; тяжесть ошибокъ его и страстныхъ увлеченій, какъ неотрицаемая роковая сила, гнутъ его неотразимо на ту сторону, гдѣ готовитъ ему бездну Шуйскій и оскорбленное національное чувство. И хотя онъ, наконецъ, послушался Басманова и велѣлъ арестовать Шуйскаго, однако это было уже поздно. Авторъ очень искусно схватываетъ главные характеристическіе симптомы въ

этомъ бурномъ и хаотическомъ волненіи событій чрезвычайныхъ и страстей, направляя всѣ ихъ къ одной неизбѣжной катастрофѣ—гибели Лжедмитрія и торжеству Шуйскаго. Сцена, гдѣ происходитъ эта трагическая развязка, начинается набатомъ. Дмитрій и Басмановъ думаютъ сначала, что это пожаръ.

Пожаръ теперь бѣда—говоритъ послѣдній—
Москва горѣть горазда;
Какъ примется—и не уймешь, покуда
Не выгоритъ поболѣ половины.

Но óба скоро удостовѣряются, что это призывъ къ общему возстанію. Начинается страшное смятеніе—народъ, предводительствуемый Шуйскимъ, врывается въ Кремль и проникаетъ въ царскія палаты. Дмитрій, однако, не теряетъ присутствія духа и велитъ призвать къ защитѣ нѣмцевъ и поляковъ, желая умереть, если это необходимо, въ битвѣ съ мечомъ въ рукахъ. Басмановъ, вѣрный до конца тому, кому онъ присягнулъ, падаетъ, пораженный Татищевымъ. Дмитрій скрылся, и его повсюду ищутъ. Шуйскій ободряетъ народъ и распоряжается, какъ главное лицо и какъ мастеръ дѣла.

— Проворнѣе, ребята! — говоритъ онъ,— не забывать, зачѣмъ пришли! пограбить успѣете. Ищите намъ разстригу, уйти нельзя. Тащите къ намъ живого или мертваго. Обезоружьте нѣмцевъ. Не трогать ихъ, они впередъ годятся, спасайте бабъ! Возьми, Татищевъ, стражу, поставь при нихъ; царицыны покои оберегай! Не съ бабами воюемъ!

На одну минуту, однако, успѣхъ возстанія дѣлается сомнительнымъ, такъ что самъ Шуйскій смутился — стрѣльцы хотятъ стоять за Дмитрія, пока ихъ не увѣрятъ, что онъ не истинный царевичъ. Шуйскій успѣваетъ уничтожить всѣ ихъ сомнѣнія. Дмитрій найденъ обезоруженный и раненый; но онъ твердо стоитъ за

свое мнимое право и осыпаетъ укоризнами Шуйскаго, требуетъ суда народнаго. Шуйскій отвѣчаетъ:

Намъ судиться поздно!
Ты осужденъ!.. Кончайте съ нимъ, ребята!

А между тѣмъ обращается къ народу, толпящемуся у двора, и говоритъ, указывая на Дмитрія:

Ей! винится!
Во всемъ, во всемъ разстрига повинился.

Валуевъ убиваетъ несчастнаго. Шуйскій восклицаетъ къ народу: «покончили!» Въ народѣ слышны крики:

Храни тебя Господь на многи лѣта,
Великій Князь и Государь Василій Ивановичъ!

Таковы въ главныхъ чертахъ содержаніе пьесы и ходъ ея дѣйствія; и то и другое очень просты и всегда опираются на историческія данныя. Авторъ не задавался никакою отвлеченною мыслью; единственною цѣлью его было—извлечь изъ фактовъ нашей исторіи присущіе имъ драматическіе элементы и представить въ органически-цѣлой, художественной, соотвѣтственной имъ формѣ. Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, чтобы у автора не было никакой направительной мысли. Въ характерѣ и дѣйствіяхъ Шуйскаго, какъ и въ судьбѣ Лжедмитрія, онъ понялъ и поставилъ на видъ историческій законъ, что если неизбѣжный ходъ вещей вызываетъ на сцену міра извѣстныя событія, то свободѣ воли человѣческой предоставлено изъ самаго этого хода извлекать сущность и направлять событія по своему усмотрѣнію и видамъ, и что далѣе эти виды должны быть судимы и взвѣшиваемы по высшему нравственному принципу, каковы бы ни были успѣхи или неуспѣхи ихъ. Угрожаемая русская народность требовала защиты противъ тѣхъ, кто ей угрожалъ. Такъ или иначе это требованіе должно было выразиться, и нуженъ былъ дѣятель, который бы взялъ на себя великое народное дѣло и по своимъ спо-

собностямъ и характеру въ состояніи былъ бы совершить его. Надобно было уничтожить главную силу, слишкомъ рѣзко, слишкомъ несвоевременно и незаконно воздвигшуюся на измѣненіе народныхъ нравовъ и обычаевъ, которые могли быть измѣнены только или ходомъ самыхъ вещей, или реформою диктатуры, но диктатуры не чужой, а своенародной, облеченной всѣми полномочіями закона и исторической необходимости, а не пришлой воли. Тутъ были самые противоестественные и враждебные народу распорядители—поляки и католики, и подъ ихъ вліяніемъ Лжедмитрій, обманщикъ, да хотя бы и не обманщикъ, но лицо, дѣйствовавшее совершенно вопреки національному чувству,—онъ, этотъ непризванный, чужой, неразумный реформаторъ, долженъ былъ пасть, и Шуйскій создалъ его паденіе. Что жъ ему предстояло сдѣлать послѣ этого? Предоставить народной волѣ избрать царя или тотчасъ, воспользовавшись благопріятною минутою, сдѣлаться самому царемъ. Тамъ было прекрасное, благородное, высоко-нравственное дѣло, здѣсь соблазнялъ успѣхъ обширнаго личнаго честолюбія, эгоизма. Собственная воля Шуйскаго въ этихъ противоположныхъ равносильныхъ понужденіяхъ вещей должна была рѣшить, какому теченію послѣдовать; ей предстояло выдержать испытаніе передъ судомъ великаго нравственнаго закона—Шуйскій не выдерживаетъ его, онъ долженъ быть и осужденъ этимъ судомъ за то, что въ совершонномъ имъ дѣлѣ онъ поставилъ на мѣсто общественной воли свой эгоизмъ, свою личную волю, свое честолюбіе. Положимъ, что онъ былъ достойнѣе всѣхъ занять мѣсто, на которое покушался взойти, что онъ искренно и справедливо вѣрилъ въ возможность умиротворить Россію и дать ей блага, которыхъ никто другой тогда дать ей не могъ. Но нравственный законъ требовалъ, чтобы не онъ самъ далъ себѣ это назначеніе вмѣстѣ съ сопряженными съ нимъ

правами, чтобы онъ дождался ихъ отъ тѣхъ, кто имѣлъ право судить о его достоинствахъ и справедливости его притязаній. Словомъ, по пресѣченіи царскаго рода, новаго царя должна была возвести на тронъ не партія, а Россія. Онъ не былъ, какъ замѣчено нами выше, преступникомъ, потому что не похищалъ ничьего права, какъ Годуновъ и Самозванецъ; но во всякомъ случаѣ онъ не честный, не добродѣтельный человѣкъ, потому что сдѣлалъ то, чего не слѣдуетъ дѣлать честному и добродѣтельному человѣку,—свои личные интересы онъ поставилъ выше общественнаго долга. Его нельзя ни презирать ни ненавидѣть; но и уважать его не за что. Словомъ, онъ таковъ, какимъ представляетъ его намъ исторія.

Въ заключеніе драмы авторъ поясняетъ ея общую мысль, влагая въ уста Голицына слѣдующіе стихи о Шуйскомъ.

Крамольникъ онъ отъ головы до пятокъ!
Бояриномъ ему бы оставаться,
Крамольнику не слѣдъ короноваться.
Крамолой сѣлъ Борисъ, а Дмитрій силой:
Обоимъ тронъ московскій былъ могилой.
Для Шуйскаго примѣровъ недовольно;
Онъ хочетъ сѣсть на царство самовольно.
Не царствовать ему! На тронъ свободный
Садится лишь избранникъ всенародный.

Пьеса Островскаго заключаетъ въ себѣ замѣчательныя художественныя красоты. Правда, зданіе драмы не отличается широкими и величественными размѣрами, которые бы поражали смѣлостью задачи и обиліемъ творческихъ комбинацій. Авторъ не возвышается до того всеобщаго, необычайнаго момента нашей исторической жизни, гдѣ совершилось столь много трагическаго и важнаго для нашей будущности. Онъ держится въ скромныхъ границахъ одной личности Шуйскаго въ связи съ другою—личностью Лжедмитрія и ближай-

шихъ къ нимъ отношеній. Онъ также не отличается изобрѣтательностью положеній, свидѣтельствующею о силѣ поэтическаго творчества. Предназначивъ себѣ цѣль изъ избраннаго имъ историческаго мотива извлечь его драматическія стихіи, онъ воспользовался ими не только съ полнымъ знаніемъ исторіи, но и съ искусствомъ опытнаго и даровитаго поэта. Дѣйствіе въ его пьесѣ развивается въ постепенно возрастающей занимательности само собою, безъ всякихъ искусственныхъ усилій со стороны поэта, безъ аффектаціи; онъ предоставляетъ ему итти своимъ естественнымъ историческимъ путемъ, заботясь единственно о сосредоточеніи вниманія читателя или зрителя на главныхъ моментахъ и лицахъ и о томъ, чтобы эти моменты и лица являлись передъ нимъ въ движеніи и полнотѣ жизни. Въ пьесѣ нѣтъ выдуманныхъ произвольно и напрасно ни лицъ ни событій и страстей, и вообще простота ея въ планѣ и исполненіи, отсутствіе всякаго усложненія, запутанности, умничанья составляетъ одно изъ существенныхъ ея качествъ и достоинствъ. Что касается до характеровъ, то, разумѣется, всего болѣе обращаютъ на себя вниманіе, по своей сосредоточенности, характеры Шуйскаго и Лжедмитрія, о которыхъ мы и должны были распространиться выше. Другіе характеры, съ меньшимъ значеніемъ для драмы, не нуждались въ такой полнотѣ и опредѣленности развитія, тѣмъ не менѣе многіе изъ нихъ, нѣсколько болѣе выдвигающіеся, оттѣнены чертами своеобразными. Таковы выступающіе изъ безцвѣтной среды бояре Голицынъ, Татищевъ, Басмановъ. Послѣдній, впрочемъ, такое замѣчательное историческое лицо, что требовало бы, по нашему мнѣнію, тщательнѣйшей и болѣе серьезной оттушовки. Слѣдовало бы, кажется, хоть нѣсколькими чертами дать почувствовать зрителю или читателю, почему онъ такъ ревностно служитъ Дмитрію и охраняетъ его. Не могъ онъ не

знать, что̀ это за личность, и должны быть сильныя причины, заставляющія его держаться стороны самозваннаго царя. Басмановъ не дюжинный царедворецъ, который бы изъ одного мелкаго своекорыстія или боязни рѣшился стать подъ его знамена и оказать столько преданности дѣлу, ни въ законности котораго ни въ прочности онъ не могъ быть увѣренъ. Надобно было имѣть въ виду, что Басмановъ былъ изъ людей новыхъ, что бояре древняго рода смотрѣли на него съ пренебреженіемъ, и что онъ видѣлъ въ Дмитріи данныя, по которымъ послѣдній могъ сдѣлаться опорою земскихъ людей, а не быть только орудіемъ придворныхъ козней. Женщины, царица Мароа и Марина Мнишекъ, являются съ свойственными имъ историческими чертами: одна—слабою, изъ боязни, ради выгодъ житейскихъ жертвующею своими материнскими чувствами въ пользу Самозванца, пока онъ могучъ, и отрекающеюся отъ него въ минуту неизбѣжнаго паденія; Марина—властолюбивою, хитрою, жаждущею короны и царскаго величія. Всѣ другія лица, содѣйствующія ходу драмы, несмотря на кратковременность своего появленія, обозначены по возможности каждое индивидуальными чертами. Таковы представители народнаго движенія: колачникъ, умный и бойкій подстрекатель народа противъ Лжедмитрія,—Коневъ, движимый тѣмъ же чувствомъ, но простодушнѣе и сосредоточеннѣе перваго,—подьячій съ обычнымъ своимъ офиціальнымъ подмигиваньемъ и придирчивостью и проч. Мы позволимъ себѣ только сдѣлать замѣчаніе противъ юродиваго Аоони. Юродивый сдѣлался общимъ мѣстомъ въ нашихъ историческихъ драмахъ. Безъ него не обходится почти ни одна драма. Оставляя въ сторонѣ религіозную сторону, эти русскіе Діогены составляютъ типическое проявленіе нашей народности. Прикрывшись щитомъ религіи и дѣйствительно воодушевленные ею, они прини-

мали на себя роль публицистовъ и обличителей общественныхъ и административныхъ пороковъ. Это были олицетворенные протесты различныхъ злоупотребленій, единственные въ тѣ темныя времена, когда страхъ смыкалъ всѣмъ уста, и когда письменныя изобличенія, кромѣ тайныхъ доносовъ и подметныхъ писемъ, были невозможны. Одинъ Божій человѣкъ, убогій, отвергнутый міромъ и самъ его отвергнувшій, напускающій на себя безуміе, но въ высшей степени умный и тонкій,— одинъ такой человѣкъ, подъ покровительствомъ ученія, что такимъ Богъ открываетъ свою волю, могъ въ мистической экзальтаціи, притворной или истинной, являться смѣлымъ глашатаемъ противъ злоупотребленій власти всесильнаго произвола и порока. Для этого надо бы было имѣть замѣчательную силу ума и воли. Поэтому мы нимало не противъ употребленія этого элемента въ нашей исторической поэзіи. Но его уже, кажется, слишкомъ много употребляли, и онъ опошлился, сдѣлался, какъ выше мы замѣтили, общимъ мѣстомъ. Въ пьесѣ Островскаго онъ является не въ лучшемъ свѣтѣ—по обыкновенію, онъ говоритъ мистически, но безъ всякой надобности: дѣло слишкомъ ясно само по себѣ и не требуетъ никакихъ таинственныхъ, чрезвычайныхъ пружинъ и возбужденій. Оттого его никто и не слушаетъ, и онъ является только какъ бы по заведенному порядку, что нельзя же обойтись безъ юродиваго, когда дѣло идетъ о прошлыхъ и особенно о смутныхъ временахъ.

Объ языкѣ драмы мы не можемъ отозваться иначе, какъ съ полнымъ уваженіемъ. Это чистый русскій языкъ, употребленный и обработанный вполнѣ художественно. Онъ живъ, отчетливъ, легокъ и благороденъ, не переставая быть языкомъ соразмѣрнымъ, т.-е. согласнымъ съ характеромъ мыслей и положеній лицъ и вещей. Тутъ нѣтъ ни изысканныхъ фразъ ни пошлой

преднамѣренной вульгарности, изъ которыхъ однѣми стараются нерѣдко придать важный тонъ выраженію безъ важности идей, а другою придать слогу народность, какъ будто поэтически и вѣрно понятая нами народность не есть въ высшей степени благородство.

Но одно изъ важнѣйшихъ правъ этого литературнаго произведенія на одобрѣніе критики состоитъ въ томъ, что, принадлежа по идеѣ и намѣренію къ разряду поэтическихъ, оно дѣйствительно заключаетъ въ себѣ много поэзіи. Ни историческая достовѣрность, ни искусно составленный планъ и удачное распредѣленіе частей и обрисовка характеровъ, ни правильный и чистый языкъ не въ состояніи были бы возбудить въ душѣ отрадныхъ и высокихъ эстетическихъ впечатлѣній, если бы произведеніе не проникнуто было теплою струею жизни и одушевленія, безъ которыхъ нѣтъ ни красоты, ни поэзіи, ни художественнаго значенія. Еще одно важное, художественное качество пьесы, это то, что историческій элементъ въ ней очищенъ отъ всего лишняго и несущественнаго, отчего поэтическая сторона его блеститъ тѣмъ ярче и свободнѣе. Недостатки въ пьесѣ Островскаго есть, и какъ имъ не быть, когда ихъ не чужды и произведенія Шекспира, Гёте и подобныхъ имъ гигантовъ искусства? Мы и замѣтили нѣкоторые изъ нихъ. Но всякіе недостатки въ вещахъ человѣческихъ бываютъ двухъ родовъ: одни, которые губятъ самую цѣль и характеръ вещей, и, слѣдовательно, трудъ, предпринятый для нея, дѣлается тщетнымъ; другіе мѣшаютъ достиженію абсолютнаго совершенства, въ которомъ, какъ извѣстно, отказано человѣку и всѣмъ его дѣйствіямъ. Одни наказываются общимъ невниманіемъ или, пожалуй, чѣмъ-нибудь худшимъ, такъ какъ отъ человѣка зависѣло избѣжать ихъ, не принимаясь за дѣло, для котораго онъ не обладаетъ надлежащими

силами; другіе прощаются ихъ виновнику, смотря на общее человѣческое несовершенство. Есть дурное, при которомъ невозможно ничто хорошее; но есть худое, до того превозмогаемое хорошимъ, что надобно уже быть крайне взыскательнымъ и несправедливымъ въ критикѣ, чтобы изъ-за него не видѣть и не признавать послѣдняго.

А. Никитенко.

Положеніе русской женщины, по пьесамъ Островскаго *).

Обстановка, въ которой начиналась жизнь женщины, была во всѣхъ отношеніяхъ неудовлетворительна, главнымъ образомъ вслѣдствіе деспотическаго произвола главы семьи. Дѣвочкой она попадала подъ гнетъ родительскаго страха, подъ вліяніемъ котораго и росла, развиваясь безъ всякаго воспитанія и лишь иногда при помощи весьма плохого образованія.

Къ концу этого періода жизни, у нея намѣчался или кроткій характеръ съ задатками серьезности, скромности, честности и съ громаднымъ запасомъ терпѣнія, или, наоборотъ, характеръ бойкій, непокорный, хитрый, легкомысленный и нетерпѣливый.

Наступаютъ годы юности. Дѣвушка покончила съ образованіемъ, которое не дало ей ни практическихъ свѣдѣній вообще, ни научнаго интереса къ какой бы то ни было отрасли знанія, ни знакомства съ искусствомъ, пониманія его и наслажденія имъ, ни, наконецъ, общаго развитія, которое выработало бы извѣстную зрѣлость и твердость характера и закалило бы ее для жизненной борьбы. Занятій или развлеченій нѣтъ никакихъ, и потому всѣ молодыя силы направляются въ область чувства.

---

*) „Русская Мысль" 1899 г., кн. IV.

Тутъ у дѣвушки еще опредѣленнѣе высказываются черты характера, и та группа, которая обладаетъ кроткимъ характеромъ, всѣ свои силы отдаетъ серьезному чувству любви, которое должно замѣнить ей и родныхъ, и образованіе, и должно наполнить ея жизнь, давъ ей смыслъ и цѣль.

У другой группы, обладающей бойкимъ и легкомысленнымъ характеромъ, развитіе чувства играетъ больше роль развлеченія, отдаляя мысль дѣвушки отъ серьезныхъ запросовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и само оно утрачиваетъ свой идеальный характеръ.

Съ возникновеніемъ и развитіемъ любви начинаетъ чувствоваться одиночество, и потому обѣ группы дѣвушекъ обращаются къ сильной половинѣ человѣческаго рода, одна—въ надеждѣ найти друга, опору и защиту, другая—желая найти и освобожденіе отъ домашняго гнета.

Но сильная половина человѣческаго рода въ преобладающемъ большинствѣ оказывается на очень невысокомъ нравственномъ уровнѣ, и поэтому трудно ожидать, чтобъ она удовлетворила запросамъ женщины. Такъ и оказывается въ дѣйствительности. Первая группа горько ошибается въ своихъ надеждахъ и страдаетъ за свою невольную ошибку; вторая группа въ отвѣтъ на обманъ или сама учится обманывать, или махаетъ на все рукой. Семейная же жизнь, начавшаяся подъ тлетворнымъ вліяніемъ самодурства старой семьи и при эгоистическихъ наклонностяхъ мужа, дѣлается для женщины во всѣхъ отношеніяхъ тяжелымъ бременемъ, которое начинаетъ болѣе или менѣе скоро оказывать на женщину свое вліяніе, или убивая въ ней нравственнаго человѣка, т.-е. развращая ее, или же убивая ее въ полномъ смыслѣ этого слова.

И когда цѣлью супружества дѣлается не совмѣстная нравственная жизнь, не общій жизненный путь, пол-

ный труда, борьбы и порой невзгодъ, а главною цѣлью ставится пріобрѣтеніе матеріальныхъ средствъ и удовольствій, которыя эти средства могутъ доставить, то картина супружеской жизни оказывается очень далекой отъ своего идеала. Жены, попавшія на этотъ путь также ради золотого тельца, теряютъ тотъ высокій человѣческій обликъ, который въ нихъ еще могъ бы сохраниться при другихъ условіяхъ или другихъ руководителяхъ, и погрязаютъ въ пучинѣ темнаго царства. А тѣ, которыя не затѣмъ шли замужъ, чтобы сдѣлаться рабынями мамоны, и которыя, навѣрно, въ пылу первыхъ мечтаній и увлеченій, не замѣтили, съ кѣмъ онѣ имѣютъ дѣло,—тѣ являются снова, какъ и до замужества, одинокими, лишними и непригодными къ подобному прозябанію, не удовлетворяющему ихъ духовныхъ потребностей, и гибнутъ, или медленно угасая въ непосильныхъ мукахъ и борьбѣ, или же сразу прекращая всѣ счеты съ неудовлетворяющей ихъ жизнью.

И если въ дѣвушкѣ, въ силу естественной передачи нравственныхъ началъ изъ одного поколѣнія въ другое, сохранилось еще много хорошаго и добраго, то въ женщинѣ, разочаровавшейся въ своей послѣдней опорѣ—мужѣ, все, что было хорошаго, опошливается и исчезаетъ, а это влечетъ за собой, съ другой стороны, измельчаніе самой женской натуры и, какъ результатъ этого, упадокъ уваженія и любви къ ней въ мужчинахъ, а съ другой стороны—это развращаетъ семью, отъ которой вслѣдствіе отсутствія въ ея основахъ нравственныхъ началъ нельзя ожидать добрыхъ плодовъ. И такъ тянется этотъ безконечный ремень вокругъ двухъ своихъ колесъ, разъ за разомъ содѣйствуя разрушительной дѣятельности зловѣщаго генія—нравственнаго измельчанія женщины-человѣка.

Самъ драматургъ, на закатѣ своей дѣятельности, какъ будто ужаснулся общей картины неприглядного

положенія женщины въ этомъ грубомъ темномъ царствѣ,— картины, которая послѣ тридцати слишкомъ лѣтъ его литературной дѣятельности предстала предъ нимъ во всей яркости красокъ, поражающихъ зрителя тѣмъ сильнѣе, чѣмъ дольше онъ разсматриваетъ ее и чѣмъ больше онъ видитъ въ ней жизненной правды. Пораженный и смущенный своимъ собственнымъ произведеніемъ, принявшимъ неожиданно для него самого такіе грандіозные размѣры и формы, драматургъ, кажется, начинаетъ искать отвѣта въ той же самой жизни, которую онъ изображалъ, можетъ-быть, пропущеннаго, недосмотрѣннаго имъ отвѣта на мучительный вопросъ, невольно напрашивающійся на уста: «Неужели изъ этого невозможнаго положенія нѣтъ выхода, нѣтъ средствъ измѣнить его? А если есть, то какой и какія?» Вѣдь ясно, что «вольный воздухъ и свѣтъ,—какъ говоритъ Добролюбовъ,— вопреки всѣмъ предосторожностямъ погибающаго самодурства, врываются въ келью Катерины; она чувствуетъ возможность удовлетворить естественной жаждѣ своей души и не можетъ долѣе оставаться неподвижною: она рвется къ новой жизни, хотя бы пришлось умереть въ этомъ порывѣ. Что ей смерть? Все равно, она не считаетъ жизнью и то прозябаніе, которое выпало ей на долю въ семьѣ Кабановыхъ».

Эти слова критика, относящіяся въ частности къ Катеринѣ Кабановой, по справедливости могутъ быть отнесены вообще къ русской женщинѣ. Понятно, что она не можетъ уже оставаться неподвижной и бездѣятельной, разъ въ ея жизнь, даже и вопреки всѣмъ предосторожностямъ самодурства, ворвался «вольный воздухъ и свѣтъ». И вотъ Островскій въ своихъ послѣднихъ произведеніяхъ подмѣчаетъ въ жизни русской женщины какое-то новое вѣяніе—дѣйствительно тотъ порывъ «къ новой жизни», который долженъ положить

начало удовлетворенію «естественной жажды» души женщины.

Этотъ порывъ выражается пока, съ одной стороны, въ формѣ протеста противъ стараго порядка, и протеста уже рѣшительнаго, не признающаго никакихъ полумѣръ и сдѣлокъ, а съ другой стороны—въ видѣ желаній и требованій чего-то новаго, но еще недостаточно яснаго, не отлившагося въ болѣе или менѣе опредѣленныя формы.

Намъ приходится обратиться къ комедіи «Невольницы», указать на важный эпизодъ въ отношеніяхъ мужа и жены. Вы припомните, что мужъ, Евдокимъ Егоровичъ Стыровъ,—очень богатый человѣкъ, дѣлецъ, лѣтъ уже за пятьдесятъ,—собственно говоря, только подъ постороннимъ вліяніемъ (именно—своего компаньона по предпріятію, Коблова) слѣдуетъ въ своихъ некрасивыхъ отношеніяхъ къ женѣ завѣтамъ старины и примѣру окружающей среды, а на самомъ дѣлѣ онъ, по своимъ взглядамъ и по своему, какъ бы сохранившемуся съ молодости, доброму, гуманному чувству къ человѣку вообще, а къ своей женѣ въ особенности, принадлежитъ къ людямъ совершенно обратнаго образа мыслей, скорѣе къ тому новому поколѣнію, которому предстоитъ содѣйствовать измѣненію семейнаго и общественнаго положенія женщины.

Жена же его Евлалія Андреевна—одна изъ протестантокъ противъ деспотизма темнаго царства въ этихъ отношеніяхъ.

На ихъ столкновеніи и проектѣ Стырова объ улучшеніи положенія жены Островскій даетъ картину современнаго ему состоянія вопроса, поставленнаго выше.

Въ отвѣтъ на заявленіе Евлаліи Андреевны о томъ, что послѣ всѣхъ оскорбленій, перенесенныхъ ею, она не можетъ оставаться болѣе въ такой средѣ, которая не уважаетъ въ женщинѣ человѣческаго достоинства,

Островскій влагаетъ въ уста Стырова предложеніе даровать своей женѣ «полную свободу».

Это было такой неожиданностью для молодой женщины, воспитанной покорно въ страхѣ дѣдовъ и отцовъ, что она поражена этими словами, какъ человѣкъ, увидавшій вдругъ среди безпроглядной тьмы яркій лучъ свѣта. Повторяя безсвязно какъ будто непонятные для нея эти чудные звуки новой жизни, она раздумываетъ надъ ихъ значеніемъ, но такъ взволнована, что, повидимому, не отдаетъ себѣ во всемъ этомъ отчета. «Свободу? Ахъ! это что-то хорошее... Я ее не знала съ дѣтства... Ахъ, погодите! Я и рада, и путаюсь въ мысляхъ... Что это такое? Это новое... я еще цѣны ему не знаю... погодите, я подумаю...» (т. X, стр. 275).

А между тѣмъ Стыровъ разъясняетъ далѣе свою мысль и говоритъ: «Я съ самаго начала долженъ былъ дать тебѣ свободу и оказать полное довѣріе. Вотъ въ чемъ моя ошибка или вина, какъ тебѣ угодно».

«Я вѣдь недурной человѣкъ, а только слабый и безхарактерный: я подчинился чужому вліянію, послушался чужихъ совѣтовъ. Я очень люблю тебя и желаю, чтобы ты была совершенно счастлива,—я только не сообразилъ, что безъ свободы нѣтъ счастія для женщины» (т. X, стр. 276).

Чего же больше? Эти мысли могутъ уже привести въ восторгъ кого угодно и смутить не одну только бѣдную Евлалію Андреевну, не имѣющую твердыхъ нравственныхъ основъ. Даже современные идеальные финансисты, навѣрное, не пожелали бы ничего больше...

Но «пьесы жизни» Островскаго хладнокровны и безжалостны, какъ древнія богини судьбы—Парки: героиня его комедіи оказывается не на высотѣ пониманія и удовлетворенія своихъ собственныхъ желаній, она отказывается даже потомъ отъ предлагаемой такъ искрен-

но и безкорыстно «полной свободы» и гибнетъ нравственно въ омутѣ житейской суеты.

Сначала кажется, что авторъ этимъ финаломъ какъ будто хотѣлъ доказать, что какъ, напримѣръ, поздно давать свободу канарейкѣ, въ клѣткѣ вылупившейся изъ яйца, въ клѣткѣ просидѣвшей всю жизнь и ничего не видѣвшей дальше стѣны противоположнаго дома да клочка неба надъ нимъ,—бѣдная затворница все равно не сумѣетъ воспользоваться свободой и погибнетъ, не вкусивъ ея прелести,—такъ и Евлалія Андреевна, «съ дѣтства не знавшая свободы», не сумѣла бы воспользоваться ею. И, конечно, съ практической точки зрѣнія, она поступила вполнѣ благоразумно, отказавшись отъ такого подарка, который ея мужъ совершенно напрасно, хотя и справедливо, оцѣнилъ дороже «милліоновъ».

Но изъ этого факта нельзя дѣлать ни того заключенія, что «свобода не нужна женщинѣ», ни того, что «женщина не сумѣетъ воспользоваться свободой», какъ это говоритъ Кобловъ, ни другихъ, тому подобныхъ, выводовъ. Нельзя также изъ этого заключать относительно самого автора, что будто бы этимъ произведеніемъ онъ хотѣлъ указать на несостоятельность практическаго примѣненія дарованія женщинѣ свободы и довѣрія...

Если вдуматься въ эту пьесу и принять въ соображеніе время появленія ея на свѣтъ, то мы увидимъ, что, не рѣшая вопроса будущаго времени, выводы этой пьесы, неразрывно связанные съ выводами остальныхъ произведеній Островскаго, указываютъ только на намѣтившіеся къ концу XIX вѣка исходные пункты для рѣшенія женскаго вопроса.

Самыя понятія «невольницы», «рабство», «свобода», «довѣріе» и др. схвачены Островскимъ прямо изъ жи-

зни русскаго общества семидесятыхъ годовъ, когда эти понятія были въ большомъ ходу вмѣстѣ съ «эмансипаціей», «равенствомъ», «курсами» и другими, вновь появлявшимися понятіями, словами и начинаніями. Это былъ періодъ сильнаго броженія общественной мысли по всѣмъ животрепещущимъ и наболѣвшимъ вопросамъ, вызванный тѣмъ подъемомъ духа и нравственной энергіи русской интеллигенціи, который дали конецъ пятидесятыхъ и шестидесятые годы русской исторической жизни текущаго столѣтія.

Но всѣ планы, проекты, мысли, реформы этого времени, все это не было рѣшеніемъ наболѣвшаго многовѣкового женскаго вопроса,—все это были попытки, выяснявшія силы, матеріалы и другія данныя для рѣшенія вопроса. И комедія Островскаго есть не что иное, какъ изображеніе одной изъ подобныхъ попытокъ, зарисованныхъ наблюдательнымъ художникомъ. Самъ драматургъ не брался, да и, конечно, никогда не взялся бы за рѣшеніе подобнаго вопроса. Но съ его стороны велика заслуга уже въ томъ, что онъ далъ этому вопросу прекраснѣйшую наглядную иллюстрацію, которая настолько общедоступна и понятна, что каждому дѣлаются понятны историческіе эпизоды, которые должны послужить сырымъ матеріаломъ будущему времени, выводы настолько реальные и справедливые, что они, навѣрное, совпали бы со статистическими данными, если бы таковыя можно было составить.

Этими выводами или исходными пунктами для рѣшенія женскаго вопроса, сложившимися къ концу XIX вѣка и отмѣченными произведеніями Островскаго, являются слѣдующіе общіе факты, имѣющіе широкое общественное значеніе.

Во-первыхъ, историческое наслѣдство прошлыхъ временъ выработало всѣ остальныя ненормальности и создало даже нѣкоторые законы, много обычаевъ и при-

вычекъ, сдѣлавшихся законными потребностями большинства.

Во-вторыхъ, отсутствіе воспитанія и недостатокъ образованія были въ русской жизни такими плохими факторами, которые не дали даже матеріала и средствъ для выработки нормальнаго человѣка, въ особенности со стороны его нравственной уравновѣшенности.

Въ-третьихъ, ненормальныя отношенія старшаго поколѣнія къ младшему все время препятствовали правильному развитію послѣдняго.

И, наконецъ, въ-четвертыхъ, ненормальныя отношенія мужчины къ женщинѣ создали изъ перваго эгоиста—деспота и самодура, а изъ второй или лукавую рабыню, достойную своего господина, или подавленное, безжизненное существо, только механически исполняющее свои хозяйственныя, семейныя и общественныя обязанности, навязанныя обычаемъ и модой, а никакъ не вытекающія естественнымъ путемъ изъ духовныхъ потребностей женщины.

Съ этими-то фактами нужно будетъ считаться при выработкѣ условій новой жизни, и, можетъ-быть, не далеко то время, когда исполнится желаніе Стырова дать свободу женщинѣ, какъ онъ выразился, «съ самаго начала», т.-е. женщинѣ-ребенку—дома, женщинѣ-дѣвочкѣ—въ школѣ, женщинѣ-дѣвушкѣ—въ обществѣ, женщинѣ-женѣ—въ семьѣ.

Тогда, можетъ-быть, женщина будетъ «полнымъ человѣкомъ» и сумѣетъ разумно воспользоваться своею свободою и докажетъ на дѣлѣ, что она также можетъ быть человѣкомъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова, и создастъ изъ своего ребенка вмѣсто современнаго, безъидейнаго, неудовлетвореннаго болѣзненнаго существа—физически и нравственно здороваго члена семьи, общества и государства...

А. フоминъ.

Женщины въ пьесахъ Островскаго *).

I.

Островскій былъ реалистъ въ истинномъ и полномъ смыслѣ слова. Ни одного характера ни одного типа не найдете вы въ его пьесахъ безусловно идеальнаго, который служилъ бы полнымъ воплощеніемъ всего, что только представлялъ писатель въ своемъ воображеніи лучшаго въ жизни, да чтобы еще и это лучшее было во сто кратъ преувеличено силою творческаго увлеченія. Чуждался онъ, въ свою очередь, и столь широкихъ обобщеній, чтобы имѣть дѣло съ какими-либо основными качествами человѣческой природы, съ игрою страстей, съ проявленіемъ тѣхъ или другихъ добродѣтелей или пороковъ въ ихъ общечеловѣческой, психологической сущности, что мы видимъ, напримѣръ, у Шекспира.

Островскій выводилъ живыхъ людей во всей сложности соціальныхъ и индивидуально-психическихъ элементовъ, въ какой мы встрѣчаемъ ихъ въ самой жизни. Поэтому типы его въ высшей степени конкретны и относительны. Нѣтъ никакой возможности отрывать ихъ отъ той среды, къ которой они принадлежатъ, отъ ихъ семьи и, наконецъ, отъ тѣхъ чисто индивидуальныхъ особенностей, съ которыми они и являются передъ

*) Сочиненія А. Скабичевскаго. Т. II. СПБ. 1890.

нами въ его произведеніяхъ. И вотъ передъ нами проходитъ самая пестрая и разнохарактерная вереница женщинъ, не имѣющихъ, повидимому, ничего общаго, и въ толпѣ которыхъ на первый разъ можно положительно растеряться: тутъ и столичныя, великосвѣтскія барышни, и помѣщицы, и камеліи, и артистки, и чиновницы, и купчихи, и дочери разныхъ неудачниковъ-забулдыгъ, дошедшихъ до послѣдней степени нищеты, и швейки, и пр. и пр. Если это дочь бѣднаго подьячаго, то вы и не увидите передъ собою въ первый разъ ничего болѣе, какъ скромную барышню въ кисейномъ платьицѣ, кое-какъ бренчащую на разбитыхъ фортепіанахъ, поливающую двѣ-три гераньки и беззавѣтно влюбляющуюся въ пошленькаго франтика съ папироской въ зубахъ и тросточкой въ рукахъ. Если это купеческая дочь, то не прогнѣвайтесь, если она едва сумѣетъ подписать свою фамилію, вставить въ свой разговоръ исковерканное французское слово или фальшиво споетъ: «Вотъ на пути село большое». И лишь въ развитіи дѣйствія пьесы мало-по-малу обнаруживаются передъ вами самыя высокія качества въ подобныхъ, съ перваго взгляда далеко не казистыхъ, дѣвушкахъ. И къ тому же, для правильной оцѣнки этихъ качествъ требуются совершенно особенные масштабы, не имѣющіе иногда ничего общаго съ масштабами, которыми оцѣниваются героини въ родѣ тургеневской Елены или гончаровской Ольги, до такой степени ничего общаго, что то самое, что представляется высокимъ подвигомъ геройства въ нѣкоторыхъ женщинахъ Островскаго, могло бы показаться нравственнымъ паденіемъ для героинь Тургенева.

Но какъ ни разнохарактерна и не пестра толпа женщинъ Островскаго, въ ней все-таки можно кое-какъ разобраться, подвести ее подъ различныя категоріи, расположить по степенямъ ихъ нравственнаго совер-

шенства, что мы и постараемся сдѣлать, насколько это возможно. Мы будемъ говорить не о всѣхъ героиняхъ Островскаго, а лишь о нѣкоторыхъ, наиболѣе характерныхъ и выдающихся; остальныхъ читателю и самому не трудно будетъ подвести потомъ подъ тѣ категоріи, которыя мы ему укажемъ. Прежде всего женщины пьесъ Островскаго раздѣляются на двѣ рѣзкія категоріи, не имѣющія между собою ничего общаго, діаметрально противоположныя, почти что не соприкасающіяся одна съ другой и въ самой жизни. И вкусы, и нравы, и стремленія, и нравственные принципы въ этихъ обѣихъ категоріяхъ различны до такой степени, что на первый взглядъ можно подумать, что женщины той и другой принадлежатъ не къ одной странѣ, живутъ въ различныхъ полушаріяхъ земного шара и находятся однѣ по отношенію къ другимъ въ положеніи антиподовъ. Эти двѣ столь различныя категоріи вытекаютъ изъ особеннаго міросозерцанія Островскаго и взгляда его на жизнь и людей. Нужно замѣтить при этомъ, что не однѣ женщины, а всѣ дѣйствующія лица пьесъ Островскаго раздѣляются на тѣ же двѣ категоріи, составляющія какъ бы два борющіеся между собою лагеря, и въ этой борьбѣ и заключается именно внутренній смыслъ всѣхъ пьесъ Островскаго. Въ драмѣ «Правда—хорошо, а счастье—лучше», въ одной изъ репликъ главнаго героя драмы, Платона Зыбкина, въ концѣ перваго дѣйствія, выражается,— хотя нѣсколько рѣзко и комично, но коротко, ясно и глубоко правдиво,— именно та нравственная философія, которая проникаетъ пьесы Островскаго.

«Всякій человѣкъ,—говоритъ Платонъ,—что̀ большой, что̀ маленькій,—это все одно,—если онъ живетъ по правдѣ, какъ слѣдуетъ, хорошо, честно, благородно, дѣлаетъ свое дѣло себѣ и другимъ на пользу,—вотъ онъ и патріотъ своего отечества. А кто проживаетъ только готовое,

ума и образованія не понимаетъ, дѣйствуетъ только по невѣжеству, съ обидой и съ насмѣшкой надъ человѣчествомъ, и только себѣ на потѣху, тотъ мерзавецъ своей жизни».

И дѣйствительно, всѣ дѣйствующія лица пьесъ Островскаго можно подраздѣлить на эти двѣ рубрики. Всѣ они или патріоты своего отечества въ томъ смыслѣ, что стремятся жить по правдѣ, честно, благородно, упорно трудятся, дѣлая свое дѣло, можетъ быть и очень маленькое, незамѣтное, но непремѣнно на пользу и себѣ и людямъ,—или же, напротивъ того, основою ихъ жизни являются «бѣшеныя деньги», скопленныя болѣе или менѣе темными и незаконными путями, но это не мѣшаетъ имъ полагать въ этихъ деньгахъ все свое человѣческое достоинство и гордость. Съ презрѣніемъ смотрятъ они на трудящихся людей, въ каждой работѣ предполагаютъ для себя крайнее униженіе, живутъ именно лишь себѣ на потѣху, съ обидой и насмѣшкой надъ человѣчествомъ, самодурствуя надъ нимъ, если они находятся въ низшихъ по культурѣ слояхъ общества, или же проникаясь утонченнымъ высокомѣріемъ, если помазаны лоскомъ внѣшней образованности,—и въ концѣ-концовъ являются дѣйствительно мерзавцами своей жизни.

Такими же или патріотками своего отечества, или мерзавками своей жизни являются и всѣ женщины Островскаго. Нужды нѣтъ, если нѣкоторыя изъ мерзавокъ являются въ обольстительномъ видѣ и не чужды коекакихъ достоинствъ (у Островскаго, еще разъ повторяемъ, нѣтъ безусловно отрицательныхъ, какъ и безусловно идеальныхъ типовъ)—и все-таки онѣ мерзавки; точно такъ же ничего не значитъ, если нѣкоторыя патріотки только и могутъ принести своему отечеству одну элементарную пользу,—произвести на свѣтъ и выкормить своею грудью ребенка,—и все-таки онѣ являются патріотками.

Прежде всего мы займемся мерзавками, причемъ жен-

щинъ подобнаго рода мы будемъ разсматривать не каждую въ отдѣльности, а въ общей характеристикѣ, такъ какъ о нихъ и безъ того уже много трактовалось и трактуется въ нашей литературѣ; и во-вторыхъ, разъ мы имѣемъ дѣло съ нравственной деградаціей, то не все ли равно, ступенью выше или ступенью ниже стоитъ та или другая особа на этомъ скользкомъ и наклонномъ пути, и дойдетъ ли она до самаго низа паденія, или не дойдетъ. Читатель согласится со мной, что это безразлично. Другое дѣло нравственная высота и подъемъ духа,—тутъ каждая маленькая ступень вызываетъ въ насъ крикъ восторга, какъ побѣда человѣчества и новое его торжество.

Итакъ, начнемъ съ мерзавокъ. Въ этомъ царствѣ все достоинство человѣка полагается не внутри, а внѣ его, въ томъ блестящемъ декорумѣ, который его окружаетъ; человѣкъ мало того, что составляетъ нѣчто одно нераздѣльное съ этимъ декорумомъ, но онъ уничтожается въ немъ, является самъ по себѣ, внѣ своего декорума, ничтожнѣйшею изъ ничтожнѣйшихъ пѣшекъ, единицею, которая только и пріобрѣтаетъ значеніе по мѣрѣ того, какъ къ этой единицѣ будутъ приставлены нули.

Здѣсь встрѣчаются въ силу этого люди, которые до такой степени проникаются сознаніемъ своего полнаго ничтожества безъ капитала, составляющаго все ихъ значеніе и вѣсъ въ жизни, что они на деньги смотрятъ вовсе не какъ на источникъ благъ земныхъ и наслажденій. Напротивъ того, они готовы во всемъ себѣ отказывать, чтобы капиталъ не потерпѣлъ ни малѣйшаго ущерба, сознавая, что съ каждой истраченной копейкой ихъ достоинство уменьшается ровно на эту копейку. Такова Серафима Карповна Толстогораздова (въ «Не сошлись характерами»). Съ виду она—сентиментальная институтка, часто задумывается, вздыхаетъ и поднимаетъ глаза къ небу, когда говоритъ о любви. Но это не мѣшаетъ

ей разсчитывать каждый истраченный грошъ. «Иначе мнѣ какъ же?—говоритъ она,—я стараюсь только, чтобы не прожить капиталу, а проживать проценты. Что же я буду тогда безъ капиталу, я ничего не буду значить».

Ея хватило на то, чтобы влюбиться, и даже не взирая на состояніе любезнаго: «Я бы не пошла за бѣднаго,—говоритъ она,—да ужъ очень я въ него влюблена»; и далѣе: «лучше я себѣ во всемъ откажу, но безъ него жить не могу»!—Впослѣдствіи же оказалось, что она можетъ жить и безъ мужа, что капиталъ для нея дороже самой любви, и когда мужъ возымѣлъ покушеніе на цѣлость ея капитала, она рѣшилась скорѣе разойтись съ нимъ, чѣмъ разстаться хотя бы съ частью своихъ денегъ, и, не переставая его любить, подарила ему на прощаніе вышитый нарочно къ его именинамъ бумажникъ и написала сентиментальное посланіе, въ которомъ, клянясь въ вѣчной любви къ нему и увѣряя, что всю жизнь сердце ея будетъ разрываться, и день и ночь она будетъ плакать о немъ, въ то же время она повторила свою философію жизни: «Что я буду значить, когда у меня не будетъ денегъ?—тогда я ничего, ничего не буду значить! Когда у меня не будетъ денегъ—я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги—я кого полюблю и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы».

Но Серафима Карповна составляетъ все-таки исключеніе изъ числа женщинъ той категоріи, о которой идетъ у насъ рѣчь. Въ ней глубоко сидятъ еще тятенькино кулачество, выдержка и упорство, съ которыми ея предки нажили капиталъ, доставшійся ей въ руки. У нея есть свои правила, которыхъ она держится твердо, и ничто не можетъ заставить ее поступиться ими; эта баба въ своемъ родѣ кремень. Что и говорить, безобразны эти правила, заставляющія ее подчинять всѣ свои

чувства и страсти табличкѣ умноженія, но все-таки нужно принять во вниманіе и то, что она стремится къ извѣстной долѣ самостоятельности въ жизни; полагая все свое достоинство въ капиталѣ, она хочетъ, чтобы ее любили хотя бы и за то лишь достоинство. Ей хочется купить мужа, по своимъ купеческимъ понятіямъ, какъ можно дешевле, но она далека отъ того, чтобы самое себя продавать за какія бы то ни было блага жизни.

Далѣе мы видимъ женщинъ, которыя до такой степени слились съ окружающимъ ихъ декорумомъ, что онѣ смотрятъ на себя, лишь какъ на одно изъ дорогихъ украшеній этого декорума на ряду съ бронзовыми канделябрами, зеркалами или дорогими картинами, и не только не оскорбляются подобнымъ унизительнымъ положеніемъ дорогой, но совершенно безполезной бездѣлушки въ роскошно убранныхъ покояхъ, но даже гордятся этимъ, видятъ въ этомъ все значеніе и достоинство женщины.

— Что нужно для женщины образованной,—говоритъ Кукушкина въ комедіи «Доходное мѣсто»,—которая видитъ и понимаетъ всю жизнь, какъ свои пять пальцевъ? Они (т.-е. мужчины) этого не понимаютъ. Для женщины нужно, чтобы она была одѣта всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное, нужно спокойствіе, чтобы она могла быть отдалена отъ всего, по своему благородству, ни въ какія хозяйственныя дрязги не входила. Юленька у меня такъ и дѣлаетъ: она отъ всего рѣшительно далека, кромѣ какъ занята собой. Она спитъ долго; мужъ поутру долженъ распорядиться насчетъ стола и рѣшительно всѣмъ; потомъ дѣвка напоитъ его чаемъ, и онъ уѣзжаетъ въ присутствіе. Наконецъ, она встаетъ; чай, кофе, все это для нея готово, она кушаетъ, разодѣлась отличнѣйшимъ манеромъ и сѣла съ книжкой у окна дожидаться мужа. Вечеромъ одѣваетъ лучшія платья и идетъ въ театръ или въ гости. Вотъ жизнь! вотъ порядокъ! вотъ какъ дама должна вести себя! Что можетъ быть благороднѣе, что деликатнѣе, что нѣжнѣе?.. Хвалю.

Подобно тому, какъ дорогія вещи рѣдко употребляются для того, для чего онѣ назначены, ихъ боятся портить,

поцарапать и держать поэтому подъ стекломъ лишь для того, чтобы любоваться ими, такъ точно и прелестныя женщины этой категоріи старательно удаляются не только отъ своихъ женскихъ и человѣческихъ обязанностей, но отъ какой бы то ни было заботы, которая могла бы провести хотя бы маленькую морщинку на ихъ обворожительныхъ личикахъ. Такъ, въ комедіи «Бѣшеныя деньги», когда Надежда Антоновна Чебоксарова намекнула своей дочери Лидіи объ опасности разоренія, послѣдняя съ запальчивостью возразила ей:

Лидія. Очень жаль! Но согласитесь, maman, что вѣдь я могла этого и не знать, что вы могли пожалѣть меня и не разсказывать мнѣ о вашемъ разореніи.

Мать. Но все равно, вѣдь послѣ ты узнала бы.

Лидія. Да зачѣмъ же мнѣ и послѣ узнавать? (Почти со слезами). Вѣдь вы найдете средства выйти изъ этого положенія, вѣдь, непремѣнно найдете, такъ оставаться нельзя. Вѣдь не покинемъ же мы Москву, не уѣдемъ въ деревню; а въ Москвѣ мы не можемъ жить, какъ нищіе. Такъ или иначе, вы должны устроить, чтобы въ нашей жизни ничего не измѣнилось. Я этой зимой должна выйти замужъ, составить хорошую партію. Вѣдь вы мать, ужели вы этого не знаете? Ужели вы не придумаете, если ужъ не придумали, какъ прожить одну зиму, не уронивъ своего достоинства? Вамъ думать, вамъ! Зачѣмъ же вы мнѣ-то разсказываете о томъ, чего я знать не должна? Вы лишаете меня спокойствія, вы лишаете меня беззаботности, которыя составляютъ лучшія украшенія дѣвушки. Думали бы вы, maman, однѣ, и плакали бы однѣ, если нужно будетъ плакать. Развѣ вамъ легче будетъ, если я буду плакать вмѣстѣ съ вами? Ну, скажите, maman, развѣ легче?

Мать. Разумѣется, не легче.

Лидія. Такъ зачѣмъ же, зачѣмъ же мнѣ-то плакать? Зачѣмъ вы навязываете мнѣ заботу? Забота старитъ, отъ нея морщины на лицѣ. Я чувствую, что постарѣла на десять лѣтъ. Я не знала, не чувствовала нужды, и не хочу знать. Я знаю магазины бѣлья, шелковыхъ матерій, ковровъ, мѣховъ, мебели; я знаю, что когда нужно что-нибудь, идутъ туда, берутъ вещь, отдаютъ деньги, а если нѣтъ денегъ,

велять commis пріѣхать на домъ. Но откуда берутъ деньги, сколько ихъ нужно имѣть въ годъ, въ зиму, я никогда не знала; я не знала, что значитъ дорого, что дешево, я всегда считала все это жалкимъ, мѣщанскимъ, копеечнымъ расчетомъ. Я съ дрожью омерзенія отстраняла отъ себя такія мысли. Я помню, одинъ разъ, когда я ѣхала изъ магазина, мнѣ пришла мысль: не дорого ли я заплатила за платье? Мнѣ такъ стало стыдно за себя, что я вся покраснѣла и не знала, куда спрятать лицо; а между тѣмъ я была одна въ каретѣ. Я вспомнила, что видѣла одну купчиху въ магазинѣ, которая торговала кусокъ матеріи; ей жаль и много денегъ-то отдать и кусокъ-то изъ рукъ выпустить. Она подержитъ его, да опять положитъ, потомъ опять возьметъ, пошепчется съ какими-то двумя старухами, потомъ опять положитъ, commis смѣются. Ахъ, maman, за что вы меня мучаете?

Результатомъ такого отстраненія отъ всѣхъ житейскихъ заботъ и дрязгъ является крайнее незнаніе жизни, младенческая неопытность, которой подобнаго рода женщины не только не стыдятся, напротивъ, гордятся ею, какъ особеннымъ шикомъ. Неопытность эта доходитъ до такихъ крайностей, что очень часто женщины эти въ самыя роковыя минуты жизни своей, когда въ судьбѣ ихъ готовится полный переворотъ, являются въ полномъ невѣдѣніи и недоумѣніи, что такое вокругъ нихъ дѣлается. Такъ, въ комедіи «Волки и Овцы» Глафира разсказываетъ, какую жизнь она вела въ Петербургѣ въ домѣ сестры: «Мы съ сестрой,—говоритъ она,—жили въ какомъ-то чаду, катанья по Невскому, въ бархатѣ, въ соболяхъ, роскошные обѣды дома или въ ресторанахъ; всегда въ обществѣ; опера, французскій театръ, а чаще всего Буффъ, пикники, маскарады»... И вдругъ все это разомъ оборвалось, но Глафира никакъ не можетъ объяснить, что за катастрофа произошла передъ нею: «Я не знаю,—говоритъ она,—что сдѣлалось. Что-то произошло вдругъ для насъ съ сестрой неожиданное. Сестра о чемъ-то плакала, стала все распродавать, меня отпра-

вили къ Меропѣ Давыдовнѣ, а сами скрылись куда-то, исчезли, кажется, за границу».

Единственная наука, какую онѣ изучаютъ чуть не съ пеленокъ и постигаютъ до послѣднихъ тонкостей, это— наука любви, и эта спеціальность ихъ составляетъ исключительную тему всѣхъ ихъ разговоровъ. «У маменьки крестной,—говоритъ Настя въ комедіи «Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ»,—ни о чемъ другомъ въ домѣ и разговору не было, только про любовь и говорили: и гости всѣ, и она сама, и дочери». На что тетка ея Анна замѣчаетъ: «Можно богатымъ-то про любовь разговаривать, имъ дѣлать-то нечего».

Ну и, дѣйствительно, стоитъ удивленія, до какой виртуозности изучаютъ онѣ и науку и искусство страсти нѣжной. Вотъ хоть бы эта самая Глафира. Она, какъ невинный младенецъ, не понимаетъ, что сестра ея разорилась со своимъ благовѣрнымъ, но зато посмотрите, какую тонкую теорію развиваетъ она предъ Лыняевымъ, когда тотъ увѣряетъ ее, что онъ непреклоненъ предъ женскою красотою, что никакая женщина неспособна забрать его въ руки и дальше содержанки не пойдетъ въ сношеніи съ нимъ.

«Я бы вамъ противорѣчить не стала,—отвѣчала на эти его увѣренія Глафира,—я бы взяла и дачу, и рысаковъ, и деньги, и все-таки вы бы женились на мнѣ. Ну, представьте себѣ, что вы меня любите немножко; иначе, конечно, невозможно ничего. Итакъ, вы меня любите, мы живемъ душа въ душу. Я—олицетворенная кротость и покорность, я не только исполняю, но и предупреждаю ваши желанія, а между тѣмъ понемногу забираю въ руки васъ и все ваше хозяйство, узнаю малѣйшія ваши привычки и капризы, и, наконецъ, въ короткое время дѣлаюсь для васъ необходимостью, такъ что вы безъ меня шагу ступить не можете. Вотъ въ одно прекрасное утро я говорю вамъ: папаша, я чувствую потребность помолиться, отпусти меня денька на три на богомолье». Вы, разумѣется, сначала заупрямитесь, я покорюсь вамъ безропотно. Потомъ изрѣдка робко повторяю свою просьбу и

смотрю на васъ нѣсколько дней сряду умоляющимъ взоромъ; вы все день за день откладываете, и наконецъ отпускаете. Безъ меня начинается въ домѣ ералашъ: то не такъ, другое не по васъ; то кофей горекъ, то обѣдъ опоздалъ; то у васъ въ кабинетѣ не убрано, а если убрано, такъ на столѣ бумаги и книги не на томъ мѣстѣ, гдѣ имъ нужно. Вы начинаете выходить изъ себя, часто вздыхать, то бѣгать по комнатѣ, то останавливаться, разводить руками, говорить съ собой, начинаете прислушиваться, не идутъ ли, часто выбѣгать на крыльцо; а я нарочно промедлю дня два-три. Наконецъ ужъ вамъ не сидится, вы теряете терпѣніе и начинаете ходить по дорогѣ версты за двѣ отъ дому. Вотъ я ѣду. Сколько радости! Опять тихая, спокойная жизнь для васъ; въ вашихъ глазахъ только безконечная нѣжность. Но вотъ однажды, когда ваша нѣжность ужъ не знаетъ предѣловъ, я говорю вамъ со слезами: «милый папаша, мнѣ стыдно своихъ родныхъ, своихъ знакомыхъ, мнѣ стыдно людямъ въ глаза глядѣть. Я должна прятаться отъ всѣхъ, заживо похоронить себя, а я еще молода, мнѣ жить хочется. Прощай, милый папаша! Не нужно мнѣ никакихъ твоихъ сокровищъ. Я выхожу замужъ».

Далѣе предполагается ожесточенный споръ; Лыняевъ, повидимому, ставитъ на своемъ.

«Гдѣ же намъ спорить съ вами!—продолжаетъ Глафира:—только въ тотъ же день къ вечеру я незамѣтно исчезаю, и никто не знаетъ, то-есть никто не скажетъ вамъ, куда. Проходитъ день, другой, вы разсылаете по всѣмъ дорогамъ гонцовъ, сыщиковъ, сами мечетесь туда и сюда; теряете силы, аппетитъ, сходите съ ума. И вотъ за нѣсколько минутъ до того, когда вамъ уже дѣйствительно нужно помѣшаться, вамъ объявляютъ по секрету, гдѣ я скрываюсь. Вы бросаетесь ко мнѣ съ подарками, съ брильянтами, со слезами умоляете меня возвратиться,—я непреклонна. Вы плачете, я сама рыдаю! Я люблю васъ, мнѣ жаль съ вами разстаться, но я неумолима. Наконецъ я говорю вамъ: милый папаша, ты любишь холостую жизнь, ты не можешь жить иначе,—сдѣлаемъ вотъ что: обвѣнчаемся потихоньку, такъ что никто не будетъ знать; ты опять будешь вести холостую жизнь, все пойдетъ попрежнему, ничего не измѣнится, только я буду покойна, не буду страдать. Вы послѣ небольшого колебанія соглашаетесь. Но на другой же день откуда у меня

эта свѣтскость возьмется, эта лѣнь, эта медленность въ движеніяхъ! Откуда возьмутся эти роскошные туалеты. Оттопырится нижняя губка, явится повелительный тонъ, величественный жестъ. Какъ мила и нѣжна я буду съ посторонними и какъ строга съ вами. Какъ счастливы вы будете, когда дождетесь отъ меня милостиваго слова. Ужъ не буду я суетиться и бѣгать для васъ, и не будете вы папашей, а просто Мишель. (Говоритъ лѣниво.) «Мишель, сбѣгай, я забыла въ саду на скамейкѣ мой платокъ». И вы побѣжите»...

И это все развиваетъ передъ Лыняевымъ не какая-нибудь пожившая кокетка, а первой молодости неопытная барышня, только собирающаяся еще вкусить благъ жизни.

Но развѣ тутъ дѣло идетъ о любви?—спроситъ меня читатель въ недоумѣніи. Развѣ есть здѣсь хоть блѣдный намекъ на истинное чувство? Вѣдь это все отъ начала до конца одна фальшь, лицемѣріе, дьявольское кокетство съ единственною цѣлью завлечь въ свои сѣти богатаго жениха и поработить его своей власти?—Но объ истинной любви и рѣчи быть не можетъ среди женщинъ разсматриваемой категоріи, и та наука страсти нѣжной, о которой была у насъ выше рѣчь, заключается именно не въ чемъ иномъ, какъ въ особеннаго рода стратегіи, имѣющей цѣлью плѣнять сердца выгодныхъ покупателей. Дорогія вещи пріобрѣтаются цѣною злата, а не любви. Разъ женщина обращена въ болѣе или менѣе дорогую вещь,—отъ нея вовсе не ждутъ, чтобы она кого-либо полюбила, а просто-на-просто покупаютъ ее. И дѣвушки, сознавая все это, въ свою очередь, только и заботятся о томъ, какъ бы поскорѣе и выгоднѣе себя продать, и нисколько не скрываютъ этого, а прямо высказываютъ о своемъ желаніи, ни мало не конфузясь. Такъ, въ комедіи «Доходное мѣсто» мы читаемъ такой разговоръ между двумя сестрами:

Юленька. Нравится тебѣ твой женихъ, Василій Николаевичъ?

Полина. Ахъ, просто душка! А тебѣ твой Бѣлогубовъ?

Юленька. Нѣтъ, дрянь ужасная.

Полина. Зачѣмъ же ты маменькѣ не скажешь?

Юленька. Вотъ еще! Сохрани Господи! Я рада-радешенька хоть за него выйти, только бы изъ дому вырваться.

Полина. Да, правда твоя. Не попадись и мнѣ Василій Николаевичъ, кажется, рада бы первому встрѣчному на шею броситься; хоть бы плохонькій какой, только бы изъ бѣды выручилъ, изъ дому взялъ. (Смѣется.)

Въ свою очередь мать ихъ внушаетъ имъ прямо:

«Я вамъ дѣлаю модныя платья и разныя бездѣлушки, а для себя перешиваю да перекрашиваю изъ стараго. Не думаете ли вы, что я наряжаю васъ для вашего удовольствія, для франтовства? Такъ ошибаетесь. Все это дѣлается для того, чтобы выдать васъ замужъ, съ рукъ сбыть. По моему состоянію я васъ могла бы только въ ситцевыхъ да въ затрапезныхъ платьяхъ водить. Если не хотите или не умѣете себѣ найти жениха, такъ и будетъ. Я для васъ обрывать да обрѣзывать себя понапрасну не намѣрена».

Въ вышеприведенномъ разговорѣ двухъ сестеръ Полина, хотя и говоритъ вслѣдъ за сестрою, что, не будь Василія Николаевича, она рада бы первому встрѣчному на шею броситься, но все-таки она до нѣкоторой степени увлечена своимъ женихомъ, и поэтому и мать и сестра считаютъ ее легкомысленною дурочкой.

«Какъ бы не муракъ этотъ Жадовъ,—говоритъ мать,—такъ бы тебѣ вѣкъ горе мыкать, въ дѣвкахъ сидѣть за твое легкомысліе. Кто изъ умныхъ-то тебя возьметъ? Кому надо? Хвастаться тебѣ нечѣмъ, тутъ твоего ума ни на волосъ не было: ужъ нельзя сказать, что ты его приворожила—самъ набѣжалъ, самъ въ петлю лѣзетъ, никто его не тянулъ. А Юленька дѣвушка умная, должна своимъ умомъ себѣ счастіе составить»...

Такимъ образомъ уже въ той первобытной, дореформенной куплѣ-продажѣ женщинъ, какую мы видимъ въ комедіи «Доходное мѣсто», въ видѣ заурядной рутинной выдачи дочекъ замужъ, высшая школа женскаго искусства требовала отъ женщины отсутствія хотя бы

малѣйшаго увлеченія и страсти: умная дѣвушка, желающая продать себя выгоднѣе, и тогда уже, въ 50-хъ годахъ, должна была сохранять ледяное равнодушіе ко всѣмъ мужчинамъ безразлично и руководствоваться однимъ холоднымъ расчетомъ, и въ малѣйшемъ увлеченіи видѣть уже глупость.

Впослѣдствіи же, особенно въ 70-ые годы, купля-продажа получила значительно болѣе широкое развитіе; она перестала уже быть контрабандной торговлей втихомолку, въ семейныхъ уголкахъ, подъ благовидною маскою законнаго брака, а выступила на базаръ, сдѣлалась публичнымъ, даже аукціоннымъ торгомъ, безъ всякихъ масокъ и околичностей. Теперь стали уже смотрѣть какъ на глупость не только на страсть, увлеченіе, но и на желаніе со стороны нѣкоторыхъ старовѣрокъ продать себя не иначе, какъ въ формѣ законнаго брака. Почему не сдѣлаться и содержанкой, камеліей, если это оказывается выгоднѣе?

И вотъ является передъ нами новая героиня въ видѣ Лидіи Чебоксаровой, о которой была уже рѣчь выше; это уже мерзавка своей жизни чистокровная, самой высокой пробы. Это уже не простодушная Полинька, которая рада повѣситься на шею первому столоначальнику, лишь бы выйти замужъ. Лидія знаетъ себѣ цѣну и дешево продавать себя не намѣрена, и къ тому же она умѣетъ показать товаръ свой лицомъ. Такъ, когда мать объявляетъ ей, какъ мы выше видѣли, о грозящемъ имъ разореніи, она смущается лишь въ первую минуту, а потомъ сейчасъ же овладѣваетъ собою и на вопросъ матери: «но что же намъ дѣлать?» отвѣчаетъ хладнокровно:

Лидія. Что дѣлать? Не терять своего достоинства. Отдѣлывайте заново квартиру, покупайте новую карету, закажите новыя ливреи людямъ, берите новую мебель, и чѣмъ дороже, тѣмъ лучше.

Надежда Антоновна. Гдѣ же деньги?

Лидія. Онъ за все заплатитъ.

Надежда Антоновна. Кто онъ?

Лидія. Мужъ мой.

Надежда Антоновна. Кто твой мужъ, гдѣ онъ?

Лидія. Кто бы онъ ни былъ.

Надежда Антоновна. Не дѣлалъ ли кто тебѣ предложенія?

Лидія. Никто не дѣлалъ, никто не смѣлъ дѣлать; мои женихи отъ меня, кромѣ презрѣнія, ничего не видали. Я сама искала красавца съ состояніемъ, теперь мнѣ нужно только богатаго человѣка, а ихъ много.

Надежда Антоновна. Не ошибись въ своихъ разсчетахъ.

Лидія. Неужели красота потеряла свою цѣну? Нѣтъ, maman, не безпокойтесь! Красавицъ мало, а богатыхъ дураковъ много.

Простодушная Полинька при своемъ равнодушіи къ Бѣлогубову и даже отвращеніи отъ него все-таки считала нужнымъ притворяться влюбленной въ него, дѣлала ему глазки; Лидія же нисколько не стѣсняется открыто высказать человѣку, дѣлающему ей предложеніе, что она не любящая женщина, а продающаяся вещь.

Надежда Антоновна. Вотъ, Лидія, Савва Геннадичъ дѣлаетъ тебѣ предложеніе черезъ меня; онъ проситъ твоей руки. Хотя съ своей стороны я согласна и очень рада, но твоей воли я нисколько не стѣсняю.

Лидія. Въ такомъ дѣлѣ, разумѣется, я должна имѣть свою волю, и если бъ мнѣ кто-нибудь понравился, повѣрьте, maman, я скорѣе послушалась бы своего сердца, чѣмъ вашего совѣта. Но ко всѣмъ моимъ поклонникамъ я равнодушна одинаково: вы знаете, сколькимъ женихамъ я уже отказала; а выйти замужъ надо, пора ужъ, потому я и предоставляю себя въ полное ваше распоряженіе.

Васильковъ. Значитъ, вы меня не любите?

Лидія. Нѣтъ, не люблю. Зачѣмъ я буду васъ обманывать! Но мы съ вами послѣ объяснимся. Maman, вы беретесь устраивать мнѣ судьбу, помните, что вы же должны будете и отвѣчать за мое счастье.

Надежда Антоновна (Василькову). Слышите, мой другъ.

Васильковъ. Я очень жалѣю.

Лидія. О чемъ? Что я васъ не люблю?

Васильковъ. Нѣтъ, что я поторопился.

Лидія. Откажитесь, есть еще время. Должно быть, и съ вашей стороны любовь не очень сильна, когда вы такъ легко отъ меня отказываетесь. Не сердитесь, а благодарите меня, что я съ вами откровенна; притворяться ничего не стоитъ, но я не хочу этого. Всѣ невѣсты говорятъ, что влюблены въ своихъ жениховъ, но вы не вѣрьте имъ—любовь приходитъ послѣ. Отбросьте въ сторону самолюбіе и согласитесь. За что мнѣ было полюбить васъ? И лицо-то ваше не изъ красивыхъ, и имя неслыханное, и фамилія какая-то мѣщанская. Все это мелочи, къ этому можно привыкнуть, но не вдругъ. За что вы сердитесь? Вы меня любите, благодарю васъ. Заслужите мою любовь, и мы будемъ счастливы.

Нужно ко всему этому прибавить, что здѣсь совершенно особенный языкъ, на которомъ всѣ слова имѣютъ условное значеніе, не имѣя вообще ничего общаго съ тѣмъ значеніемъ, какое мы придаемъ этимъ словамъ. Такъ, подъ любовью подразумѣвается здѣсь ни болѣе ни менѣе какъ лишь ласковая улыбка и такъ называемая благосклонность, и заслужить такую любовь можно было Василькову лишь однимъ путемъ—открыть ей портмонэ, биткомъ набитый кредитными билетами, и предоставить ей пользоваться имъ безконтрольно. Но Васильковъ оказался не такимъ простофилей. Онъ былъ себѣ на умѣ и къ тому же кремень, въ родѣ Софьи Карловны, положившій себѣ за правило изъ разъ опредѣленнаго бюджета не выходить, хоть бы весь свѣтъ вокругъ него рушился. Онъ и посватался-то за Лидію не изъ одного увлеченія, а также и съ расчетомъ; «у меня,—говорилъ онъ,—особаго рода дѣла, и мнѣ именно нужно такую жену—блестящую и съ хорошимъ тономъ».

При такихъ условіяхъ Лидіи скоро пришлось разочароваться въ своемъ мужѣ; ей не только не удалось покорить его своей власти и овладѣть его кошелькомъ, а, напротивъ того, онъ сразу осадилъ ея безумное мотов-

ство, стараясь ввести ея расходы въ свой неизмѣнный бюджетъ. Тогда возмущенная Лидія рѣшилась разорвать съ мужемъ,—и вотъ начался открытый и нагло-циничный, чуть что не аукціонный торгъ: Лидія начала по очереди предлагать себя своимъ поклонникамъ съ тѣмъ, чтобы они выручили ее изъ затруднительнаго положенія и устроили ея жизнь. Просто-напросто она рѣшилась сдѣлаться камеліей, лишь бы жить съ прежнею роскошью и шикомъ, ни въ чемъ себѣ не отказывая. Но, когда всѣ поклонники ея оказались прокутившимися бонвиванами, у которыхъ въ карманѣ гулялъ вѣтеръ, она вновь обратилась къ своему мужу и вторично продалась ему, на условіяхъ весьма уже суровыхъ, которыя онъ предложилъ ей въ видахъ своихъ выгодъ и пользуясь ея отчаяннымъ положеніемъ. Дальше подобнаго открытаго торга трудно, повидимому, уже итти.

Но мерзавки своей жизни идутъ еще и далѣе. Когда вы покупаете дорогую вещь, вещь эта находится въ полномъ вашемъ распоряженіи, не питаетъ къ вамъ никакихъ враждебныхъ чувствъ. Ее могутъ украсть у васъ, но сама она не станетъ искать вора и не бросится въ его руки. Купленная же женщина, поступая въ разрядъ вещей, все-таки остается человѣкомъ, и какъ ни искажена въ ней человѣческая природа, она инстинктивно возмущается и протестуетъ противъ совершившагося акта закабаленія. Этотъ протестъ является въ видѣ непримиримой ненависти, которая развивается мало-по-малу въ купленной женщинѣ къ своему владѣльцу; ненависть же влечетъ за собою неудержимое стремленіе потѣшаться надъ своимъ властелиномъ и обманывать его на каждомъ шагу. Такъ въ драмѣ «Невольницы» Софья Сергѣевна Волкова, прошедшая всю школу женскаго рабства, учитъ свою неопытную подругу:

Софья. Женщина не только не всегда должна говорить правду, а никогда, никогда. Знай правду только про себя.

Евлалія. А другихъ обманывать?

Софья. Конечно обманывать, непремѣнно обманывать.

Евлалія. Да зачѣмъ же?

Софья. Вы только подумайте, какъ на насъ смотрятъ мужья и мужчины вообще. Они считаютъ насъ малодушными, вѣтреными, а, главное, хитрыми и лѣнивыми. Вѣдь ихъ не разубѣдишь; такъ зачѣмъ же намъ быть лучше того, что они о насъ думаютъ? Они считаютъ насъ хитрыми,—и надо быть хитрыми. Они считаютъ насъ лживыми,—и надо лгать. Они только такихъ женщинъ и знаютъ; имъ другихъ и не нужно, только съ такими они и умѣютъ жить.

Евлалія. Ахъ, что вы говорите!

Софья. Что жъ по вашему? Начать мужу доказывать, что я, молъ, хорошая, серьезная женщина, гораздо умнѣе тебя, и чувства у меня гораздо благороднѣе, чѣмъ у тебя. Ну, что жъ, доказывайте, а онъ будетъ улыбаться да думать про себя: «пой, матушка, пой! Знаемъ мы васъ; тебя на минуту безъ надзору оставить нельзя! Ну, утѣшительно это положеніе?

Евлалія. Да неужели это такъ?

Софья. Поживите, такъ увидите.

Евлалія. Но если мы лучше, такъ мы должны стать выше ихъ.

Софья. Да какъ вы станете, коли въ ихъ рукахъ власть, власть ужасная тѣмъ, что она опошляетъ все, къ чему ни коснется. Я говорю только про нашъ кругъ. Посмотрите, взгляните, что въ немъ. Посредственность, тупость, пошлость; и все это прикрыто, закрашено деньгами, гордостью, неприступностью, такъ что издали кажется чѣмъ-то крупнымъ, внушительнымъ. Наши мужья сами пошлы и ищутъ только пошлости и видятъ во всемъ только пошлость.

Преобладающимъ видомъ обмановъ, которыми тѣшатся жены-невольницы надъ своими властелинами, являются, конечно, измѣны. Но эти измѣны вовсе не имѣютъ здѣсь характера какого-нибудь рокового взрыва страсти, вслѣдствіе потребности любить и взаимною любовью согрѣть сердце, встрѣчающее вокругъ себя одинъ ледяной холодъ, освѣтить свою жизнь и наполнить ее. Ничего подобнаго и слѣда здѣсь нѣтъ... Замороженное чуть не съ пеленокъ сердце у такихъ женщинъ остается

все такъ же холодно и сухо: но тѣмъ не менѣе онѣ переходятъ отъ одного любовника къ другому, изъ моды, изъ подражанія или ради кокетства и чрезмѣрнаго развитія чувственности. И здѣсь мы видимъ въ своемъ родѣ прогрессъ: Уланбековы («Воспитанница») довольствовались своими же крѣпостными Гришками, у Гурмыжской («Лѣсъ») альфонсомъ является уже Булановъ, правда всего на все недоучившійся гимназистъ, но благородной крови и способный впослѣдствіи сдѣлаться членомъ земской управы. Софья Волкова играетъ въ свою упрощенную любовь уже съ столичными карьеристами, подающими самыя блестящія надежды.

Переходомъ отъ мерзавокъ къ патріоткамъ служатъ особеннаго рода женщины, въ сущности, склонныя къ роскоши и блеску, столь же наконецъ продажныя, но въ которыхъ вслѣдствіе какихъ-то невѣдомыхъ чудесныхъ причинъ уцѣлѣло сердце, и онѣ сохранили способность въ одинъ прекрасный день полюбить человѣка истинною и глубокою любовью. Таковы Вишневецкая («Доходное мѣсто»), Лариса Огудалова («Безприданница»), Бѣлесова («Богатыя невѣсты»), Настя («Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ»).

Судьба подобныхъ женщинъ, по большей части, бываетъ крайне драматична, если не трагична. Любовь, загорающаяся въ ихъ сердцѣ, не является живительною и отрадною весеннею грозою, не сулитъ имъ счастья, не возбуждаетъ въ нихъ горячей энергіи къ вступленію на новый спасительный путь жизни, а лишь пробуждаетъ въ нихъ позднее сознаніе загубленной жизни, озаряетъ мрачную и безвыходную бездну, на днѣ которой онѣ гибнутъ, окруженныя отвратительными чудовищами и гадами.

Такъ Вишневецкая, подъ вліяніемъ своей любви къ Любимову, пришла къ позднему сознанію всей безнравственной унизительности своего положенія.

Вишневецкая. Развѣ вы жену брали себѣ?—говоритъ она мужу:—вспомните, какъ вы за меня сватались. Когда вы были женихомъ, я не слыхала отъ васъ ни одного слова о семейной жизни; вы вели себя, какъ старый волокита, обольщающій молодыхъ дѣвушекъ подарками; смотрѣли на меня, какъ сатиръ. Вы видѣли мое отвращеніе къ вамъ, и несмотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моихъ родственниковъ, какъ покупаютъ невольницъ въ Турціи. Чего же вы отъ меня хотите?

Вишневецкій. Вы моя жена, не забывайте! и я въ правѣ всегда требовать отъ васъ исполненія вашего долга.

Вишневецкая. Да, вы свою покупку, не скажу, освятили—нѣтъ, а закрыли, замаскировали бракомъ. Иначе нельзя было: мои родные не согласились бы, а для васъ все равно. И потомъ, когда ужъ вы были моимъ мужемъ, вы не смотрѣли на меня, какъ на жену; вы покупали за деньги мои ласки. Если вы замѣчали во мнѣ отвращеніе къ вамъ, вы спѣшили ко мнѣ съ какимъ-нибудь подаркомъ и тогда уже подходили смѣло, съ полнымъ правомъ. Что же мнѣ было дѣлать?.. вы все-таки мой мужъ; я покорялась. О! перестанешь уважать себя. Каково испытывать чувство презрѣнія къ самой себѣ! Вотъ до чего вы довели меня! Но что со мной было потомъ, когда я узнала, что даже деньги, которыя вы мнѣ дарите, не ваши, что онѣ пріобрѣтены нечестно...

Съ такимъ же сердечнымъ сокрушеніемъ, подъ вліяніемъ своей любви къ Цыклунову, Бѣлесова осыпаетъ упреками своего опекуна Гнѣвышева, который, воспитавши ее въ своемъ домѣ, какъ сироту, развратилъ ее, сдѣлалъ своей содержанкой, и потомъ желаетъ отдѣлаться отъ нея, купивши ей какого-нибудь ничтожнаго мужа.

«Денегъ вы дадите, я знаю,—говоритъ она,—я въ этомъ не сомнѣваюсь; но гдѣ жъ у меня тѣ качества, которыя нужны, чтобъ быть хорошей женой? Какъ буду исполнять обязанности, о которыхъ я понятія не имѣю? Вы какъ меня воспитали? Вы взяли въ свой домъ, баловали и окружали роскошью бѣднаго ребенка, сироту. Все, что нужно для внѣшности, для умѣнья держать себя, я узнала въ подробности, а что честно и безчестно для женщины, вы отъ меня *скрывали*. Замужъ!.. замужъ!.. А что такое: мужъ, домъ, семья,

развѣ я знаю, развѣ вы мнѣ сказали? Ваша глупая жена всѣми силами старалась развивать во мнѣ гордость, мотовство, суетность; и какъ она радовалась своимъ успѣхамъ, нисколько не подозрѣвая, что она старается для васъ, что она дѣйствуетъ въ пользу вашихъ сластолюбивыхъ замысловъ. Послѣ такого воспитанія вамъ нетрудно было обольстить меня; вамъ стоило только сказать: «хочешь ты жить въ бѣдности или въ богатствѣ», и кончено... я ваша!

Но, какъ мы сказали выше, это страшное сознаніе той бездны, въ которую низвергнуты эти женщины силою обстоятельствъ и своей собственной нравственной несостоятельности, въ рѣдкихъ случаяхъ приводитъ къ какимъ-нибудь благимъ результатамъ. Одной только Бѣлесовой удалось выйти изъ этой бездны, и то благодаря только тому, что любимый ею человѣкъ, Цыклуновъ, другъ ея дѣтства, оказался настолько хорошимъ и сильнымъ духомъ человѣкомъ, что не постыдился ея позора, не усомнился въ ея раскаяніи, а мужественно подалъ ей руку спасенія и вывелъ ее на иной путь, добра и правды. Но вѣдь какое это рѣдкое исключеніе!.. Такое же рѣдкое, какъ и тѣ двѣсти тысячъ, зашитыя въ шинели Крутицкаго («Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ»), которыя внезапно свалились съ неба на голову Насти. Не случись этихъ двухсотъ тысячъ, что было бы съ Настей, избалованной и развращенной въ домѣ крестной матери, гдѣ только и дѣлали, что все о любви говорили, не привыкшею ни къ какому труду, стыдившеюся своей бѣдности?.. Несмотря на всю свою любовь къ ничтожному Баклушину, она шла уже въ нанятую для нея Разновѣсовымъ квартиру, шла съ ужасомъ и отвращеніемъ, и все-таки шла; «мнѣ хочется пожить получше», говорила она въ свое оправданіе.

Дѣло въ томъ, что бездна, о которой идетъ здѣсь рѣчь, слишкомъ глубока и крута, но вмѣстѣ съ тѣмъ и заманчива. Много нужно душевныхъ силъ, много воли, чтобы женщинамъ, дошедшимъ до мрачнаго сознанія

своего позора, самимъ, по собственной инициативѣ, выбраться наверхъ; между тѣмъ какъ жизнь, которую онѣ ведутъ, не только не развиваетъ и не закаляетъ ихъ душевныхъ силъ, а, напротивъ того, разслабляетъ и растлѣваетъ ихъ: изношенныя, безхарактерныя, малодушныя, онѣ не способны ни къ какому самостоятельному шагу, и потому загорѣвшаяся въ нихъ любовь приводитъ ихъ лишь къ безсильному отчаянію, къ тщетнымъ усиліямъ покончить съ собою самоубійствомъ, послѣ чего онѣ махаютъ на все рукою и стремятся забыться, еще болѣе погружаясь въ свою безпутную и пустую жизнь.

Къ этому же разряду женщинъ принадлежитъ и Александра Николаевна Нѣгина въ комедіи «Таланты и поклонники», но я выдѣлилъ ее, потому что мы видимъ здѣсь нѣкоторыя осложненія. Нѣгина не находится еще на днѣ пропасти, какъ вышеозначенныя женщины ея категоріи, она лишь скользитъ по ея краямъ. Она любитъ очень порядочнаго человѣка Мелузова, бѣднаго, но честнаго труженика, учителя своего, который стремится развить въ ней всѣ лучшіе человѣческіе инстинкты и повести ее по хорошей дорогѣ. Но на бѣду у дѣвушки непреоборимая страсть къ сценѣ, и она подвизается на сценѣ провинціальнаго театра, борясь съ мѣстными интригами и живя впроголодь, терпя вмѣстѣ съ своею матерью самую страшную нужду. И вдругъ у нея является поклонникъ въ видѣ милліонера Великатова, у котораго великолѣпная усадьба съ лебедями на прудѣ, и который предлагаетъ ей горы золотыя, мечтая такъ устроить ея жизнь: «въ моей усадьбѣ, въ моемъ роскошномъ дворцѣ, моихъ палатахъ есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная съ меня, рабски повинуется. Такъ проходитъ лѣто. Осенью мы съ очаровательной хозяйкой ѣдемъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ, она вступаетъ на сцену въ театрѣ, который совершенно зависитъ отъ меня, вступаетъ съ полнымъ бле-

скомъ; я наслаждаюсь и горжусь ея успѣхами. О дальнѣйшемъ я не мечтаю, поживемъ—увидимъ»...

Здѣсь женщину не другіе продаютъ, для того чтобы потомъ она очнулась; ей предлагаютъ на полный самостоятельный выборъ два противоположные пути.

Повидимому, ее влечетъ въ пропасть врожденная страсть къ сценѣ, какъ она сама говоритъ Мелузову: «ты ничего не понимаешь... и не хочешь меня понять. Вѣдь я—актриса; а вѣдь, по-твоему, нужно быть мнѣ героиней какой-то. Да развѣ всякая женщина можетъ быть героиней? Я—актриса... Если бы я вышла за тебя замужъ, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену, хотя за маленькое жалованье, да только бы на сценѣ быть. Развѣ я могу безъ театра жить?»

Но неужели, чтобы пробить себѣ дорогу талантливой актрисѣ, единственное средство сдѣлаться содержанкой? И неужели Мелузовъ сталъ бы препятствовать своей женѣ продолжать подвизаться на сценѣ? Въ томъ-то и дѣло, что подъ личиною служенія искусству скрывается здѣсь совсѣмъ другое, скрываются бѣлые лебеди на озерѣ Великатова. Въ концѣ-концовъ мы видимъ здѣсь продажу себя женщиною еще болѣе ужасную... Здѣсь продается не наивная дѣвушка, не знающая жизни и никого еще не любившая, и не перезрѣлая кокетка съ замороженнымъ сердцемъ, а любящая женщина сознательно измѣняетъ своей любви и съ честнаго пути сворачиваетъ на постыдный путь разврата, прикрываясь тѣмъ, что она этимъ служитъ своему таланту, святому искусству, и пуская въ ходъ такіе безнравственные софизмы: «Я не могу быть героиней, да и не хочу. Что жъ мнѣ быть укоромъ для другихъ? Ты, молъ, вотъ какая, а я вотъ какая... честная... Да другая, можетъ-быть, и не виновата совсѣмъ; мало ль какія обстоятельства, или родные... или тамъ обманомъ какимъ... А я буду укорять? Да сохрани меня, Господи!»

Каково общество и каковы нравы, среди которыхъ быть честной, непродажной женщиной и доброю матерью семейства представляется героизмомъ, и дѣвушка боится итти по этому пути, чтобы не выдѣлиться изъ общаго уровня и не быть укоромъ для другихъ!..

II.

Но довольно о мерзавкахъ. Пора намъ сколько нибудь освѣжиться отъ спертаго воздуха, которымъ до сихъ поръ дышали и вздохнуть полной грудью въ обществѣ патріотокъ своего отечества.

Здѣсь мы будемъ уже имѣть болѣе широкій и разнообразный выборъ, и придется намъ говорить о патріоткахъ уже не огуломъ, а раздѣливши ихъ на нѣсколько степеней, хотя необходимо впередъ оговориться, что это раздѣленіе на степени будетъ принадлежать намъ. Что же касается до Островскаго, то онъ, съ своей стороны, не дѣлаетъ ни малѣйшихъ предпочтеній одной изъ своихъ героинь передъ другой. Объективность его въ этомъ отношеніи можно уподобить солнцу, которое съ одинаковой любовью льетъ свой свѣтъ на маленькую былиночку, равно какъ и на роскошный дубъ и словно внушаетъ намъ, чтобы любуясь какою-нибудь victoria regia, о цвѣтеніи которой сообщаютъ въ газетахъ, мы не упускали изъ вида и незабудочки, маленькой, чуть видной изъ травы, но которая имѣетъ свою неотъемлемую прелесть.

Съ незабудочекъ-то мы и начнемъ. Здѣсь на первомъ планѣ рисуются намъ простенькія, безхитростныя, кроткія русскія дѣвушки, съ честною, прямою натурою и нѣжнымъ, привязчивымъ сердцемъ.

Всѣ мечты ихъ исчерпываются тѣмъ, чтобы глубоко и беззавѣтно привязаться на всю свою жизнь къ избраннику своего сердца и свить тепленькое гнѣздышко

для милыхъ дѣтушекъ. Разъ имъ это удастся, и мечты окажутся осуществленными, онѣ будутъ считать себя счастливѣйшими смертными. Пороха онѣ не выдумаютъ, съ неба звѣздъ не хватаютъ, никакого особеннаго геройства отъ нихъ вы не дождетесь, но матери и хозяйки изъ нихъ выходятъ отличныя, а главное дѣло—въ ихъ сердцѣ много тепла, любви и участья.

Но для того, чтобы подобнаго рода простенькій, элементарный, чисто зоологическій идеалъ ихъ жизни былъ осуществимъ, необходимо, чтобы обстоятельства сложились для нихъ вполнѣ благопріятно, чтобы родители не воспрепятствовали имъ выйти замужъ за избранника своего сердца, чтобы избранникъ сердца оказался человѣкомъ хоть сколько-нибудь порядочнымъ, чтобы дальнѣйшая жизнь ихъ была хоть сколько нибудь обезпечена.

Все это должно прійти къ ихъ услугамъ само собою; сами же онѣ не способны ни къ малѣйшему самостоятельному шагу ни къ малѣйшимъ сопротивленіямъ, усиліямъ, борьбѣ для завоеванія своего счастья. Онѣ созданы для того, чтобы беззавѣтно подчиняться, видя въ этомъ не только свой удѣлъ, но и священный долгъ, положенный свыше.

Наиболѣе ярко и точно рисуется передъ нами подобнаго рода архаическій, допетровскій типъ русской женщины въ образѣ Любови Гордѣевны въ комедіи «Бѣдность не порокъ». Дочь богатѣйшаго въ городѣ купца тысячника, полюбила она бѣднѣйшаго и ничтожнѣйшаго приказчика своего отца,—Митю. Полюбила она его не за какія-нибудь выдающіяся достоинства или эффектныя качества, привлекающія женщинъ, а просто потому, что пришла пора любить, и сердце ея начало искать, къ кому бы привязаться. И вотъ, сама тихая и сиротливая, она избрала такого же парня, совершенно по себѣ. «Парень-то хорошій,—говорила она:—больно ужъ онъ мнѣ по сердцу, такой тихій и сиротливый».

Но разница между нею, дочерью надменнаго Гордѣя Карпыча, и Митею была такъ велика, что она и помышлять не смѣла о возможности соединиться со своимъ милымъ, и потому въ самомъ разгарѣ своей страсти, едва открывшись въ любви своему возлюбленному, она уже говорила съ тоскою и надорваннымъ сердцемъ: «Что наша любовь? Какъ былинка въ полѣ, не расцвѣтетъ путемъ—да и поблекнетъ!»...

И обстоятельства, дѣйствительно, оправдывали горькое раздумье Любови Гордѣевны: вмѣсто тихаго и сиротливаго Мити непреклонный родитель вздумалъ сватать ее за злого и жаднаго Коршунова, сгубившаго уже двухъ женъ.

И поникла головою молодая дѣвушка, готовая покориться судьбѣ безъ малѣйшаго сопротивленія.

Когда же Митя, прощаясь на вѣки съ нею, вздумалъ предложить ей бѣжать съ нимъ изъ родительскаго дома, Любовь Гордѣевна пришла въ ужасъ передъ такимъ рѣшительнымъ шагомъ.

—Да какъ же безъ отцовскаго-то благословенія? Ну, какъ же, ты самъ посуди?—возразила она, и затѣмъ рѣшила тотчасъ же безъ малѣйшихъ колебаній:

—Нѣтъ, Митя, не бывать этому! Не томи себя понапрасну, перестань! Не надрывай мою душу! И такъ мое сердце все изныло во мнѣ. Поѣзжай съ Богомъ. Прощай!

Митя. За что жъ ты меня обманывала, надо мной издѣвалась?

Любовь Гордѣевна. Полно, ты, Митя. Что мнѣ тебя обманывать, зачѣмъ? Я тебя полюбила, такъ сама же тебѣ сказала. А теперь изъ воли родительской мнѣ выходить не должно. На то есть воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Должна я ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено изстари. Не хочу я супротивъ отца итти, чтобъ про меня люди не говорили, да въ примѣръ не ставили. Хотя я, можетъ-быть, сердце свое надорвала черезъ это, да по крайности я знаю, что я по закону живу, никто мнѣ въ глаза посмѣяться не смѣетъ. Прощай»!..

Но совершенно напрасно было бы въ этихъ словахъ Любови Гордѣевны видѣть малодушное безволье, забитость и запуганность дѣвушки, подавленной семейнымъ самодурствомъ. Она дѣйствуетъ въ настоящемъ случаѣ по принципу, по твердому убѣжденію, что свыше положено и вѣками утверждено, чтобы дѣвушка покорялась своей судьбѣ и родительской волѣ, такъ и быть должно. Думай она иначе, у нея и хватило бы, можетъ-быть, мужества уѣхать съ Митей, но она считаетъ это величайшимъ грѣхомъ и рѣшается пожертвовать своею любовью и счастьемъ всей жизни, чтобы остаться вѣрною закону, чтобы никто надъ нею не насмѣялся, какъ надъ беззаконницей. Едва ушелъ Митя навсегда, она на горькія сѣтованія матери отвѣчала съ тѣмъ мужествомъ, съ какимъ люди идутъ на казнь за свою идею:—Ну, маменька; что тамъ и думать, чего нельзя, только себя мучить.

И она мало того, что покорилась своей судьбѣ съ тою же непреклонною рѣшимостью, съ какою разсталась съ Митею, но будь Коршуновъ не Коршуновъ, а сколько-нибудь сносный человѣкъ, она скоро свыклась бы со своею долею и даже къ мужу своему привязалась бы, не такъ бы страстно, какъ къ Митѣ, но все-таки настолько, чтобы быть доброю и нѣжною женой. Подобнаго рода женщины ищутъ въ любви не столько пылкихъ наслажденій, сколько соблюденія того семейнаго культа, для котораго онѣ видятъ себя предназначенными, и если дубъ твердъ и представляетъ мужественную опору, то не все ли равно, одинъ дубъ или другой,—онѣ съ одинаковою цѣпкостью обвиваются вокругъ него и свиваютъ на немъ свое тепленькое гнѣздышко... Вотъ про такихъ-то именно женщинъ и сложена пресловутая поговорка: «стерпится—слюбится».

Далѣе затѣмъ слѣдуютъ женщины, принадлежащія, въ сущности, къ тому же зоологическому типу: точно

такъ же все свое призваніе и счастье онѣ полагаютъ въ любви и свиваніи теплаго гнѣздышка; точно такъ же честно и беззавѣтно отдаются онѣ влеченію своего сердца, безъ всякаго своекорыстнаго расчета или какихъ-нибудь заднихъ мыслей. Но мы не замѣчаемъ въ нихъ того обезличенія, какое видѣли въ Любови Гордѣевнѣ. Здѣсь мы видимъ зародышъ личной самостоятельности и иниціативы. Такія женщины влюбляются уже не въ перваго встрѣчнаго парня, чтобы отдаться ему беззавѣтно, не входя въ какой бы то ни было анализъ качествъ мужа, лишь бы только горшокъ щей стоялъ въ печи да дѣти качались въ колыбели. Имъ недостаточно, однимъ словомъ, чтобы избранникъ ихъ сердца былъ только мужчина; онѣ ищутъ героя, который хоть чѣмъ-нибудь выдавался бы изъ окружающаго ихъ уровня.

Такова, напримѣръ, Авдотья Максимовна Русакова: она ближе всего подходитъ къ Любови Гордѣевнѣ и вообще къ зоологическому типу. О ней и отецъ ея говоритъ: «пусти ее къ лютымъ звѣрямъ, и тѣ ее не тронутъ: у нея въ глазахъ-то только любовь да кротость; она будетъ любить всякаго мужа, надо найти ей такого, чтобы ее-то любилъ, да могъ бы понять, что это за душа... душа у нея русская...»

Слова Русакова, повидимому, совершенно оправдываются: подобно Любови Гордѣевнѣ, Авдотья Максимовна полюбила тоже въ своемъ родѣ тихаго и сиротливаго парня Бородкина, съ которымъ вдвоемъ она и осенніе, темные вечера у окошечка просиживала, и въ сѣняхъ встрѣчалась въ сумеречкахъ, и, накинувши шубку на плечики, у калитки его дожидалася; былъ онъ и Ванечка и дружокъ; но вдругъ явился отставной гусарчикъ Вихоревъ, красивый, ловкій, съ усами колечкомъ и сладкими рѣчами,—и у Авдотьи Максимовны головка пошла кругомъ.

Что руководило ею въ предпочтеніи честному и ве-

ликодушному Бородкину такого пустого, ничтожнаго и дрянного вертопраха, какимъ оказался Вихоревъ? Конечно, тутъ играло свою роль незнаніе людей и жизни, но болѣе всего дѣйствовалъ женскій инстинктъ: Вихоревъ, съ внѣшнимъ лоскомъ образованности, ловкими манерами и вкрадчивыми рѣчами, сразу покорилъ сердце дѣвушки, какъ нѣчто совершенно выдающееся изъ всей окружающей и пріѣвшейся ей дѣйствительности, какъ герой иного, чуждаго ей міра, рисовавшагося обольстительными красками въ ея дѣвичьихъ грезахъ.

— Увидала я его,—разсказываетъ она,—у Анны Антоновны, на прошлой недѣлѣ... Сидимъ это мы съ ней, пьемъ чай, вдругъ онъ входитъ... Какъ увидала я этакаго красавца, такъ у меня сердце и упало; ну, думаю, быть бѣдѣ. А онъ, какъ нарочно, такой ласковый, такія рѣчи говоритъ... что же мнѣ дѣлать-то! На грѣхъ я его увидѣла! Такъ вотъ съ тѣхъ поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его вижу. Словно я къ нему привороженная какая... (*Сидитъ задумавшись*). И нѣтъ мнѣ никакой радости!.. Прежде я веселилась, дѣвка, какъ птичка порхала, а теперь сижу вотъ какъ къ смерти приговоренная: не веселитъ меня ничто, не глядѣла бы я ни на кого. Ужъ и что я, бѣдная, въ эти дни слезъ пролила!.. Вѣдь надо жъ быть такой бѣдѣ!..

Любовь налетаетъ, такимъ образомъ, на подобнаго рода дѣвушекъ, какъ гроза, смерчъ, какъ приворотная болѣзнь, которой онѣ и сами не рады, но превозмочь онѣ ея не могутъ и отдаются ей всецѣло, несмотря ни на что и забывая все на свѣтѣ. Онѣ готовы бываютъ убѣжать со своимъ милымъ, выйти за него замужъ помимо воли родителей, но тѣмъ не менѣе смотрятъ на это какъ на тяжкій грѣхъ, за который ждутъ наказанія.

Такъ, Авдотья Максимовна, когда Вихоревъ предложилъ ей увезти ее, пришла въ ужасъ. Она такъ испугалась страшнаго предложенія Вихорева, что, по ея словамъ, насилу до дому добѣжала. Тѣмъ не менѣе, когда Вихоревъ увезъ ее, она говорила ему въ экстазѣ:

«Ненаглядный ты мой, радость, жизнь моя! Куда хочешь съ тобой! Никого я теперь не боюсь и никого мнѣ не жалко. Такъ бы вотъ и улетѣла съ тобой куда-нибудь»!—И рядомъ съ этимъ, все-таки, умоляла Вихорева вернуться къ тятенькѣ.

Еще болѣе рѣзкій примѣръ подобныхъ же колебаній между страстью и тятенькиною волею мы видимъ въ Дашѣ, въ драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется».

Повидимому, она не Авдотьѣ Максимовнѣ чета. Ея хватило не только на то, чтобы влюбиться въ пріѣзжаго купчика и бѣжать съ нимъ въ Москву, но—и бросить мужа, когда онъ разлюбилъ ее.

Но безъ малѣйшаго сопротивленія допустила она своимъ родителямъ везти ее обратно къ мужу и съ сокрушеніемъ сердца согласилась съ отцомъ, когда тотъ началъ доказывать ей, что она терпитъ наказаніе за совершонное ею преступленіе.

— Викторъ Аркадьевичъ!—восклицала она,—я съ вами и въ огонь и въ воду готова, только пустите меня къ тятенькѣ!

— Ты сама права что ль?—говорилъ старикъ.—Дѣло сдѣлала, что насъ со старухой бросила? Говори, дѣло сдѣлала? Такъ это и надо? Такъ это по закону и слѣдуетъ? Врагъ васъ обуялъ! Вы точно какъ не люди! Вотъ ты и терпи и терпи! Да наказанье-то съ кротостью принимай да съ благодарностью...

И Даша въ отвѣтъ на эти рѣчи только и была въ состояніи броситься на шею отца съ восклицаніемъ:—«батюшка!..»

Но, при всѣхъ колебаніяхъ между свободою страсти и родительскимъ произволомъ, женщины подобнаго рода отличаются отъ Любови Гордѣевны тѣмъ, что не могутъ выносить насилія и какого бы то ни было гнета надъ ними. Онѣ не въ состояніи бываютъ покориться навязываемой имъ долѣ и, помирившись съ нею, начать свивать свое семейное гнѣздышко съ немилымъ человѣкомъ.

Къ нимъ, однимъ словомъ, не подходитъ уже поговорка: «стерпится—слюбится». Неволя и принужденіе сразу ожесточаютъ ихъ, на нихъ находитъ отчаянность, и тутъ онѣ забываютъ всѣ свои принципы и правила и даже женскій стыдъ, готовы бываютъ, очертя голову, на самый рискованный шагъ, а тамъ хоть и въ Волгу.

Такова Надя въ комедіи «Воспитанница». Пока жизнь ея текла ровною и свободною струею, никто ее не притѣснялъ и не неволилъ, барыня принимала въ ней участіе, воспитывала ее, какъ свою дочку, и ласкала,—Надя видѣла въ себѣ человѣка не чужого въ домѣ, у нея были строгія правила, и она мечтала, какъ мечтаютъ и всѣ подобныя ей дѣвушки, о заурядномъ женскомъ счастіи: «У меня,—говорила она,—теперь только одна и надежда выйти за хорошаго человѣка, чтобы мнѣ быть полной хозяйкой. Посмотри тогда, какой я порядокъ въ домѣ заведу; у меня не хуже будетъ, чѣмъ у дворянки какой-нибудь».

Въ то же время объ ухаживаніи за нею барина она говорила: «Напрасно онъ ухаживаетъ. Что жъ, конечно, онъ мальчикъ хорошенькій, даже, можно сказать, красавецъ; только отъ меня ему ничего не дождаться; потому что я совсѣмъ не такихъ правилъ, и, напротивъ того, теперь всячески стараюсь, чтобы про меня никакого дурного разговору не было. У меня только одно на умѣ, что выйти замужъ».

Но совсѣмъ инымъ духомъ преисполнилась она, когда увидѣла себя подъ гнетомъ черстваго, лицемѣрнаго и безчеловѣчнаго самодурства Уланбековой.

«Пока она баловала меня да ласкала,—говорила она теперь Лизѣ,—такъ я думала, что я такой же человѣкъ, какъ и всѣ люди; и мысли у меня совсѣмъ другія были объ жизни. А какъ она начала мной командовать, какъ куклой, да какъ увидѣла я, что никакой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ, такъ отчаянность на меня, Лиза, нашла. Куда страхъ, куда стыдъ дѣвался—не знаю. Хоть день, да мой, думаю, а тамъ

что будетъ, ничего я и знать не хочу! Хоть меня замужъ отдавай за пастуха, хоть въ какой замокъ за тридесять замковъ запри—мнѣ все равно»!

Буквально къ той же самой категоріи женщинъ, колеблющихся, нерѣшительныхъ, боящихся всякихъ каръ, когда дѣло идетъ объ ихъ счастьи, и приходящихъ въ отчаянность, когда всѣ пути имъ закрыты, принадлежитъ и Катерина въ «Грозѣ». Если она отличается чѣмъ-нибудь отъ Авдотьи Максимовны, Даши и Нади, то развѣ тѣмъ лишь, что обладаетъ отъ природы художественною натурою и ультрарелигіознымъ воспитаніемъ. Но эти два обстоятельства не только не ведутъ къ какому-либо существенному отличію Катерины отъ вышеупомянутыхъ героинь, а, напротивъ того, усугубляютъ всѣ тѣ качества, которыми героини эти отличаются: качества эти являются у Катерины интенсивнѣе, рѣзче, вслѣдствіе чего она, какъ будто, и выдѣляется изъ уровня подобныхъ ей женщинъ, между тѣмъ какъ въ сущности является вполнѣ съ ними тождественною.

По своему ультрарелигіозному воспитанію Катерина во многомъ напоминаетъ тургеневскую Лизу въ «Дворянскомъ гнѣздѣ».

Дѣтство она провела на полной свободѣ.

«Я жила,—разсказываетъ она,—ни объ чемъ не тужила, точно птичка на волѣ. Маменька во мнѣ души не чаяла, наряжала меня, какъ куклу, работать не принуждала, что хочу, бывало, то и дѣлаю. Знаешь, какъ я жила въ дѣвушкахъ? Вотъ я тебѣ сейчасъ разскажу. Встану я, бывало, рано; коли лѣтомъ, такъ схожу на ключикъ, умоюсь, принесу съ собой водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью. У меня цвѣтовъ было много, много. Потомъ пойдемъ съ маменькой въ церковь, всѣ и странницы—у насъ полонъ домъ былъ странницъ да богомолокъ. А придемъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работу, больше по бархату золотомъ, а странницы станутъ разсказывать: гдѣ онѣ были, что видѣли, житія разныя, либо стихи поютъ. Такъ до обѣда время и пройдетъ. Тутъ старухи уснуть лягутъ, а я по

саду гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вчеромъ опять разсказы да пѣніе. Таково хорошо было!.. И до смерти я любила въ церковь ходить! Точно, бывало, я въ рай войду, и не вижу никого, и время не помню, и не слышу, когда служба кончится. Точно, какъ все это въ одну секунду было. Маменька говорила, что всѣ, бывало, смотрятъ на меня, что со мной дѣлается!.. А то, бывало, дѣвушка, ночью встану— у насъ тоже вездѣ лампадки горятъ—да гдѣ-нибудь въ уголкѣ и молюсь до утра. И рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходитъ, упаду на колѣни, молюсь и плачу, и сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; тамъ меня и найдутъ. И объ чемъ я молилась тогда, чего просила—не знаю; ничего мнѣ не надобно, всего у меня довольно».

Крайне впечатлительная, нервная, вѣчно экзальтированная, со своими чисто горячечными грезами и чуть что не галлюцинаціями, Катерина была до послѣдней степени пуглива и вѣчно подъ гнетомъ какого-нибудь ужаса, вѣроятно подъ вліяніемъ тѣхъ суевѣрныхъ разсказовъ странницъ и богомолокъ, которые она ежедневно слушала въ дѣтствѣ... Пройдетъ по улицѣ сумасшедшая барыня, грозя всѣмъ палкой и геенной огненной, и Катерина вся уже дрожитъ, и сердце у нея упало; послышится громъ вдалекѣ—и новые страхи.

Но въ случаѣ обиды или какого-нибудь притѣсненія Катерина, подобно Надѣ, подвержена той же отчаянности, и тогда куда страхъ дѣвается:

«Я еще лѣтъ шести была, не больше,—разсказываетъ она,—такъ что сдѣлала! Обидѣли меня чѣмъ-то дома, а дѣло было къ вечеру, ужъ темно, я выбѣжала на Волгу, сѣла въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужъ нашли, верстъ за десять!.»

Парни поглядывали на нее, но она никого не любила, а только смѣялась надъ ними. Не любя, вышла она и замужъ за Тихона; ее, вѣроятно, просто выдали за него, а она не сопротивлялась, потому что онъ былъ ей не противенъ, и она его жалѣла.

Но потомъ, подъ гнетомъ тяжкаго семейнаго деспо-

тизма и вѣчныхъ попрековъ свекрови, она ожесточилась; мужъ, оказавшійся тряпкою, неспособный защитить ее, сдѣлался ей противенъ, и она влюбилась въ Бориса, который, какъ и Вихоревъ въ глазахъ Авдотьи Максимовны, казался Катеринѣ героемъ, рѣзко выдѣляющимся изъ всего ее окружающаго, человѣкомъ иного, волшебнаго міра.

И вотъ начались тѣ же самыя колебанія, какія мы видимъ и у Авдотьи Максимовны, только еще болѣе рѣзкія и характерныя вслѣдствіе впечатлительности Катерины и ея религіозной экзальтаціи. Подобно Авдотьѣ Максимовнѣ, Катерина смотритъ на свою страсть къ Борису, какъ на бѣсовское наважденіе, порчу, отъ которой она и рада бы избавиться, да не можетъ:

Катерина. Не говори мнѣ про него, сдѣлай милость, не говори! Я буду мужа любить. Тиша, голубчикъ мой, ни на кого я тебя не промѣняю! Я и думать-то не хотѣла, а ты меня смущаешь.

Варвара. Да не думай, кто жъ тебя заставляетъ?

Катерина. Не жалѣешь ты меня ничего! Говоришь: не думай, а сама напоминаешь. Развѣ я хочу о немъ думать; да что дѣлать, коли изъ головы нейдетъ? Объ чемъ ни задумаю, а онъ такъ и стоитъ передъ глазами. И хочу себя переломить, да не могу никакъ. Знаешь ли ты, меня нынче ночью опять врагъ смущалъ. Вѣдь я было изъ дому ушла.

На словахъ она очень храбрится:

„Что мнѣ только захочется—говоритъ—то и сдѣлаю, уйду и была такова. Эхъ, Варя, не знаешь ты моего характера. Конечно, не дай Богъ этому случиться. А ужъ коли очень мнѣ здѣсь опостылѣетъ, такъ не удержать меня никакой силой. Въ окно выброшусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рѣжь“.

А сама, когда мужъ ея уѣзжаетъ, требуетъ, чтобы онъ взялъ съ нея какую-нибудь страшную клятву.

«Какую клятву?—спрашиваетъ онъ въ недоумѣніи.

Катерина. Вотъ какую: чтобъ не смѣла я безъ тебя

ни подъ какимъ видомъ ни говорить съ кѣмъ чужимъ, ни видѣться, чтобы и думать ни о комъ, кромѣ тебя.

Кабановъ. Да на что жъ это?

Катерина. Успокой ты мою душу, сдѣлай такую милость для меня.

Кабановъ. Какъ можно за себя ручаться, мало ли что можетъ въ голову прійти.

Катерина (*падая на колѣни*). Чтобъ не видѣть мнѣ ни отца ни матери. Умереть мнѣ безъ покаянія, если я...

Кабановъ (*поднимая ее*). Что ты! Что ты! Какой грѣхъ-то! Я и слышать не хочу!

И когда мужъ уѣхалъ, Катерина, конечно, ни за что сама не рѣшилась бы на рискованный шагъ свиданія съ Борисомъ, совершенно подобно тому, какъ Авдотья Максимовна не позволила бы Вихореву увезти ее, и роль Варвары въ «Грозѣ», какъ подстрекательницы, совершенно уподобляется роли Арины Ѳедотовны въ комедіи «Не въ свои сани не садись».

Но вотъ роковой шагъ былъ сдѣланъ, Катерина отдалась Борису, и затѣмъ была совершенно подавлена сознаніемъ своего беззаконія. Куда дѣлась прежняя храбрость на словахъ, когда она говорила, что все, что только ей захочется, то она и сдѣлаетъ. Когда же пріѣхалъ мужъ, она окончательно растерялась, сдѣлалась сама не своя: «дрожитъ вся,—разсказывала о ней Варвара,—точно ее лихорадка бьетъ, блѣдная такая, мечется по дому, точно чего ищетъ. Глаза какъ у помѣшанной! Давеча утромъ плакать принялась, такъ и рыдаетъ. На мужа не смѣетъ глазъ поднять. Маменька замѣчать стала, ходитъ да все на нее косится, такъ змѣей и смотритъ; а она отъ этого еще хуже. Просто мука глядѣть-то на нее!..»

При такомъ сокрушенномъ и растерянномъ состояніи духа понятно, что стоило явиться сумасшедшей барынѣ со своими угрозами геенной огненной, да раздаться громовому удару, да увидѣть Катеринѣ на стѣнѣ изобра-

женіе страшнаго суда, чтобы при всемъ народѣ броситься въ ноги мужу и свекрови и покаяться.

Не будь Кабановой съ ея неумолимымъ и безжалостнымъ тиранствомъ, этою экзальтированною сценою и кончилась бы драма Катерины: Борисъ уѣхалъ бы, мужъ простилъ бы свою преступную жену, они помирились бы, и все вошло бы въ свое русло, подобно тому, какъ Авдотья Максимовна воротилась подъ защиту и покровительство своего прежняго любезнаго Бородкина, или Даша къ своему раскаявшемуся въ своемъ безпутствѣ мужу. Но Кабанова, усугубивши свое преслѣдованіе невѣстки, скоро доводитъ ее до той же отчаянности, какую мы видимъ и въ Надѣ.

Правда, передъ своимъ паденіемъ въ Волгу, Катерина, прощаясь съ Борисомъ, какъ будто отваживается на шагъ еще болѣе рѣшительный и не столь малодушный, какъ самоубійство: она проситъ Бориса взять ее съ собою. Но, повидимому, это были одни жалкія слова, которымъ и сама Катерина не придавала большого значенія, отлично зная, что Борису невозможно взять ее съ собою; она не стала даже и настаивать на своей просьбѣ. Весьма даже вѣроятно, что будь на мѣстѣ разунылаго Бориса разудалый Кудряшъ и согласись онъ увезти Катерину, она сейчасъ бы на попятный дворъ, совершенно подобно Авдотьѣ Максимовнѣ, и наговорила бы массу очень красивыхъ и чувствительныхъ словъ въ доказательство того, что съ милымъ она готова въ огонь и въ воду, но и постылаго Тихона оставить ей нельзя, и кончилось бы дѣло все тою же Волгою.

Вотъ другое дѣло—Варвара. Мнѣ кажется, что Островскій едва ли не сознательно вывелъ ее въ контрастъ Катеринѣ, и контрастъ этотъ провелъ по всей драмѣ. Но Варвара ведетъ уже насъ въ новую категорію женщинъ Островскаго, которою мы и займемся.

Теперь мы будемъ имѣть дѣло съ женщинами, кото-

рыя въ общежитіи называются своевольными, а народъ называетъ ихъ бой-дѣвка, бой-баба. Женщины этой категоріи уже не вѣшаютъ головы при первой неудачѣ въ жизни, не отдаются пассивно опредѣленію судьбы или волѣ старшихъ; онѣ стремятся самостоятельно и независимо устроить свою судьбу и при своемъ умѣ, ловкости и находчивости всегда успѣваютъ въ этомъ, выходя замужъ непремѣнно за того, кого сами избираютъ; въ дѣвичествѣ это огневыя и бѣдовыя дѣвушки, съ которыми родители никакъ не могутъ совладать; въ замужествѣ—энергическія и неусыпныя хозяйки, держащія обыкновенно въ ежевыхъ рукахъ весь домъ, не исключая своего благовѣрнаго. Старуха Кабанова въ молодости своей навѣрное принадлежала къ этому типу, и Варвара родилась вся въ нее.

Варвара—прежде всего натура глубоко реальная, чѣмъ она и отличается радикально отъ Катерины; никакихъ не знаетъ она нервныхъ экзальтацій, страховъ: ни сумасшедшая старуха со своими угрозами ни громы небесные нисколько ее не смущаютъ. Она и говоритъ-то въ пьесѣ мало, ратоборствовать и высказываться—не въ ея натурѣ; она больше дѣйствуетъ, и посмотрите, какъ энергично: помогаетъ Катеринѣ видаться съ ея любезнымъ, не забывая при этомъ и себя.

Ее обвиняли въ рабской лживости и притворствѣ и ставили ей въ примѣръ Катерину, какъ образецъ прямой и честной натуры. Но лживость и притворство вовсе не представляютъ природныхъ свойствъ Варвары; вѣдь не лжетъ же она и не притворяется ни передъ Катериною ни передъ Кудряшомъ. Это болѣе ничего съ ея стороны, какъ лишь система дѣйствій по отношенію къ одной Кабановой. Когда Катерина говоритъ, что она обманывать не умѣетъ и скрыть ничего не можетъ, Варвара отвѣчаетъ ей на это: «Ну, а вѣдь безъ этого нельзя; ты вспомни, гдѣ ты живешь! У насъ весь домъ на томъ

держится. И я не обманщица была, да выучилась, когда нужно стало».

И еще: «Что за охота сохнуть-то,—говоритъ Варвара въ другомъ мѣстѣ,—хоть умирай съ тоски, пожалѣютъ что ль тебя? Какъ же, дожидайся. Такъ какая же неволя себя мучить-то!»

Варвара въ этомъ отношеніи представляетъ тотъ переходъ къ дѣвушкамъ разсматриваемой нами категоріи, при которомъ у подобныхъ дѣвушекъ не хватаетъ еще мужества открыто заявлять свою волю, да и трудно это было бы передъ Кабановой, но это не мѣшаетъ имъ устраивать свою жизнь самостоятельно и по своему, хотя бы и за глазами у старшихъ.

Обратите, между прочимъ, вниманіе и на выборъ Варвары. Это уже не тихій и сиротливый парень въ родѣ Гриши, и не человѣкъ, поражающій воображеніе женщины однимъ внѣшнимъ лоскомъ образованности при полной внутренней несостоятельности, каковы Вихоревъ или Борисъ. Варвара полюбила Кудряша, найдя въ немъ внутреннее, психическое соотвѣтствіе со своею натурою. Стоитъ припомнить первую сцену драмы, діалогъ Кудряша съ Шапкинымъ, чтобы понять, за что Кудряшъ могъ полюбиться Варварѣ; однимъ словомъ, сама удалая, она полюбила и парня еще болѣе удалого, который не робѣлъ и не молчалъ передъ Дикимъ, подобно Борису:

—Я грубіянъ считаюсь,—говоритъ онъ Шапкину,—за что же онъ меня держитъ? Стало-быть, я ему нуженъ. Ну, значитъ, я его и не боюсь, а пущай онъ меня боится.

Шапкинъ. Ужъ будто онъ тебя и не ругаетъ?

Кудряшъ. Какъ не ругать! Онъ безъ этого дышать не можетъ. Да не спускаю и я: онъ—слово, а я—десять; плюнетъ—да и пойдетъ. Нѣтъ, ужъ я передъ нимъ рабствовать не стану.

И вотъ въ то время, когда разунылый Борисъ былъ усланъ свирѣпымъ дядюшкой въ Сибирь, а разочарованная Катерина пошла искать правды и утѣшенія въ

волнахъ Волги, одна Варвара устроилась благополучно и завоевала то самое счастье, котораго добивалась: она убѣжала съ Кудряшомъ.

Къ числу такихъ же разбитныхъ и разудалыхъ дѣвушекъ, какъ Варвара, принадлежитъ Груша въ драмѣ «Не такъ живи, какъ хочется». Она вся такъ и дышитъ жаждою свободы и веселаго разгула:

«Какъ же, охота мнѣ замужъ!—говоритъ она матери,—по тѣхъ поръ и погулять, пока въ дѣвкахъ. Еще замужемъ-то наживуся! Гуляй, дѣвка, гуляй я! Замужемъ-то жить трудно! Угождай мужу, да еще какой навернется... Всѣ они холостые-то хороши!.. Еще станетъ помыкать тобою. А дѣвкамъ намъ житье веселое, каждый день праздникъ, гуляй себѣ—не хочу! Хочешь—работай, хочешь—пѣсни пой!.. А приглянулся-то кто, развѣ за нами усмотришь? Хитрѣй дѣвокъ народу нѣтъ»...

Агнія въ комедіи «Не все коту масленица» представляетъ дальнѣйшую степень въ разсматриваемой категоріи. Она не тихонько уже отъ матери устраиваетъ свое счастіе, а дѣйствуетъ открыто, безъ малѣйшихъ стѣсненій.

— Вольница ты у меня!—говоритъ ей мать.—Ты его (Ипполита) какъ это подцѣпила?

Агнія. Очень просто. Шла я какъ-то изъ городу, онъ меня догналъ и проводилъ до дому. Я его поблагодарила.

Круглова. И позвала?

Агнія. Съ какой стати?

Круглова. Какъ же онъ у насъ объявился?

Агнія. Позвала я его, да послѣ. Сталъ онъ мимо оконъ ходить разъ по десяти въ день; ну, что хорошаго, лучше ужъ въ домъ пустить. Только слава.

Круглова. Само собой.

Агнія. Все говорить?

Круглова. Да говори, ужъ заодно.

Агнія (*равнодушно и грызя орѣхи*). Потомъ онъ мнѣ письмо написалъ съ разными чувствами, только не складно очень...

Круглова. Ну? А ты ему отвѣтила?

Агнія. Отвѣтила, только на словахъ. Зачѣмъ вы, говорю, письма пишете, коли не умѣете? Коли что вамъ нужно мнѣ сказать, такъ говорите лучше прямо, чѣмъ бумагу-то марать.

Круглова. Только и всего?
Агнія. Только и всего. А то что же еще?
Круглова. Много очень воли ты забрала.
Агнія. Заприте.
Круглова. Болтай еще!..

Въ другой разъ мать застала ее цѣлующеюся съ Ипполитомъ.

Круглова. Что жъ это такое?
Агнія. Что? Ничего.
Круглова. Какъ ничего? Я своими глазами видѣла, какъ онъ тебя цѣловалъ.
Агнія. Эка важность, поцѣловалъ!
Круглова. По-твоему это не важность?
Агнія. Да, конечно. Вотъ кабы укусилъ, это нехорошо.
Круглова. Ты въ своемъ разумѣ или рехнулась? А срамъ, стало быть, ничего?
Агнія. Какой срамъ! Срамъ-то бываетъ у богатыхъ; а мы, какъ ни живи, никому до того дѣла нѣтъ. И хорошо и худо—все для себя, а не для людей. Хорошо живи—люди не похвалятъ, и дурно живи—никого не удивишь.
Круглова. Извольте подумать, чѣмъ она занимается.
Агнія. А вы думали, что я все еще въ куклы играю?
Круглова. Потихоньку-то отъ матери...
Агнія. Да и при васъ, пожалуй.
Круглова. Стыдочку-то, стало быть, немного.
Агнія. На что его нужно, на то онъ и есть.
Круглова. А все-таки нехорошо, что мать-то не знаетъ.
Агнія. Знать вамъ нечего; еще ничего вѣрнаго нѣтъ. Придетъ время, не безпокойтесь, скажемъ; мы этотъ порядокъ знаемъ.
Круглова. Съ тобой говорить-то что больше, то хуже. Лучше бросить; а то еще, пожалуй, у тебя сама виновата останешься. А что правда, то правда: не во-время вы христосоваться начали.
Агнія. Впередъ зачтите. Конечно, удержать себя можно; да для чего? Молодость-то наша и такъ не красна: чѣмъ ее вспомнить будетъ?

Но и Агнія полюбила Ипполита не слѣпо и беззавѣтно, какой бы онъ ни былъ. У нея такой же идеалъ мужа, *какъ* и у Варвары; она требуетъ, чтобы онъ былъ такой

же удалой и смѣлый, какъ и она, и когда явившійся внезапно хозяинъ Ипполита, Аховъ, гонитъ вонъ своего племянника, Агнія возмущается, когда видитъ, что Ипполитъ малодушно ретируется, и кричитъ ему вслѣдъ: «стыдно трусить!» И вслѣдъ затѣмъ у нея является сильная реакція въ ея любви къ Ипполиту.

—Маменька,—восклицаетъ она, послѣ визита Ахова,—когда Ипполитъ придетъ, гоните его безъ милосердія.

Круглова. Не Ермила ли гнать-то?

Агнія. За что его? Онъ чѣмъ виноватъ? Какъ же ему не возноситься, когда ему всѣ покоряются?

Круглова. Ты что ни говори, а мнѣ Ипполита жалко.

Агнія. Чего его жалѣть-то; онъ не маленькій. Кабы у него совѣсть, такъ онъ самъ бы стыдился, что его жалѣютъ. Какого маленькаго обидѣли! Видѣть его не могу...

Круглова. Что такъ грозно?

Агнія. Ну, будь онъ женатъ, да съ женою здѣсь: каково бы ей, бѣдной... Не канатомъ онъ съ Ермиломъ-то связанъ, бросилъ да и пошелъ. А я было чуть не полюбила его, плаксу.

Круглова. У тебя, видно, сколько дней въ недѣлѣ, столько и пятницъ. Не успѣла полюбить, да ужъ и разлюбила.

Агнія. Да таки и разлюбила.

То же самое, еще болѣе рѣзко и прямо, говоритъ она и Ипполиту, когда онъ снова является къ ней. Она встрѣчаетъ его словами, что онъ трусъ и лгунъ еще, что по его характеру денегъ отъ хозяина онъ не дождется, а вѣрнѣе всего, что онъ самъ его прогонитъ, и что человѣка безсовѣстнаго любить нельзя.

Ипполитъ. Хорошо, что вы мнѣ это заранѣе сказали-съ.

Агнія. А вы не знали?

Ипполитъ. По чемъ же я могу вашъ характеръ знать-съ. Обыкновенно у женщинъ больше такое понятіе-съ, что хоть на разбой ходи, только для нея и для дому будь добычникъ.

Агнія. Я воровъ не люблю, а другія какъ хотятъ—не мое дѣло.

Ипполитъ. Значитъ, только изъ одного того, чтобъ любовь вашу заслужить?

Агнія. Не говорите мнѣ о любви, пожалуйста.

Ипполитъ. Почему же такъ-съ?

Агнія. Я не хочу мальчика любить. Какой вы мужчина?

Ипполитъ. По вашимъ словамъ, я самый ничтожный человѣкъ-съ?

Агнія. Это ваше дѣло.

Ипполитъ. Ото всѣхъ въ презрѣніи.

Агнія. Кто жъ виноватъ?

Ипполитъ. Замѣсто того, чтобъ мнѣ отъ васъ утѣшеніе...

Агнія. Васъ станутъ бить, какъ мальчишку, а я должна васъ утѣшать. Да съ чего вы выдумали?

Ипполитъ. Кто же меня пожалѣетъ-съ?

Агнія. Мнѣ-то что за дѣло! Смѣяться надъ вами, а не жалѣть.

Ипполитъ. Послѣ этого ужъ только помирать остается на моемъ мѣстѣ.

Агнія. Конечно, лучше.

Ипполитъ. Стало быть, вы обо мнѣ очень низкаго понятія?

Агнія. Очень.

Ипполитъ. Однако, такой ударъ отъ васъ! Я даже, какъ это перенести, не знаю.

Агнія. Очень рада.

Ипполитъ. И никакого, значитъ, къ человѣчеству снисхожденія?

Агнія. И не ждите.

Ипполитъ. Однако же, влетѣлъ я ловко! Вотъ такъ обманъ для моихъ чувствъ! Ошибался я въ своей жизни...

Агнія (*отирая слезы*). Не вы ошиблись, я ошиблась. Уйдите, пожалуйста! Уйдите, говорятъ вамъ. Стыдно мнѣ, взрослой дѣвушкѣ, не умѣть людей разбирать. Меня никто не тянулъ къ вамъ.

Ипполитъ. Но позвольте мнѣ въ свое оправданіе...

Агнія. Подите, подите!

Ипполитъ. Но, однако, хоть малость пожалѣйте!

Агнія. Послушайте. Нынче же выпросите себѣ у хозяина хорошее жалованье, или отходите отъ него и ищите другое мѣсто. Если вы этого не сдѣлаете, лучше и не знайте меня совсѣмъ, и не кажитесь мнѣ на глаза»...

И только тогда Агнія перемѣнила гнѣвъ на милость, когда Ипполитъ явился къ ней съ 15.000 руб. заработаннаго жалованья, которое онъ заставилъ Ахова отдать ему.

Такимъ образомъ мы видимъ здѣсь въ лицѣ Агніи тотъ же типъ смѣлой и удалой дѣвушки, но типъ этотъ стоитъ степенью выше, чѣмъ Варвара и Груша, не только тѣмъ, что Агнія дѣйствуетъ уже безъ хитрости, а прямо и открыто, но идеалъ у нея опредѣленнѣе, сознательнѣе, шире: она требуетъ отъ мужа не одного забубеннаго удальства, но и честности; презираетъ не однихъ трусовъ, но и воровъ.

Еще болѣе широкіе идеалы мы видимъ у Параши въ комедіи «Горячее сердце», идеалы, приближающіе ее къ тѣмъ уже женщинамъ, о которыхъ будетъ еще рѣчь у насъ впереди.

Параша находится въ положеніи худшемъ, чѣмъ Варвара: отецъ ея грубый и неотесаный самодуръ, у котораго отъ вѣчнаго сна мысли въ головѣ путаются; вмѣсто матери—злая и распутная мачеха, ненавидящая свою падчерицу. Но дѣвушка въ усъ не дуетъ. Съ мачехой она постоянно зубъ за зубъ и открыто ей говоритъ:

«Много ль у насъ воли-то въ нашей жизни, въ дѣвичьей? Много ли времени я сама своя-то? А то вѣдь я—все чужая. Молода—такъ отцу съ матерью работница, а выросла да замужъ отдали—такъ мужнина раба безпрекословная. Такъ отдамъ ли я тебѣ эту волюшку дорогую, короткую? Все, все отнимите у меня, а воли я не отдамъ... На ножъ пойду за нее!..»

То же говоритъ она и отцу:

«Слушай ты, батюшка! Не часто мнѣ съ тобой говорить приходится, такъ ужъ скажу я тебѣ заразъ. Вы меня, дѣвушку, обидѣли. Браниться мнѣ съ тобой совѣсть не велитъ, а молчать силы нѣтъ; я послѣ хоть годъ буду молчать, а тебѣ вотъ что скажу: не отнимай ты моей воли дорогой, не марай мою честь дѣвичью, не ставь за мной сто-

рожей. Коли я себѣ добра хочу — я сама себя уберегу, а коли вы меня беречь станете... Не уберечь вамъ меня...»

Приглянулся Парашѣ сынъ разорившагося купца, Вася, и влюбилась она въ него ошибкой, заподозрѣвши въ немъ геройство, котораго въ немъ не было ни капли. Вотъ какъ разсказываетъ самъ Вася о томъ, какъ полюбила его Параша:

«Была вечеринка, только я наканунѣ былъ выпимши и въ это утро съ тятенькой побранился, и такъ, знаешь ты, весь день былъ не въ себѣ. Прихожу на вечеринку и сижу молча, ровно какъ я сердитъ или разстроенъ чѣмъ. Потомъ вдругъ беру гитару, и такъ это мнѣ горько, что я съ родителемъ побранился, и съ такимъ я чувствомъ запѣлъ:

Черный воронъ, что ты вьешься
Надъ моею головой...

Потомъ бросилъ гитару и пошелъ домой. Она мнѣ послѣ говорила: «такъ ты мнѣ все сердце и прострѣлилъ насквозь». Да и что жъ мудренаго, потому было во мнѣ геройство».

Но это увлеченіе было недолговѣчно, и уже на первомъ же свиданіи Параши съ Васей въ комедіи мы видимъ, что въ ней начинается уже разочарованіе въ своемъ любезномъ. Такъ она уговариваетъ его поспѣшить бракомъ, а онъ отвѣчаетъ ей, что дѣло у него съ тятенькой поразстроилось.

Параша. Знаю. Да, вѣдь, вы живете; значитъ, жить можно; больше ничего и не надобно.

Вася. Такъ-то такъ....

Параша. Ну такъ что же? Ты знаешь, въ здѣшнемъ городѣ такой обычай, чтобъ невѣстъ увозить. Конечно, это дѣлается больше по согласію родителей, а вѣдь много и безъ согласія увозятъ, здѣсь къ этому привыкли, разговору никакого не будетъ—одна только и бѣда: отецъ, пожалуй, денегъ не дастъ.

Вася. Ну, вотъ видишь ты!

Параша. А что жъ за важность, милый ты мой. У тебя руки, у меня руки...

Но Вася продолжаетъ отвиливать и откладывать дѣло въ дальній ящикъ, говоря, что какъ Богъ дастъ, полученія тоже есть, старые должишки; въ Москву тоже надо съѣздить, и выводитъ, наконецъ, Парашу изъ себя:

— За что жъ это, Господи, наказаніе такое!—восклицаетъ она.—Что жъ это за парень, что за плакса на меня навязался! Говоришь-то ты—точно за душу тянешь. Глядишь-то—точно укралъ что. Аль ты меня не любишь, обманываешь? Видѣть тебя тошно, только ты у меня духу отнимаешь. (*Хочетъ итти.*)

Вася. Да постой, Параша, постой!

Параша. (*останавливается*). Ну, ну! Надумался, слава Богу! Пора!

Вася. Что жъ ты такъ въ сердцахъ-то уходишь, нешто такъ прощаются? Что ты въ самомъ дѣлѣ! (*Обнимаетъ ее*).

Параша. Ну, ну, говори. Милый ты мой, милый!

Вася. Когда жъ мнѣ къ тебѣ еще побывать-то? потолковали бы, право, потолковали...

Параша. (*отталкиваетъ его*). Я думала, ты за дѣломъ. Хуже ты дѣвки; пропадай ты пропадомъ! Видно, мнѣ самой объ своей головѣ думать! Никогда-то я, никогда теперь на людей надѣяться не стану. Зарокъ такой себѣ положу. Куда я сама себя опредѣлю, такъ тому и быть. Не на кого, по крайности, мнѣ плакаться будетъ.

Но дѣло приняло совершенно другой оборотъ, когда Васю, пришедшаго къ ней на свиданіе, заподозрили въ покушеніи на воровство и заперли въ острогъ для того, чтобы потомъ сдать не въ зачетъ въ солдаты. Любовь съ прежней силой разгорѣлась въ сердцѣ дѣвушки; она видѣла въ немъ теперь страдальца изъ-за нея и бѣжала изъ дома, чтобы дѣлить съ нимъ всѣ несчастія. На свиданіи съ нимъ въ острогѣ она внушала ему непремѣнно сдѣлаться героемъ, не щадя жизни своей.

— Старайся, Вася, старайся!—говорила она.—А ты вотъ что: какъ тебя обучатъ всему и станутъ переводить изъ некрутовъ въ полкъ, въ настоящіе солдаты, ты и просись у самаго главнаго, какой только есть самый главный начальникъ, чтобы тебя на Кавказъ и прямо чтобъ сейчасъ на страженіе!

Вася. Зачѣмъ?

Параша. И старайся ты убить больше, какъ можно больше непріятеля. Ничего, ты своей головы не жалѣй.

Вася. А какъ ежели самого...

Параша. Ну, что жъ: одинъ разъ умирать-то. По крайности мнѣ будетъ плакать объ чемъ. Настоящее у меня горе-то будетъ, самое святое. А ты подумай, ежели ты не будешь проситься на страженіе и переведутъ тебя въ гарнизонъ, начнешь ты баловаться... воровать по огородамъ... что тогда за жизнь мнѣ будетъ? Самая послѣдняя. Горемъ назвать нельзя, и счастья-то не бывало—такъ подлость одна. Изомретъ тогда мое сердце, на тебя глядя.

Такимъ образомъ, какъ видите, идеаломъ Параши является не просто только удалой и безстрашный парень, но вмѣстѣ съ тѣмъ и герой, умирающій за свою родину. И каково же было ея разочарованіе, когда этотъ герой пошелъ въ пѣсельники и шуты къ Хлынову, который выкупилъ его изъ рекрутъ.

—Развѣ ты струсилъ?—спрашиваетъ она внѣ себя отъ негодованія.—Отвѣчай! Отвѣчай мнѣ. Струсилъ ты? Оробѣлъ? Такой красивый, такой молодецъ и струсилъ. Съ бубномъ стоитъ! Ха! Ха! Ха!.. Вотъ когда я обижена. Что я? Что я? Онъ плясунъ, а я что? Возьмите меня кто-нибудь! Я для него только жила, для него горе терпѣла. Я—богатаго купца дочь, солдаткой хотѣла быть, въ казармахъ съ нимъ жить, а онъ!.. Ахъ, противный! Трудно мнѣ... духу мнѣ! духу мнѣ надо... а нѣтъ. Била меня судьба, била... а онъ... а онъ... добилъ (*падаетъ къ Аристарху на руки*).

Тогда любовь къ Васѣ окончательно гаснетъ въ ней, и Параша избираетъ себѣ другого милаго, приказчика отца—Гаврилу, давно любившаго ее безнадежно, въ которомъ она теперь познала именно такого героя и защитника, какого искала.

—Я прямо буду говорить,—обращается она къ отцу,—вотъ какъ мнѣ любъ этотъ человѣкъ (Вася): когда ты хотѣлъ его въ солдаты отдать, я и тогда хотѣла за него замужъ итти, не боялась солдаткой быть. А теперь, когда онъ на волѣ, когда у меня и деньги и приданое будетъ, и мѣшать-то намъ некому, теперь бы я пошла за него, да боюсь, что онъ

отъ жены въ плясуны уйдетъ. И не пойду я за него, хоть осыпь ты меня съ ногъ до головы золотомъ. Не умѣлъ онъ меня брать бѣдную, не возьметъ и богатую. А пойду я вотъ за кого (беретъ Гаврилу). Не отдашь ты меня за него, такъ мы убѣжимъ да обвѣнчаемся. У него ни гроша, у меня столько же. Это намъ не страшно. У насъ отъ дѣла руки не отвалятся, будемъ хоть по базарамъ гнилыми яблоками торговать, а ужъ въ кабалу ни къ кому не попадемъ. А дороже-то для меня всего: я вѣрно знаю, что онъ меня любить будетъ. Одинъ день я его видѣла, а на всю жизнь душу ему повѣрю.

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами женщины Островскаго, не исключая и лучшей изъ нихъ, Параши, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ ихъ, имѣютъ между собою то общее, что всецѣло стоятъ на почвѣ эгоизма: всѣ онѣ только о томъ и заботятся, какъ бы устроить свое личное счастіе посредствомъ замужества съ избранникомъ своего сердца; разъ удается имъ достигнуть этого, онѣ замыкаются въ свою семейную скорлупу, дѣлаются хорошими хозяйками и матерями, чѣмъ и ограничивается все ихъ заурядное женское призваніе.

Теперь въ заключеніе намъ придется имѣть дѣло съ женщинами высшаго разряда, составляющими лучшее украшеніе и гордость человѣчества,—женщинами, у которыхъ преобладающимъ качествомъ ихъ души является самопожертвованіе.

Женщины подобной категоріи имѣютъ видъ вовсе не какихъ-нибудь величественныхъ героинь и отличаются отнюдь не тѣмъ, что ежеминутно совершаютъ какіе-нибудь громкіе и красивые подвиги. Съ перваго взгляда онѣ ничѣмъ особеннымъ васъ не поразятъ. Такія, повидимому, простыя, скромныя, иногда застѣнчиво-робкія. Жизнь ихъ течетъ самымъ заурядннымъ теченіемъ. Но вглядитесь въ эту жизнь, и вы увидите, что главное содержаніе ея заключается въ томъ, чтобы жертвовать своимъ досугомъ, силами, если нужно счастьемъ и

даже жизнью, для достиженія удобства и счастія ближнихъ, кто бы эти ближніе ни были: два-три дорогіе человѣка или все человѣчество. Интересно знать, думають ли подобныя женщины хоть одну минуту о себѣ самихъ? Постоянно вы видите ихъ хлопочущими и заботящимися о другихъ. И это дѣлается у нихъ не принципіально, не искусственно, а совершенно инстинктивно, такъ что онѣ и сами этого не замѣчаютъ. Таково ужъ у нихъ любвсеобильное сердце; онѣ не могутъ жить безъ того, чтобы не голубить, не лелѣять кого бы то ни было. Даже и половая любовь является въ ихъ глазахъ синонимомъ не наслажденія и счастья, а самопожертвованія. Такова, между прочимъ, Марья Андреевна Незабудкина. Дочь бѣднаго чиновника, не получившая большого образованія, она является передъ нами скромною, безхитростною барышнею дореформеннаго періода, начала 50-хъ годовъ. Она ни о чемъ, повидимому, не мечтаетъ, какъ лишь выйти замужъ, ну, и, конечно, если возможно, за любимаго человѣка. Она и любитъ уже молодого, бѣднаго чиновника Мерича, обманываясь въ своей любви и принимая своего возлюбленнаго совсѣмъ не за то, что онъ есть. Но вы видите, что взглядъ у нея на любовь совершенно особенный, какого мы до сихъ поръ не видѣли во всѣхъ разсмотрѣнныхъ нами женщинахъ. «Чего я для него ни сдѣлаю...», говоритъ она въ экстазѣ своей страсти: «все, все, все!..» Итакъ, любить кого-нибудь—значитъ быть готову дѣлать для него все. Такой взглядъ Марьи Андреевны на любовь выражается еще опредѣленнѣе, когда, разочаровавшись въ Меричѣ, она говоритъ ему:

— Ты любилъ? Никогда ты не любилъ меня. Я одна лю била. Теперь мнѣ поведеніе твое стало ясно. Хоть ужъ поздно, а я узнала тебя. Господи, Боже мой! И ты смѣешь называть это любовью. Хороша любовь!—не только бе самопожертвованія, даже безъ увлеченія! На насъ весь су намъ не прощаютъ ничего... Я къ тебѣ бросаюсь на шею

ты оглядываешься, не увидѣлъ бы кто. Ты вспомни хорошенько! бывало, ждешь тебя, не дождешься; всѣ глаза проглядишь, а ты придешь, какъ ни въ чемъ не бывало, только развѣ обдумаешь дома, что говорить, да какъ бы сдѣлать шагъ впередъ.

Разочаровавшись въ Меричѣ, Марья Андреевна жертвуетъ, какъ извѣстно, собою и выходитъ замужъ за противнаго ей Беневоленскаго, спасая свою мать отъ грозившаго ей разоренія. Но отнюдь не слѣдуетъ смѣшивать ее съ тѣми продажными женщинами, о которыхъ мы говорили выше, и которыя продаютъ себя ради суетнаго снисканія благъ земныхъ. Это та единственная жертва, которую была способна принести дореформенная женщина, не умѣвшая зарабатывать пропитаніе себѣ и матери какимъ-либо трудомъ. Но принеся такую ужасную жертву, Марья Андреевна не повѣсила голову, не пришла въ отчаяніе, не стала помышлять о самоубійствѣ; у нея оказалось такъ много душевныхъ силъ, что и въ самую страшную минуту жизни жажда самоотверженія не покинула ее, и, гордо поднявъ голову, она бодро стала глядѣть впередъ.

— Предо мной новый путь,—восторженно говорила она, прощаясь съ Меричемъ,—и я его напередъ знаю. У меня еще много впереди для женскаго сердца. Говорятъ, онъ грубъ, необразованъ, взяточникъ; но это, быть-можетъ, оттого, что подлѣ него не было порядочнаго человѣка, не было женщины. Говорятъ, женщина много можетъ сдѣлать, если захочетъ. Вотъ моя обязанность. И я чувствую, что во мнѣ есть силы. Я заставлю его любить меня, уважать и слушаться. Наконецъ—дѣти, я буду жить для дѣтей... Нѣтъ, Владимиръ Васильевичъ, вамъ не видать моихъ страданій. Я не доставлю вамъ удовольствія пожалѣть меня. Какія бы ни были обстоятельства, я хочу быть счастливой, хочу, чего бы мнѣ это ни стоило.

И она навѣрно достигла своего счастія самопожертвованія. Исправить такого негодяя, каковъ былъ Беневоленскій, ей, конечно, врядъ ли удалось. Но, все-таки,

она не пропала, и черезъ нѣсколько лѣтъ вышла на тѣ новые пути, какіе открылись для женщинъ, жаждущихъ принести свои силы на пользу ближнихъ.

Но вышла или не вышла Марья Андреевна на эти новые пути, мы встрѣчаемъ у Островскаго и такихъ женщинъ, которыя стоятъ уже на нихъ. Такова Лизавета Ивановна Иванова въ комедіи «Въ чужомъ пиру похмелье». Тяжелую ношу несетъ она на своихъ плечахъ, прокармливая и себя и отца своими трудами, и видъ суроваго подвижничества имѣетъ жизнь ея.

— Нѣтъ, ужъ мы очень много трудимся!—говоритъ она въ печальномъ раздумьѣ.—Что ни говори, какъ себя ни утѣшай, а тяжело, право, тяжело! Ужъ я не говорю о деньгахъ; не говорю о томъ, что за наши труды намъ платятъ мало; хоть бы уваженіе-то намъ за нашъ честный трудъ оказывали; такъ и этого нѣтъ. На что ужъ наша хозяйка, и та смотритъ на насъ съ какимъ-то сожалѣніемъ! А всего мнѣ обиднѣе, что смѣются надъ папашей. Онъ, точно, немного страненъ, да вѣдь онъ всю жизнь провелъ за книгами, его можно извинить. И что въ этомъ смѣшного, что человѣкъ ходитъ въ старой шинели, въ старой шляпѣ? А у насъ такая сторона, чуть не въ глаза хохочутъ. Конечно, это невѣжество, съ образованіемъ это пройдетъ; а все-таки тяжело. Вотъ вчера, какъ я шла изъ церкви, какіе-то молодые купцы вслухъ смѣялись надъ моимъ салопомъ. Гдѣ же я лучше возьму? Ты же приносишь людямъ пользу почти безкорыстно, тебя же презираютъ.—

Но какъ ни тяжка эта ноша, Лизавета Ивановна не промѣняетъ свою жизнь ни на какую другую, и когда хозяйка предлагаетъ ей выйти замужъ за влюбленнаго въ нее богатаго купчика, она отвѣчаетъ ей:

— Неужели вы, Аграфена Платоновна, до сихъ поръ меня не знаете? Я ни за какія сокровища не захочу терпѣть униженія. Вѣдь, они за каждую копейку выместятъ оскорбленіемъ; а я не хочу переносить ихъ ни отъ кого. То ли дѣло, какъ мы живемъ съ папашей? Хоть бѣдно, да независимо. Мы никого не трогаемъ, и насъ никто не смѣетъ тронуть.

Такова же, наконецъ, передъ нами и Лиза въ драмѣ «Пучина», прокармливающая всю свою семью неусыпнымъ и неблагодарнымъ трудомъ. Не въ ореолѣ недоступнаго совершенства и не на пьедесталѣ безукоризненнаго геройства рисуется передъ нами эта великая и святая дѣвушка, а со всѣми тѣми искушеніями, какія преслѣдуютъ на каждомъ шагу труженицу, пригвожденную къ швейной машинѣ.

А. Скабичевскій.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Того же составителя:

А. С. Пушкинъ въ его значеніи художественномъ, историческомъ и общественномъ. Изъ рѣчей и статей о Пушкинѣ. Изданіе второе, дополненное. Москва. 1905 г. Цѣна 75 коп.

И. С. Тургеневъ въ его значеніи художественномъ, историческомъ и общественномъ. Изъ статей и книгъ о Тургеневѣ. Москва. 1905 г. Цѣна 75 коп.

А. П. Чеховъ въ значеніи русскаго писателя-художника. Изъ критической литературы о Чеховѣ. Москва. 1906 г. Цѣна 1 руб.

М. Е. Салтыковъ какъ сатирикъ, художникъ и публицистъ. Изъ критической литературы о Салтыковѣ. Москва. 1906 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. Спиридонова и А. Михайлова. Москва, Тверская пл., Столешниковъ пер., д. Ліанозова.

Того же составителя:

А. С. Пушкинъ въ его значеніи художественномъ, историческомъ и общественномъ. Изъ рѣчей и статей о Пушкинѣ. Изданіе второе, дополненное. Москва. 1905 г. Цѣна 75 коп.

И. С. Тургеневъ въ его значеніи художественномъ, историческомъ и общественномъ. Изъ статей и книгъ о Тургеневѣ. Москва. 1905 г. Цѣна 75 коп.

А. П. Чеховъ въ значеніи русскаго писателя-художника. Изъ критической литературы о Чеховѣ. Москва. 1906 г. Цѣна 1 руб.

М. Е. Салтыковъ какъ сатирикъ, художникъ и публицистъ. Изъ критической литературы о Салтыковѣ. Москва. 1906 г. Цѣна 1 р. 25 коп.

Цѣна 1 р. 50 к.

Складъ въ книжномъ магазинѣ В. Спиридонова и А. Михайлова. Москва, Тверская пл., Столешниковъ пер., д. Ліанозова.



